

Александр Грин

Дорога никуда

Часть 1

Глава I

Лет двадцать назад в Покете существовал небольшой ресторан, такой небольшой, что посетителей обслуживали хозяин и один слуга. Всего было там десять столиков, могущих единовременно питать человек тридцать, но даже половины сего числа никогда не сидело за ними. Между тем помещение отличалось безукоризненной чистотой. Скатерти были так белы, что голубые тени их складок напоминали фарфор, посуда мылась и вытиралась тщательно, ножи и ложки никогда не пахли салом, кушанья, приготовляемые из отличной провизии, по количеству и цене должны были бы обеспечить заведению полчища едоков. Кроме того, на окнах и столах были цветы. Четыре картины в золоченых рамах являли по голубым обоям четыре времени года. Однако уже эти картины намечали некоторую идею, являющуюся, с точки зрения мирного расположения духа, необходимого спокойному пищеварению, бесцельным предательством. Картина, называвшаяся «Весна», изображала осенний лес с грязной дорогой. Картина «Лето» – хижину среди снежных сугробов. «Осень» озадачивала фигурами молодых женщин в венках, танцующих на майском лугу. Четвертая – «Зима» – могла заставить нервного человека задуматься над отношениями действительности к сознанию, так как на этой картине был нарисован толстяк, обливающийся потом в знойный день. Чтобы зритель не перепутал времен года, под каждой картиной стояла надпись, сделанная черными наклеенными буквами, внизу рам.

Кроме картин, более важное обстоятельство объясняло непопулярность этого заведения. У двери, со стороны улицы, висело меню – обыкновенное по виду меню с виньеткой, изображавшей повара в колпаке, обложенного утками и фруктами. Однако человек, вздумавший прочесть этот документ, раз пять протирает очки, если носил их, если же не носил очков, – его глаза от изумления постепенно принимали размеры очковых стекол.

Вот это меню в день начала событий:

Ресторан «Отвращение»

1. Суп несъедобный, пересоленный.
2. Консоме «Дрянь».
3. Бульон «Ужас».
4. Камбала «Горе».
5. Морской окунь с туберкулезом.
6. Ростбиф жесткий, без масла.
7. Котлеты из вчерашних остатков.
8. Яблочный пудинг, прогоркший.
9. Пирожное «Уберите!».
10. Крем сливочный, скисший.
11. Тартинки с гвоздями.

Ниже перечисления блюд стоял еще менее ободряющий текст:

«К услугам посетителей неаккуратность, неопрятность, нечестность и грубость».

Хозяина ресторана звали Адам Кишлот. Он был грузен, подвижен, с седыми волосами артиста и дряблым лицом. Левый глаз косил, правый смотрел строго и жалостно.

Открытие заведения сопровождалось некоторым стечением народа. Кишлот сидел за кассой. Только что нанятый слуга стоял в глубине помещения, опутив глаза.

Повар сидел на кухне, и ему было смешно.

Из толпы выделился молчаливый человек с густыми бровями. Нахмурясь, он вошел в ресторан и попросил порцию дождевых червей.

– К сожалению, – сказал Кишлот, – мы не подаем гадов. Обратитесь в аптеку, где можете получить хотя бы пиявок.

– Старый дурак! – сказал человек и ушел. До вечера никого не было. В шесть часов яви-

лись члены санитарного надзора и, пристально вглядываясь в глаза Кишлота, заказали обед. Отличный обед подали им. Повар уважал Кишлота, слуга сиял; Кишлот был небрежен, но возбужден. После обеда один чиновник сказал хозяину.

– Итак, это только реклама?

– Да, – ответил Кишлот. – Мой расчет основан на приятном после неприятного.

Санитары подумали и ушли. Через час после них появился печальный, хорошо одетый толстяк; он сел, поднес к близоруким глазам меню и вскочил.

– Это что? Шутка? – с гневом спросил толстяк, нервно вертя трость.

– Как хотите, – сказал Кишлот. – Обычно мы даем самое лучшее. Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства.

– Нехорошо, – сказал толстяк.

– Но...

– Нет, нет пожалуйста! Это крайне скверно, возмутительно!

– В таком случае...

– Очень, очень нехорошо, – повторил толстяк и вышел. В девять часов слуга Кишлота снял передник и, положив его на стойку, потребовал расчет.

– Малодушный! – сказал ему Кишлот. Слуга не вернулся. Побившись день без прислуги, Кишлот воспользовался предложением повара. Тот знал одного юношу, Тиррея Давенанта, который искал работу. Переговорив с Давенантом, Кишлот заполучил преданного слугу. Хозяин импонировал мальчику. Тиррей восхищался дерзаниями Кишлота. При малом числе посетителей служить в «Отвращении» было нетрудно. Давенант часами сидел за книгой, а Кишлот размышлял, чем привлечь публику.

Повар пил кофе, находил, что все к лучшему, и играл в шашки с кузиной.

Впрочем, у Кишлота был один постоянный клиент. Он, раз зайдя, приходил теперь почти каждый день, – Орт Галеран, человек сорока лет, прямой, сухой, крупно шагающий, с внушительной тростью из черного дерева. Темные баки на его остром лице спускались от висков к подбородку. Высокий лоб, изогнутые губы, длинный, как повисший флаг, нос и черные презрительные глаза под тонкими бровями обращали внимание женщин. Галеран носил широкополую белую шляпу, серый сюртук и сапоги до колен, а шею повязывал желтым платком. Состояние его платья, всегда тщательно вычищенного, указывало, что он небогат. Уже три дня Галеран приходил с книгой, – при этом курил трубку, табак для которой варил сам, мешая его со сливами и шалфеем. Давенанту нравился Галеран. Заметив любовь мальчика к чтению, Галеран иногда приносил ему книги.

В разговорах с Кишлотом Галеран безжалостно критиковал его манеру рекламы.

– Ваш расчет, – сказал он однажды, – неверен, потому что люди глупо доверчивы. Низкий, даже средний ум, читая ваше меню под сенью вывески «Отвращение», в глубине души верит тому, что вы объявляете, как бы вы хорошо ни кормили этого человека. Слова пристают к людям и кушаньям. Невежественный человек просто не захочет затруднять себя размышлениями. Другое дело, если бы вы написали: «Здесь дают лучшие кушанья из самой лучшей провизии за ничтожную цену». Тогда у вас было бы то нормальное число посетителей, какое полагается для такой банальной приманки, и вы могли бы кормить клиентов той самой дрянью, какую объявляете теперь, желая шутить. Вся реклама мира основана на трех принципах: «хорошо, много и даром». Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Были ли у вас какие-нибудь иные опыты?

– Десять лет я пытаюсь разбогатеть, – ответил Кишлот. – Нельзя сказать, чтобы я придумывал плохо. Мне не везет. В моих планах чего-то не хватает.

– Не хватает Кишлотов, – смеясь, сказал Галеран. – Драгоценный фантазер, будь в городе только две тысячи Кишлотов, вы давно уже покачивались бы на рессорах и приказывали жестом руки. Расскажите, в чем вам не повезло.

Кишлот махнул рукой и перечислил свои походы на общественный кошелек.

– Я держал, – сказал он, – булочную, кофейную и зеркальный магазин. Магазин имел вывеску: «Все красивы», – а в объявлении на окне говорилось, что из десяти женщин, купивших у меня зеркало, девять немедленно находят себе мужа. Вот вам пример рекламы вашего типа! Де-

ло не пошло. Торгуя булками, я объявил, что запекаю в каждую тысячную булку золотую монету. Была давка у дверей по утрам, но произошло так, что в конце недели одна монета оказалась фальшивой, и я познакомился со следственными властями. Кафе «Ручеек» было устроено, как настоящий ручеек: среди цветов, по жестяному руслу текло горячее кофе с сахаром и молоком. Каждый зачерпывал сам. Но все думали, что поутру в это русло сметают пыль. Теперь – «Отвращение». Я рассчитывал, что город взбесится от интереса, а между тем моя торговля вводит меня в убыток.

– Вполне понятно, – сказал Галеран. – Я уже изложил вам свое мнение на этот счет. Тиррей, принеси мне еще стакан кофе.

Давенант принес кофе и увидел, что у ресторана «Отвращение» остановился щегольской экипаж, управляемый кучером, усеянным блестящими пуговицами. Из экипажа вышли две девушки в сопровождении остроносой и остроглазой дамы, имевшей растерянный вид. Кишлот подбежал к двери, отвесив низкий поклон. Галеран задумчиво наблюдал эту сцену, а Давенант смутился, увидев девушек, несомненно принадлежавших к обществу, красивых и смеющихся, одетых в белые костюмы, белые шляпы, белые чулки и туфли, под зонтиками вишневого цвета. Одну из них еще рано было называть девушкой, так как ей было двенадцать лет, вторая же, семнадцатилетняя, никак не могла быть кем-нибудь иным, как девушкой.

Их спутница вскричала:

– Розна! Элли! Я решительно протестую! Посмотрите на вывеску! Я запрещаю входить сюда.

– Но мы уже вошли, – сказала девочка, которую звали Элли. – На вывеске стоит «Отвращение». Я хочу самого отвратительного!

Пока она говорила, Розна пожала плечами и, гордо подняв голову, переступила запретный порог.

– Надеюсь, вы не будете применять силу? – спросила она пожилую даму.

– Я запрещаю! – беспомощно повторила гувернантка, тащась за девушками.

Смешливый Кишлот обратился к Элли:

– Если маленькая барышня хочет, чтобы их старшая сестрица пожаловали, она должна ей сказать, что «Отвращение» только для виду, а кушать здесь одно удовольствие.

Гувернантка Урания Тальберг, изумленная словами Кишлота, но ими же и смягченная, так как ей польстило быть хотя на один миг сестрой хорошеньких девушек, возразила:

– Вы ошибаетесь, любезный, так как я наставница этих своевольных детей. Надеюсь, вы не заставите нас приглашать доктора после вашей стряпни?

– Если он и будет приглашен вами, – воскликнул Кишлот, – то лишь затем, чтобы провозгласить чудесный цвет лица трех леди, а также их бесподобный пульс.

– Ну, посмотрим, – снисходительно отозвалась Урания, присаживаясь к столу, где уже сидели Элли и Розна. Они осматривались, а Давенант смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. Такие создания не могли есть из обыкновенных тарелок, но в ресторане не было золотых блюд.

На его выручку Кишлот бросился подавать сам, мечтая уже, что ресторан «Отвращение» стал модным местом, куда стекаются кареты и автомобили.

– Вот, мы сели, – сказала Урания. – Что же дальше?

– Что это значит? – спросила Розна, строго указывая на меню, где значилось: «Тартинки с гвоздями».

– Тартинки с гвоздями, – объяснил Кишлот, – это такие тартинки, в которых нет ничего, кроме хлеба, масла, ветчины, икры или варенья. А относительно гвоздей написано для тех, кто – как бы сказать? – Любопытен...

– Вроде нас, – перебила Элли. – Действительно, мы любопытны, но нам нисколько не стыдно!

– Элли! – застонала Урания.

– Многоуважаемая Урания Тальберг, – ответила непокорная девочка, – папа сказал, что сегодня мы можем делать решительно все, что хотим. Глупо было бы, если бы мы не воспользо-

лись... Хозяин!

– Я здесь, барышня.

– Свариваются ли гвозди в желудке? И какой они толщины?

– Хозяин шутит, – решил вставить Давенант, чувствовавший себя так хорошо и неловко, что не знал, как приступить к своим обязанностям.

– Но мы тоже шутим, – ответила Элли, внимательно смотря на него. – Нам весело. Значит, ничего такого не будет? Очень жаль. В таком случае принесите мне молока.

– Чашку молока! – повторили Давенант и Кишлот.

– Чашку кофе и печенье, – заявила Роэна.

– Печенье! Кофе! Молоко! – закричал Давенант и, бросившись на кухню, чуть не сшиб хозяина, предоставив ему допытываться, не пожелает ли чего-нибудь гувернантка. Он вскочил на кухню и стал трястись от нетерпения над головой повара, который, торопясь, пролил кофе и расплескал молоко. Пока Давенант добывал эту пищу для фей, Кишлот принес сахар, печенье, салфетки и, удостоившись от Урании Тальберг приказания подать стакан холодной воды, явился с ним из-за стойки гордо и строго, дунув на стакан неизвестно зачем и каждому движению придав характер события. Все это очень забавляло девушек, вызывая свет смеха в их лицах и терзая гувернантку, стремившуюся поскорее оставить «вертеп».

Давенант вбежал, таща поднос с кофе и молоком. Заботливо расставил он чашки, опасаясь задеть необыкновенные существа, около которых метался так близко. Он отошел к буфету и стал жадно смотреть.

– Рой, – неосторожно сказала Элли сестре, подмигивая в сторону Галерана, сидевшего неподалеку от девушек, – вот там один из отравившихся пищей дома сего.

– Отравился и умер, и похоронили его, – громко подхватил засмеявшийся Галеран.

– Ах! – вздрогнула гувернантка.

– Элли! – зашипела Роэна.

Девочка, услышав голос осмеянного незнакомца, увела голову в плечи, глаза ее стали круглыми и неподвижны. Вцепившись руками в чашку, чтобы не завизжать от хохота, она стиснула колени, скрючив пальцы ног, и, вспотев, пересилила себя.

– Уф-ф! Уф-ф! – едва слышно отдышалась Элли сквозь зубы.

Урания побледнела.

– Довольно! – заявила она, дрожа от негодования. – Какой стыд!

– Извините, – гордо обратилась Роэна к Галерану. – Моя сестра очень несдержанна.

– Эх ты! – горестно прошептала Элли.

– Я рад видеть детей Футроза, – добродушно ответил Галеран. – Я страшно рад, что вам весело. Мне самому стало весело.

– Как, вы нас знаете?! – вскричала Элли.

– Да, я знаю, кто вы. Мое имя вам ничего не скажет: Орт Галеран.

Он встал, поклонясь так непринужденно, хотя сдержанно, что даже чопорная Урания вынуждена была ответить на его приветствие движением головы. Девушки сидели молча. Элли ущипнула себя за руку, а Роэна заинтересованно взглянула на человека, чье простое обращение подчеркнуло, а затем обратило в шутку неловкость девочки.

Давенант с завистью слушал внезапный разговор, печально думая, что он никогда не смог бы подражать Галерану. Каково было его изумление, смятение и восторг, когда Галеран, видя, что посетительницы собираются уходить, обратился к девушкам так неожиданно, что Урания онемела.

– Подарите немного внимания этому молодому человеку, который стоит там, у вазы с яблоками. Его зовут Тиррей Давенант. Он очень способный, хороший мальчик, сирота, сын адвоката. Ваш отец имеет большие связи. Лишь поверхностное усилие с его стороны могло бы дать Давенанту занятие, более отвечающее его качествам, чем работа в кафе.

– Что вы сказали? – крикнул Давенант. – Разве я вас просил?

Кишлот испуганно замахал руками, морщась и качая головой, даже указал пальцем на лоб.

Но было уже поздно. Давенант попал в свет общего внимания, и Элли, страшно довольная

скандализованностью гувернантки, смело улыбнулась мальчику, тотчас шепнув сестре:

– Будем, как Аль-Рашид. Почему бы не так?

– Тиррей прав, – согласился, нимало не смущаясь, Галеран, – он меня ни о чем не просил. Эта мысль пришла мне в голову самостоятельно. Я думаю, что после такого моего выступления ваши впечатления приобретут цельность. В самом деле: странное кафе, странные посетители, – странность на странность дает иногда нечто естественное. А что может быть естественнее случайности? И я подумал: дурного ничего нет в моих словах, случай же налицо. Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Вот и все. Возьмите на себя роль случая. Право, это не плохо...

– Однако... – нашла наконец силу и дыхание заговорить гувернантка, – я неприятно удивлена. О боже! Какой ужасный день. Розна! Элли! Нам совершенно пора идти.

Бессвязно проклокотав шепотом о неприличии сидеть долее за ужасным столом хотя бы еще одну ужасную минуту ужасного дня, Урания Тальберг, встав, строго посмотрела на бессознательно подошедшего Давенанта. Она вновь уселась, найдя совершенно некстати, что этот диковатый юноша с длинными руками довольно мил. Откровенное лицо Давенанта предстало нервной даме во всей незащитности охвативших его надежд. Искренние серые глаза при полудетской линии рта и правильных чертах были его заступниками. В его привлекательности отсутствовала примитивность подростка: сложный характер и сильные чувства подмечались наблюдательным взглядом, но девушки видели, не разбираясь во всем этом, просто понравившегося им мальчика с встревоженным лицом и красивыми глазами, темноволосого и печального.

– Чего же вы хотите? – сказала Урания Галерану. – Я, право, не знаю... Это так неожиданно. Розна! Элли!

Сконфуженный Давенант с тяжелым сердцем ожидал разрешения сцены, возникшей по мысли Галерана, которого он теперь проклинал. Всех выручил природный такт Элли, решившей, что шуточный тон будет уместнее всякой торжественности.

– Обожаю неожиданности! – сказала она. – Рой тоже любит неожиданности. Ведь правда, дорогая сестрица? Итак, мы решили в сердце своем: мы – «случайности». А вы – вы почему молчите? Ведь все это о вас!

Давенант, запинаясь, сказал:

– Заговорил не я. Сказал Галеран, чего я ему никогда не прошу.

– Но он угадал? – осведомилась Розна тоном взрослой дамы.

Давенант ответил не сразу. Он сильно покраснел, выразив беглым движением лица нестерпимое желание удачи.

– Да. Если бы...

То была вырвавшаяся просьба о судьбе и пощаде. Волнение помешало ему сказать еще что-нибудь. Однако сочувственное любопытство девушек уже было на его стороне. Перемигнувшись, они подошли к Давенанту, говоря одна за другой:

– Вы, конечно, понимаете...

– Что ваш друг...

– Что в кафе «Отвращение»...

– С кушаньем «Неожиданность»...

– Произошло движение сердца...

– Мы клянемся вашей галереей: зимним летом и осенней весной...

– Постой, Рой!

– Не перебивай, Элли!

– Я не перебиваю. Мы сегодня делаем, что хотим. Тампико сделает все.

– Сделает все, что мы пожелаем! – воскликнула Элли, сердито смотря на Уранию, стоявшую уже у двери и саркастически поджавшую губы. – Придите завтра к нам. Хорошо? А мы сами скажем отцу. Вы уж с ним самим и поговорите. Якорная улица, дом 9 – это наш дом. Не раньше одиннадцати. Прощайте! – Элли неожиданно подбежала к Галерану, покраснела, но решила и закончила: – Какой вы чудесный человек! Вы сказали просто, так просто... И так всегда надо говорить. Впрочем, я вам напишу, сейчас я думаю много и бестолково. Куда писать?

Сюда? В «Отвращение»? Кому? Неожданности?

– Элли! – воззвала Урания со стоном и хрипом.

Девочка кивнула ей. Стихнув, она присоединилась к сестре.

Кишлот тяжело вздохнул, почесывая бровь. Галеран загадочно улыбался.

Давенант двинулся к двери, затем оглянулся на хозяина и попятился.

Стало тихо в кафе. Живые голоса смолкли. Выбежав на блеск улицы, девушки раскрыли зонтики и, безмерно гордые своим приключением, уселись на сиденье коляски.

Вожжи поднялись, натянулись, и пунцовые цветы с белыми листьями умчались в ливень света, среди серых грив и беглых лучей. Еще раз в стекле двери блеснул красный оттенок, а затем по пустой улице проехал в обратную сторону огромный фургон, нагруженный ящиками, из которых торчала солома.

Глава II

Урбан Футроз так любил своих дочерей, что не отказывал им ни в чем: в награду за это ему никогда не приходилось раскаиваться в безмерной уступчивости любым просьбам избалованных девушек. Футроз родился бездельником, хотя его состояние, ум и связи легко могли дать этому здоровому, далеко не вялому человеку положение выдающееся. Однако Футроз не имел естественной склонности ни к какой профессии, и всякая деятельность, от науки до фабрикации мыла, равно представлялась ему не стоящей внимания в сравнении с тем, единственно важным, что – странно сказать – было для него призванием: Футроз безумно любил чтение. Книга заменяла ему друзей, путешествие, работу, спорт, флирт и азарт. Иногда он посещал клуб или юбилейные обеды своих сверстников, выдвинувшихся на каком-либо поприще, но, затворясь в библиотеке, с книгой на коленях, сигарами и вином на столике у покойного кресла, Футроз жил так, как единственно мог и хотел жить: в судьбах, очерченных мыслями и пером авторов.

Его жена, Флавия Футроз, бывшая резкой противоположностью созерцательного супруга, после многолетних попыток вызвать в Футрозе брожение самолюбия, треск тщеславия или хотя бы стыд нормального мужчины, добровольно остающегося ничтожеством, развелась с ним на четвертом году после рождения второй дочери, став женой военного инженера Галля. Она иногда переписывалась с Футрозом и дочерьми, сумев придать новым отношениям приличный тон, но не удержав сердца детей. Девочки еще больше полюбили отца, а когда ему удалось вполне понятно для юных голов доказать им неизбежность такой развязки, не осуждая жену, даже оправдывая ее, – всех трех соединил знак равенства. Девочки открыли, что отец чем-то похож на них, и приютили его в сердце своем. Там занял он уютное, вечное место – наполовину сверстник, наполовину отец.

К такому-то человеку, представляя его сделанным из железа и золота, должен был явиться Тиррей Давенант. Когда девушки уезжали, он еще некоторое время смотрел на дверь даже после того, как стало пусто на мостовой, и опомнился лишь, когда увидел фургон с ящиками.

Вздохнув, Кишлот скептически поджал нижнюю губу, занявшись уборкой посуды, которую Давенант охотно оставил бы невымытой, чтобы красовалась она в хрустальном ящике во веки веков.

– Однако вы смелый оригинал, – сказал Кишлот Галерану. – Репутация моего кафе укрепитесь теперь в светских кругах. Не так, так этак. Не тартинки с гвоздями, так рекомендательная контора.

– Вы не правы именно потому, что правы буквально, – возразил Галеран, набивая трубку. – Но вы не поймете меня.

– Что говорить: я, разумеется, бестолков, – отозвался Кишлот, – а вы человек ученый. Действительно вы знаете их отца?

– Да. Прежний садовник Футроза был мой приятель. Тиррей, не рассердился ли ты?

– Вначале я рассердился, – ответил Давенант, вспыхнув. – Я испугался.

– Чего?

– Не знаю.

– Хорошо. А затем?

– Рад был, конечно, что там говорить! – крикнул Кишлот. – Прожить жизнь слугой тоже несладко, это уж так. Ветрогонки-то забудут сказать отцу.

– Скорей я не был рад, – пояснил Давенант, обращаясь к Галерану. – Но вдруг стало приятно дышать. И больно. Они не ветрогонки, – задумчиво продолжал он, бессознательно удерживая блюдечко Элли, которое Кишлот так же машинально тянул у него из рук. – О! Я очень хотел бы всего такого! – вскричал Давенант. Отдав блюдечко, он встрепенулся и смахнул крошки. – Как вы думаете, что теперь может быть?

– Об этом рано говорить, – сказал Галеран. – Завтра увидимся, ты мне расскажешь, как ты ходил туда и что там произошло. Я должен идти.

– Почему вы так добры ко мне?

– На такие вопросы я не отвечаю. Сам не могу устроить твою судьбу, а случай был соблазнителен.

Галеран ушел, и Давенант вскоре после того опять начал обслуживать посетителей или отваживать любопытных, заходящих подпустить колкость, чтобы затем выйти, пожимая плечами. Когда Кишлот запер кафе, было уже девять часов вечера. Подметая залу, мальчик увидел забытую Галераном книгу и взял ее к себе, в свою каморку за кухней. Ввиду важности ожидающего Давенанта события

– идти завтра к Урбану Футрозу – Кишлот разрешил юноше отсутствовать три часа – от десяти утра до часу дня – и надавал ему столько советов, как держаться, говорить, войти, уйти и так далее, что Давенант просто ему не поверил. Кишлот нарисовал двойной образец – унижения и дерзкого вызова, сам не замечая, что перепутал принципы кафе «Отвращение» с приемами слезливых нищих. Давенант был рад, когда отделался от него. Не скоро он заснул, то начиная читать в книге о дьявольском игроке Мофи, который видел в зрачках противника отражение его карт, то продолжая носить стаканы с молоком на заветный стол, где сидели дети Футроза. Из них двух стало четыре, а потом больше, и он был в плену этих прекрасных лиц, милостиво позволяющих ему слушать свою болтовню. Сон пожалел его наконец. Давенант спал, видя во сне замки и облака, и, встав утром, начал волноваться, едва протерши глаза.

У него был старенький синий костюм, купленный за гроши на деньги первого жалованья, и соломенная шляпа с порывевшей лентой.

Он подровнял ножницами бахрому воротничка, начистил, как медь, башмаки и, поскорее хлебнув кофе, сумрачно выслушал последние наставления Кишлота, желавшего, чтобы Давенант, как бы случайно, сказал Футрозу, что «Отвращение» есть, в сущности, «Приятное разочарование» – небезынтересное для любознательных джентльменов, изучающих нравы города.

Давенант страшно жалел, что нет Галерана, который являлся не раньше полудня, – видеть этого человека теперь было для него равно дружескому напутствию.

Еще ничего не случилось, но кафе «Отвращение» с его посвистывающими стенными часами и полом, бывшим ниже улицы на три ступени, уже томило Давенанта, как скучное воспоминание. Повар начал допытываться, куда это идет слуга, одевшись, как в праздник, вместо полотняной куртки и тикового передника. Давенант скрыл от него истину, так как повар имел насмешливый ум. Он объяснил, что Кишлот будто бы дал ему поручение. Усомнясь, повар раздраженно передвинул кастрюлю и сказал:

– Тоже... с секретами.

Как ни подталкивал Давенант взглядом стрелки часов, ему хватило времени сделать свою обычную утреннюю работу: протереть окна, развесить бумажки для мух, написать меню, и лишь после того, с неохотой, уступившей явной необходимости, часы пробили десять. Меж тем его жажда событий теряла свою ревнивую чистоту от разных замечаний Кишлота: «Хотя ты и нацепил галстук, однако поворачивайся проворнее», или: «Где твои глаза? Не упали ли они в молоко для девочек? -« Случайно его не было за стойкой, когда Давенант складывал ножи и вилки на обычное место буфета. Схватив шляпу, юноша отправился быстрым шагом и начал бродить по городу, медленно и неуклонно приближаясь к Якорной улице. Не было еще одиннадцати часов, но он уже разыскал дом Футроза – старинное здание из серого камня, с большими окнами и вхо-

дом посредине фасада. Набравшись решимости, Давенант приблизился к огромной двери. На его робкий звонок явилась строгая пожилая горничная, с чем-то таким в лице, что делало ее частью этой волнующей Давенанта семьи. Неловко прошел он за горничной в гостиную. Пытаясь объяснить причину своего посещения, Давенант сказал:

– Вчера мне назначили.. Какое-то дело...

Но горничная перебила его:

– Я уже знаю это, вас ждут. Садитесь и обождите. Я передам.

Давенант уселся на стул. Прежде всего он начал вслушиваться, не звучит ли где-нибудь женский смех. Ничего такого не слыша, предоставленный самому себе, он с любопытством осмотрелся и даже вздохнул от удовольствия: гостиная была заманчива, как рисунок к сказке. Ее стены, обтянутые желто-красным шелком турецкого узора, мозаики и небольшие картины развлекали самое натянутое внимание. Ковер цвета настурций, с фигурами прыгающих золотых кошек, люстра зеленого хрусталя, подвешенная к центру лепной розетки цвета старого золота, бархатные портьеры, мебель красного дерева, обитая розовым тисненым атласом, так сильно понравились Давенанту, что его робость исчезла. Обстановка согрела и оживила его. Великолепные растения с блестящими тяжелыми листьями стояли в фаянсовых вазах против трех больших окон. Рисунок ваз изображал летучих мышей над сумеречными холмами, Стеклопанная дверь, ведущая на террасу, была раскрыта; за ней блеснули небо и сад. Маятник каминных часов мерно касался невидимой однотонной струны низкого тембра.

Давенант засмотрелся на отрадную пестроту гостиной, не слыша, как вошел Футроз. Он вскочил, лишь когда увидел владельца дома перед собой. Но не колоссальный денежный туз с замораживающими роговыми очками стоял перед ним, а человек весьма успокоительной наружности – невысокий, худой; его черные волосы спускались бакенами до середины щек, придавая одутловатому бритому лицу с большим ртом и желтым оттенком кожи характерную остроту. Улыбка Футроза открывала перламутровой чистоты зубы; при этом на его щеках появились заразительно веселые ямочки, родственные ямочкам Элли. В его черных глазах мелькала искра иронии. Когда Футроз говорил, эта искра разгоралась и освещала все лицо, отчего взгляд менялся, становясь добродушно-серьезным. Отрывистый голос заканчивал этот облик, за исключением не упомянутого нами серого костюма и манеры дергать иногда левой рукой пуговицу жилета.

Усадив Давенанта против себя, Футроз сказал:

– Посмотрим, нельзя ли сделать для вас что-либо полезное. Девочки мне все рассказали, и я готов поддержать их желание устроить вашу судьбу. Вы не стесняйтесь меня. Ваш хозяин, как я слышал, – занятный оригинал. Расскажите мне о своей жизни!

Его простая манера выказывала несомненное расположение, и Давенант избавился от беспокойства, навеянного советами Кишлота. Но только он начал говорить, как в гостиную вошло существо о двух головах: Роэна обнимала сестру сзади, установясь подбородком в волосы Элли. Заметив Давенанта, девушки остановились и, задумчиво кивая ему, вышли, пятась, в том же нераздельном положении тесного объятия. Дверь прикрылась. За ней раздались возня и откровенный взрыв хохота.

Встретив и проводив дочерей укоризненным взглядом, Футроз сказал просиявшему Давенанту:

– Вы начали говорить. Выкладывайте свою биографию, после чего займемся обсуждением наших возможностей.

– Видите ли, – сказал Давенант, невольно посматривая на дверь, – самое интересное для меня то, что мой отец исчез без вести одиннадцать лет назад. Так и осталось неизвестным, куда он девался, – жив он или умер. Мне было тогда пять лет, и я помню, как моя мать плакала. Он вышел вечером, сказав, что направляется к одному клиенту – получить долг. Больше его никто не видел, и никто никогда не мог узнать о его участии, несмотря на всякие справки.

– Следовательно, – заметил Футроз, после приличествующего молчания, – ваш отец не заходил к клиенту, иначе был бы некоторый материал для решения таинственного вопроса.

– Да! И еще более, тот человек отсутствовал, – он уезжал в Сан-Риоль. Никак не мог он быть у него.

– Действительно!

– Когда я вырос, – продолжал Давенант, вздохнув, – многое мне приходило на ум. Я старался понять и читал книги о различных исчезновениях. Но только один раз что-то похожее на мои мысли представилось мне, очень странное.

– Мне интересно знать, рассказывайте.

– Это было так: я чистил башмаки, кто-то прошел за окном, и я вспомнил отца. Мне представился ночной дождь, ветер, а отец, будто бы размышляя, как достать денег, задумался и очутился в гавани – далеко, около нефтяных цистерн. Он стоял, смотрел на огни, на воду, и вдруг все огни погасли. Почему погасли? Неизвестно: так я подумал. Стало тихо. Дунет ветер, плеснет вода. –И он услышал, знаете... стук барабана: солдаты вышли из переулочка и прошли мимо него: «Раз-два... Раз-два...», – а впереди шел барабанщик с темным лицом. Барабан гремел в ночной тьме, но нигде не было огней. Все спали или притаились... Конечно, дико! Я знаю! – вскричал Давенант, торопясь досказать. – Но барабан бил. Вдруг мой отец очнулся. Он пошел прочь и видит

– это не та улица. Идет дальше – это не тот город, а какой-то другой. Он испугался, а потом заболел и умер... В больнице, должно быть, – прибавил Давенант, с облегчением видя, что Футроз слушает его без насмешки. – Но он жив... Я иногда чувствую это. Большей частью я знаю, что он умер.

Сведя так удачно воображение с здравым смыслом, Давенант умолк.

Футроз спросил:

– Как это у вас получилось?

– Не знаю. Но стало представляться одно за другим. Я сам удивился.

– Вы фантазер, – заметил Футроз, задумчиво рассматривая Давенанта. – Одиннадцать лет – большой срок. Оставим это пока.

Давенант рассказал свою жизнь, но умолчал о том, что его отец адвокат Франк Давенант был горький пьяница и несчастливый игрок; сын стыдился говорить худо об отце, которого едва помнил. Болезненная мать Давенанта шесть лет билась с нуждой, брошенная родственниками на произвол судьбы, в отместку за то, что пренебрегла выгодной партией ради бедного юриста. Ей так и не удалось узнать, как кончатся ее дни: покинутой женщиной или вдовой. Не умевшая раньше ничего делать, Корнелия Давенант выучилась вязать чулки, мастерить шляпы, клеить рамки и коробки из раковин, иногда торговала цветами. Жизнь она провела в бедности, умерла в нищете, а Тиррей на одиннадцатом году его жизни взял к себе парусный мастер Кид, бездетный сосед Корнелии. К тому времени, как Тиррей окончил городскую школу, Кид и его жена уехали в Лисе, где мастер получил место начальника мастерской у крупного судовладельца. Давенанта Кид оставил в Покете, так как немолодая жена его неожиданно сделалась матерью, и чужой, да еще взрослый ребенок начал ей мешать. Уезжая, Киды отдали Тиррею работать харчевнику, имевшему несколько развозных тележек с горячей пищей, а затем Давенант был уступлен своим хозяином Кишлоту.

Футроз, выслушав, проникся сочувствием к юноше, ожидающему решения влиятельного человека с достоинством и застенчивостью младшего, но не ищущего.

– Вчера в вашем «Отвращении» был некто Галеран, – начал Футроз. – В сущности, это он натравил девочек на вас. Кто такой Галеран?

– Видите ли, – ответил, все еще поглядывая на дверь, Давенант, – это человек очень хороший, и он часто по-дружески разговаривает со мной, однако ничего мне о нем неизвестно. Не знает этого даже Кишлот. Галеран приносит мне книги. Вообще он мне нравится,

– Разумеется, это вполне объясняет Галерана. Оставим его. Так чем привлекает вас жизнь? Что хотели бы вы ей дать и, само собой, также взять от нее?

– Я взял бы от нее все, да, как говорится, – руки короткие. Но... ведь вы знаете больше, чем я.

– А потому должен знать, чего вы хотите!!! Ну, нет, дудки, молодой человек! Подумайте и скажите.

– В таком случае я сознаюсь вам, что меня привлекают путешествия. Я хочу больших пу-

тешествий, связанных с каким-нибудь увлекательным делом. Но что я говорю! – воскликнул Давенант. – Верно: это мое заветное желание, и оно неисполнимо, но вы хотели, чтобы я говорил откровенно.

– Послушайте, милый мой, – сказал Футроз, прозревая в собеседнике пылкое сердце и горячую голову, – только то и хорошо, что вы откровенный. Вот на чем окончим мы нашу беседу: вы возвратитесь к Кишлоту, а к нам будете приходить по воскресеньям. Кроме того, вы явитесь для делового разговора послезавтра, в те же часа.

– Что вы надумали для меня? – спросил Давенант с высоты облаков, куда загнал его твердый, теплый тон Футроза.

– Законный вопрос. Так вот: у меня есть знакомый в Географическом институте. Несколько экспедиций намечено в этом году, – экспедиций небезопасных и долгих. Вам найдется там вспомогательная работа.

– Это верно! – воскликнул Давенант. – Я буду переносить инструменты или разбивать палатки. Однако, – добавил он великодушно, – я очень прошу вас: если вы встретите затруднения, – не хлопчите тогда.

– Ах так?! Хорошо.

– Но это не в таком смысле, что... – запутался опешивший Давенант, – а в другом... Мне совестно.

– Хорошо, – Футроз задумался, быстро проворчав сам себе: – «Отдам его Старкеру. Пусть пишет под диктовку дневник».

– Как вы сказали? – не расслышал Давенант, думая, что Футроз спрашивает его.

– Я сказал, – шутливо оборвал Футроз деловой разговор, – что я возьму вас пинцетом за крылышки и пущу бегать по глобусу.

Чувствуя серьезность обещания, Давенант глубоко вздохнул, а Футроз позвонил и велел горничной передать девушкам, что он хочет их видеть.

– Вы будете нас посещать, – сказал он Давенанту, хлопая его по плечу, – и вам надо их старательно разглядеть, чтобы потом знать, с какой стороны получите удар. Это – хорошие, но очень коварные дети.

Девушки вошли и чинно кивнули смутившемуся Тиррею.

– Серьезный разговор кончен, – сказал им отец, – а теперь Давенант – наш гость. Боюсь, что он деликатнее вас, а потому не сумеет вас осадить. Помните, что он беззащитен, и не пугайте его. Мы его понемногу перевернем. Розна, я могу быть спокоен?

– О да, папа! – грустно сказала Рой, опуская глаза. – Ты можешь быть совершенно спокоен. Так спокоен, как тихая вода горных озер.

– Как энциклопедия на древнеегипетском языке, – успокоила отца Элли, печально глядя рукам.

Футроз с сомнением взглянул на них и вышел.

Язвительницы немедленно подошли к Давенанту и сели против него.

Элли томно сказала:

– Какая чудесная погода!

– О да! – ласково улыбнулась Рой краснеющему Давенанту. – Но, кажется, барометр падает. Скажите, пожалуйста, какого типа автомобили вам нравятся?

– Вы любите музыку? – спросила Элли, кусая губы. – Какой ваш любимый композитор?

Продолжая дурачиться, они заметили, что Давенант удручен, и рассмеялись.

– Вы на нас не сердитесь, – сказала Рой. – Сегодня мы почему-то никак не можем остановиться. Нравится вам у нас?

– Да, – сказал Давенант, – вы угадали.

– А мы? – нагло спросила Элли, подсакивая на стуле.

– Мы постараемся вам понравиться, – скромно пообещала Розна. – Вы будете приходить часто. Хорошо?

– Очень хорошо, – ответил Давенант, – это лучше всего. – Подумав, он добавил: – Я, может быть, кажусь вам очень серьезным, но это обманчиво. Так я не очень серьезен.

– Я вижу, что у нас найдется общая почва, – Элли подмигнула сестре. – Я тебе говорила.

– Что говорила?

Они обменялись таинственными знаками и несколько успокоились.

– Хотите, мы вам сыграем? – предложила Элли.

– Конечно! – вскричал Давенант. Улыбка не покидала его.

Возник спор, кому первой играть. Кончился он тем, что Роэна села к роялю, а Элли встала с ней рядом – переворачивать листы нот.

– Слушайте «Вальс изгнанника», – говорила Роэна в то время, как ее еще не сильные пальцы нажимали клавиатуру. – Я основательно не усвоила его пока. Это место путается дней пять. Но ты, Роэна, упорное существо... Слышите, как соврала? И вот, теперь изгнанник возвращается к домашнему очагу.

– Он стоит у окна темный, как негр в полночь, а там, – Элли закатила глаза, – его дочь, в цветах и бриллиантах, приехала из церкви... Сказать ли? С довольно недурным субъектом.

– И... – подхватила Рой, приказывая взглядом перевернуть лист. – Элли, зачем дергаешь ноты?.. И изгнанник, не желая мешать счастью дочери, целует оконное стекло. Все кончено. Он вернулся в свой дикий лес.

Давенант слышал не вальс, а небесный хор. Руки Роэны, вытягиваясь при сильных аккордах, как бы отталкивали рояль, или, мягко опустив локти, она склонялась над клавишами, быстро перебирая их, разогревшаяся, охваченная светом мелодии.

С нее Давенант перевел взгляд на Элли. Девочка рассеянно улыбалась ему, тихо подпевая игре сестры. Теперь они были очень похожи.

Роэна окончила звуками, напоминающими медленный бой часов, и встала.

– Вот и все, – сказала она. – Хотите еще? Давенант не успел ответить, так как вошел Футроз с конвертом в руке.

– Давенант, увидите ли вы Галерана? – спросил Футроз, обняв прижавшуюся к нему Элли.

– Да, я думаю, – да, – ответил Давенант, не понимая, что означает этот вопрос. – Галеран приходит в „„ обедать каждый день.

– В «Отвращение», – вставила Элли. – Ох! Я обещала ему написать.

– Помолчи. Передайте это письмо Галерану, а затем, как мы условились. Надеюсь, я увижу вас послезавтра.

– Загадка! – вскричала Рой.

– Галеран влопался, – кратко сообщила Элли, повертываясь на одной ноге.

– Хорошо, письмо будет передано, – сказал Давенант, пряча пакет.

– Тампико, мы пошли, – объявила Элли. – Прощайте, Давенант! Передайте письмо!

– Передайте его из рук в руки, за углом, чтобы никто не видел, – посоветовала Рой.

Футроз повернулся к ним, скрестив руки и двинув бровью так внушительно, что девушки смутились и вышли. Давенант увидел два носика, просунутые в щель двери, затем Рой сказала: «Идем!» – и дверь плотно закрылась. Футроз отпустил Давенанта, почти жалея, что этот большой мальчик не его сын.

Выпущенный на улицу почтительной горничной, стесняясь ее, стен, двери, самого себя, Давенант пустился идти так быстро, что задохнулся. Ломая голову над неожиданным письмом Галерану, твердя «Географический институт», «изгнанник целует стекло», слыша мотив и созерцая два носика в дверной щели, Давенант явился к Кишлоту с таким странным лицом, что тот спросил:

– Выставили?

– Нет, не выставили, – рассеянно ответил наш герой, оглядываясь. – А где Галеран?

– Он тут, если ты на него смотришь, – сказал Галеран в пяти шагах от Давенанта, именно к нему и обратившегося со своим лунатическим вопросом.

Давенант вздрогнул.

– Ах, это вы! Странно – я не заметил, где вы сидите. Вот письмо. Вам письмо.

Кишлот только что принес тарелку супа для Галера-на. Тот отложил ложку и стал рассматривать конверт.

– Сам Футроз написал его, – пояснил Давенант. В течение нескольких минут остальные посетители «Отвращения» – старая женщина и толстомордый приказчик из мясной лавки – тщательно требовали: женщина – соль, а приказчик – печеное яблоко. Кишлот разинул рот еще шире, чем Давенант. Кишлот издали рассматривал письмо, а Давенант стоял вблизи Галерана. Наконец, опомнясь, он ушел заменить синий пиджак белой рабочей курткой и, едва сделав это, выскочил смотреть, как распечатывается загадочное письмо.

Галеран с замкнутым лицом вскрыл конверт и запустил в него два пальца. Подавив улыбку, он осторожно извлек визитную карточку, мелко исписанную, и, держа ее перед собой в левой руке, приблизил к губам ложку с супом. Ложка почти касалась его губ, но он, слив суп обратно в тарелку, оставил ложку и, держа теперь письмо обеими руками, начал читать с крайне серьезным видом, заложив ногу за ногу. Что-то большое, важное засветилось в его прищуренном взгляде. Галеран спрятал письмо и рассеянно съел суп, после чего заказал мороженое.

– Разве вы не будете есть дичь? – удивился Кишлот, взглядывая из-за своей стойки на Галерана, который даже закурил почему-то перед мороженым. – «Куропатка с ревматизмом», – как значится сегодня в меню... Хе-хе! Должно быть, важное это письмо, от старых знакомых... Давенант, принеси «мороженое с ангиной»!

Надеясь, что Галеран заговорит о письме, Тиррей окаменел в дверях, подняв ногу и повернув ухо.

– Не буду есть даже «павлина с аппендицитом», – сказал Галеран, – не буду есть даже мороженое. Я раздумал, так как лишился аппетита из-за чрезвычайных новостей. Во-первых, овцы подорожали, а во-вторых, прибыла партия кайенского перца, который продается с аукциона.

– Так не надо мороженого? – спросил Давенант, ставив старухе третью солонку.

Старуха так обиделась, что топнула ногой. Галеран встал, подозвав мальчика движением головы.

– Сознаешь ты, что отчасти обязан мне? В деле с Футрозом?

– Конечно. Вы первый начали.

– Тогда ты должен зайти сегодня вечером, в десять часов, на Северную улицу, номер 24, квартира 33. Это мой адрес. Я буду тебя ждать. Ты придешь и расскажешь, как тебя встретили.

– Футроз сказал, что сделает все. Понимаете? Я не шучу. Я приду к вам, – быстро говорил Давенант, извиваясь всеми нервами от любопытства к письму. – Но... что он вам написал? Уж вы простите меня.

– Я мог бы не отвечать, видя твою деликатность, но я тебя понимаю. Футроз просит меня, со всей вежливостью, конечно, чтобы я не присылал ему больше очень любопытных «Тирреев», шестнадцати лет.

– Я не мальчик, – сказал Давенант, вспыхнув. – Но я сошел с ума, вот что. Забудьте мою настойчивость...

Галеран ушел, а Давенант приступил к обычной работе. Относительно письма он думал, что Футроз переслал Галерану записку Элли о ее мыслях, как она обещала. Кишлот сумрачно посвистывал, роняя изречения вроде: «Чего не бывает в жизни!», «Не каждому так везет!», а вечером подвыпил и заявил, что в его жизни тоже был один случай, но он не воспользовался им, так как очень горд и презирает людей, живущих в особняках.

– Вот если ты сам достигаешь всего – это другое дело, – говорил Кишлот, – это не то, что хвататься за чужой хвост.

Ворчание старика Давенант оставил без внимания и, рассеянно соглашаясь с ним, дождался наконец часа закрытия кафе. Вскоре после того он направился к дому, где жил Галеран. Это был старый дом в три этажа, стоявший на углу песчаного пустыря плохо освещенной окраины. Не все окна дома были озарены изнутри, на грязных лестницах приходилось рассматривать ступени, а иногда зажигать спичку. Давенант взобрался на третий этаж по второй лестнице и разыскал номер квартиры. Человек с миниатюрным лицом, провалившимся в огромную бороду, провел Давенанта к помещению в конце широкого коридора, где смутно белела прибитая кнопкой визитная карточка. Услышав шаги, Галеран вышел и пропустил мальчика, а дверь запер крючком.

– Я всегда запираюсь, – сказал Галеран, – потому что жильцы имеют привычку вваливаться

не стуча. Тебе открыл горький пьяница, бывший студент.

Большая комната Галерана была освещена газовым рожком и скудно обставлена простой мебелью, состоявшей из двух столов – на одном провизия и посуда, другой с книгами и чернильницей, – трех стульев, кровати за ширмой и марлевых занавесок двух окон. На известковых стенах висели две старые гравюры под стеклом, копии Мейсонье. Эта бедность, подчеркнутая чистотой помещения и полной достоинства приветливостью, с какой Галеран усадил гостя, тронула Давенанта; впервые пожалел он, что не богат и не может прислать Галерану восточный ковер.

– Вы очень меня заинтересовали, – сказал мальчик, – я все ждал, когда наступит вечер. Но я все равно страшно хотел прийти к вам.

– Отлично. Тем более, что я тебя сейчас поведу.

– Да. То есть – куда?

– Мы условились, что ты не будешь ни о чем спрашивать. Я тебя поведу, и ты увидишь.

– Замечательно интересно! – вскричал Давенант, ожидая чудес и снова трепеща, как утром в доме Футроза. – Я согласен. Что же я увижу?

– А! Не стоит с тобой разговаривать! Принимай условие без вопросов и рассуждений. Нам предстоит приключение.

. – В таком случае я готов, – заявил Давенант, вскакивая. – Но у меня нет оружия.

– Нам не понадобится оружие. Если хочешь, вооружись терпением.

Галеран надел шляпу и взял трость. Давенант не мог ничего прочесть в его невозмутимом лице. Завернув газовый рожок, Галеран сказал: «Идем», – пропустил мальчика и запер дверь. При выходе встретился им человек с бородой, которому Галеран внушительно заявил:

– Симпсон, замок я устроил так, что защелку не отодвинуть теперь концом ножа, а потому не трудитесь осматривать мою комнату. Кстати, сегодня там нет ни портвейна, ни водки.

– Хорошо, – басом ответил Симпсон. – Впрочем, что я говорю! Вы незаслуженно оскорбили меня!

– Только предупредил. Завтра, может быть, будет водка, так я вам дам сам.

Не слушая, что кричит вдогонку Симеон, Галеран вышел из дома и привел Тиррея на освещенную улицу, где они взяли извозчика, которому Галеран назвал адрес, неизвестный Давенанту. Забавляясь волнением и недоумением Тиррея, умолкшего от неожиданности и сидевшего, погружаясь в тщетные догадки, Галеран обстоятельно рассказал о Симпсоне – как он застал его в своей комнате за кражей вина, – похвалил новый дом с красивым фасадом и указал кинематограф, где был недавно пожар. Разочарованный Давенант обиженно слушал, догадываясь, что Галеран забавляется нетерпением жертвы своих тайн, и выискивал среди его слов намеки на предстоящее.

– Хочешь, я тебе расскажу анекдот? – спросил Галеран.

Однако извозчик остановился у одноэтажного дома, и анекдот никогда не был рассказан.

– Немного поздно, – сказал Галеран старухе-немке, открывшей дверь и встретившей посетителей бесчисленными кивками. – Мой юный друг горит нетерпением осмотреть комнату.

Давенант дернул его за рукав, но Галеран взял мальчика за локоть и подтолкнул.

– Иди же, – сказал он. – Я говорю правду. Футроз просил меня найти тебе комнату. Ты будешь здесь жить.

– Его письмо! – вскричал Давенант. – Так это он вам писал?

– Да; еще кое-что.

– Заботятся о молодом человеке, хлопчут, – осторожно произнесла старуха как бы про себя, но с явной целью завязать разговор. – Пожалуйста, пожалуйста, там вам все приготовлено, останетесь довольны.

– Значит, сегодня мне не уснуть! – объявил Давенант, входя за Галераном в комнату с зелеными обоями и глубокой нишей, где помещалась кровать. Он увидел качалку, письменный стол, стулья с кожаными сиденьями, шкаф, занавески из машинных кружев.

Хозяйка не вошла в комнату, но стала у порога, и Галеран без церемонии закрыл дверь.

– Сегодня тебе нет смысла перебираться, – сказал Галеран, – так как уже поздно, да и

Кишлот, пожалуй, обидится. Он по-своему привязан к тебе. Впрочем, как хочешь. Так слушай: эта комната оплачена вперед за три месяца с полным содержанием: завтрак, обед, ужин и два раза за кофе. Хорошее приключение?

– Чем я отплачу Футрозу и вам?

– Ты отплатишь Футрозу тем, что вежливо примешь эти дары, врученные тебе добровольно, с хорошими чувствами. Как ты сам понимаешь, у него нет причины заискивать перед Давенантом. Что касается меня, то моя роль случайна – я только согласился исполнить просьбу Футроза. Открой шкаф!

Давенант повиновался. В шкафу висела одежда. Внизу лежала груда белья.

– Ты видишь, – продолжал Галеран тоном ботаника, объясняющего разрез цветка, – ты видишь здесь части нового костюма, состоящего из серых брюк, жилета и пиджака – это довольно дорогое сукно. Рядом висят части белого костюма и четыре галстука различных оттенков. Две шляпы – соломенная и фетровая. Шляпы необходимо примерить.

Галеран взял мягкую шляпу и водрузил ее на голову Давенанта.

– Очень хорошо. Я снял мерки твоего платья при помощи повара, который поклялся молчать благодаря ощущению в ладони приятного металлического холодка. Надеюсь, он молчал?

– Ничего он мне не сказал.

– То-то. Было бы неестественно, если бы ты не ущипнул все эти прелести, а, Давенант? Прикоснуться необходимо.

Давенант бессмысленно подержался за брюки, уронил галстук и закрыл шкаф.

– Лучше не смотреть пока, – сказал он. – Я должен привыкнуть. Вы не можете догадаться, почему Футроз дал мне так много всего?

– Представь – могу. Футроз такой человек, что если делает, то делает основательно, до конца, или не делает ничего. Доброта добротой, но эта черта характера весьма показательна, так что если он невзлюбит тебя, то не менее основательно забудет о твоём существовании. Это человек серьезной игры. Твой хозяин – старый счетовод Губерман, его жена – Эмма Губерман, которая открыла дверь, – дьявольски любопытна, поэтому не говори ничего о доме Футроза. Если показать красивую вещь людям, не понимающим красоты, – ее непременно засидят мухи мыслишек и вороны злорадства. Понял меня?

– А вот что! – вскричал Давенант. – Уж как вы хотите, но я вас должен поцеловать.

Прежде чем Галеран успел защититься, Давенант охватил руками его мрачную голову и крепко поцеловал.

– Бойся несчастий, – внушительно сказал Галеран, беря мальчика за плечо,

– ты очень страстен во всем, сердце твое слишком открыто, и впечатления сильно поражают тебя. Будь сдержаннее, если не хочешь сгореть. Одиночество – вот проклятая вещь, Тиррей! Вот что может погубить человека. Мы пойдем.

Эмма Губерман выпустила мужчин, вздыхая и припевая им в спину об «ангелах на земле».

– Шестьдесят лет живу, – прибавила она неожиданно брюзгливой скороговоркой, уже без пения и умиления, – а такого случая не бывало. Все понимаю, все. Очень хорошо, будьте спокойны.

На улице Давенант спросил:

– Куда вы направляетесь, позвольте узнать?

– Думаю, что немного выпью, сказал Галеран, пересчитывая карманную мелочь. – Ах да! От денег, которые Футроз приложил к письму, осталось вот... Сколько тут? – Он передал мальчику три золотые монеты и серебро. – Ну, ступай...

Он сел в трамвай, а Давенант явился к Кишлоту, чтобы, забрав вещи, немедленно перебраться в новое помещение. Кишлот жил без прислуги. Взяв свечу, он открыл дверь сам.

– Слушайте, вы будете сейчас очень удивлены, – сказал Давенант, остановясь на пороге. – Вы знаете ли, где я живу?

– Я стар для загадок. Или входи, или говори, что случилось.

– Галеран нанял мне комнату, – объявил Давенант. – Честное слово. Я там сейчас был. На деньги Футроза. Футроз прислал деньги в письме, а я ничего не знал.

– Врешь! – сказал Кишлот, поднося свечу к подбородку Давенанта.

– Я хотел идти туда завтра, но мне не терпится, – продолжал Давенант, машинально обрывая пальцами свечной нагар. – Уж вы меня простите. Здесь мне теперь не уснуть. Сказать ли вам еще, что пропасть всякой одежды висит там в шкафу, и все для меня?!

– Я думал, что ты врешь. Значит, посыпалось на тебя. Бывает такое, – сказал пораженный Кишлот. – С этим уж ничего не поделаешь, – в раздумье прибавил он тоном странного утешения.

– За что же это, как вы думаете?

– Ни за что. Понравился, как котенок. Без мерки он купил?

– Что без мерки?

– Галеран – фраки и смокинги?

– Это просто костюмы. Я их даже не примерял. Кишлот повел Давенанта к себе наверх, вытащил из шкафа вино и стал ходить по комнате, прижимая бутылку к спине.

– Да! – воскликнул он после молчания и вздохов. – Ты взлетишь высоко, должно быть. Но мое последнее слово тоже еще не сказано. Я нападую на золотые россыпи, говорю тебе! Рано или поздно! Будет такая верная идея, она придет. Хвати стакан вина, садись, рассказывай, черт возьми!

Наспех передав ему все существенное своей истории, Давенант выпил вина и загремел вниз по лестнице. Бросив в сундучок несложную поклажу свою, он взвалил сундучок на плечо и попрощался с Кишлотом, который, видя его состояние, не пускался более в разговоры, а порылся в карманах и отдал ему жалованье.

– Окончательно разбогател Давенант, – сказал Кишлот, всучивая бывшему слуге горсть серебра. – За четырнадцать дней! Проваливай!

Выпроводив счастливого, он запер дверь, крикнув:

– Заходи пообедать!

Глава III

Хотя Давенант страшно торопился, однако прибыл к Эмме Губерман уже в полночь, и старуха открыла жильцу дверь без неудовольствия: она получила за комнату хорошие деньги. Старуха принесла Давенанту наскоро состряпанную яичницу, которую поспешно съев, он занялся рассматриванием своих богатств: примерил серый костюм; нигде не жало, жилет не теснил грудь. В зеркале отразился некто изящный, чужой, без усов. Сняв серый костюм, Давенант облачился в белый. «Волшебство!» – сказал он, застегивая перламутровые пуговицы. Все сняв с себя, повесив одежду в шкаф, он погасил свет и уснул так крепко, что утром не сразу очнулся на стук в дверь: хозяйка начала беспокоиться, было уже одиннадцать часов, и ее кофейник закипал восьмой раз.

Давенант радостно засвистал: не надо подметать пол, расстилать скатерти и выбрасывать из вазы гнилые яблоки. Время принадлежит ему. Пахло чистотой и теплом тонкого белья. Нервы еще гудели, но не так порывисто, как это было вчера. Совершившееся приобрело законность длительной очевидности. Выпив кофе и закусив, Давенант оделся в белый костюм. Едва кончил он возиться с прикреплением галстука, как явилась старуха.

Одолеваемая любопытством, разведя руками, покачав головой в знак умиления при виде такой перемены внешности квартиранта, она стала допытываться, почему бедно одетый юноша с простым сундучком вызвал к себе столько заботливого внимания. Ее интересовало, кто – Галеран, кто – Давенант, как он жил до сего дня, а также что будет делать.

Старуха показала Давенанту весьма противной, тем более, что спрашивала не прямо, а как бы отвечая на свои мысли:

– Конечно, не все сразу. Вы осмотритесь, отдохнете, а там, надо думать, будет вам служба или не знаю что. Приятно видеть, как господин Галеран вас любит, я думала – не отец ли он?! У моего мужа тоже ничего не было, но он начал трудиться, копить...

Эти намеки Давенант обошел молчанием, он свел разговор на комнату, а старуха пыталась залезть с когтями и очками в его сердце.

Не имея опыта выпроваживать докучных людей, Давенант терпел ее скрипучий речитатив, пока, устав, она не ушла, поджав губы, с жестким лицом, а Давенант отправился бродить по городу. На выходе он столкнулся с мужем хозяйки – унылым, раздражительного вида стариком, который сунул свои хилые пальцы в его горячую руку и прохрипел:

– Ну-с, так. Все в порядке, я полагаю? Старик скрылся за углом, Давенант предпринял сложное путешествие, пересеживаясь с автобуса на трамвай, с трамвая на автобус, доезжая до конца каждой линии, и за несколько часов исколесил город, как до того никогда. Он мчался, повинувшись одолевающему его внутреннему движению. Но скоро заметил Давенант, что старается не думать о цели этих блужданий, удерживая тайные мысли. Наконец он решился и прошел по Якорной улице; когда же поравнялся с домом Футроза, уши его горели, а сердце стучало. Если так хорошо было в том доме при нем, то как очаровательна жизнь его обитателей, когда их никто не видит! Так он думал. При чужом человеке, естественно, самое прекрасное должно прятаться. Там что-то мелькает, вспыхивает, звенит – казалось ему, там плачут от смеха и летают среди улыбок таинственные существа, озаренные голубым светом. Между тем, ничего не зная о совершеннейшем из всех зданий мира, прохожие покупают газеты, бросают окурки под окна, мимо которых он идет, страшась встретить даже гувернантку Уранию Таль-берг, так как на ней тоже блестят упоительные лучи красно-желтой гостиниой, полной золотых кошек и розовых лиц.

А между тем Давенант очень хотел увидеть хотя бы Уранию, хотя бы горничную, но при условии остаться незамеченным ими.

Утешившись тем, что завтра снова придет к Футро-зу, Давенант остаток дня употребил на посещение зверинца и покупку нескольких старых книг; к завтраку он опоздал, обедать пришел поздно и был голоден, отчего съел суп, рыбу и сладкий пирог без остатка, съел даже весь хлеб, так что старуха долго рассуждала с соседкой об аппетите жильца. После обеда Давенант лег с книгой, читая повесть Хаггарда, но скоро, утомясь пережитым, заснул. Как стемнело, пришел Галеран и увел его гулять на Лунный бульвар.

Они медленно ходили под листвою огромных деревьев, разговаривая о жизни, которую Галеран знал во всех ее проявлениях, стараясь внушить мальчику доверие к своим чувствам.

– Никогда не бойся ошибаться, – говорил Галеран, – ни увлечений, ни разочарований бояться не надо. Разочарование есть плата за что-то прежде полученное, может быть, несоразмерная иногда, но будь щедр. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны.

Эти простые истины отвечали характеру Давенанта; особенную прелесть имели они именно теперь, представляя как бы надежное оружие для его переполненных чувств, поданное отважной рукой.

Возвращаясь ярко освещенной аллеей, они остановились у террасы ресторана, привлеченные бурной сценой: оборванный пьяный человек рвался к столикам, крича, что хочет развеселить посетителей замечательной песней. Уже слуги схватили его, намереваясь вытолкнуть вон, как одна богатая компания, желая потешиться, вступилась за оборванца, и, злобно оглянувшись на отошедших официантов, оборванный человек, вытерев потный лоб тылом руки, хрипло запел:

Пришла к тюрьме девчонка, Рябая Стрекоза, Вихлявая юбчонка, подбитые глаза.

«Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять, Вы будете, приятель, со мной в постели спать.

Вчера я ночь гуляла, Два шиллинга достала, Прошу их передать На номер триста пять!»

Скривился надзиратель и так ей говорит:

Я не работодатель, а честный Джонни Смит, Любовник твой, убийца, повешен он вчера За то, что кровопийца, в шестом часу утра.

А ты иди, паскуда, Прочь от ворот, покуда Тебя не прогнал я.

Поди, хлебни вина!»

«Ах так, – она сказала и плюнула в него. – Тебя повесить мало, и больше ничего, Сегодня, только смеркнет, твой брат ко мне придет И у меня в постели зарезанный уснет...»

Бродяга пел с чувством, жеманно вертясь, когда изображал проститутку, и выпячивая

грудь, строго хмурая брови, когда Рябой Стрекозе отвечает непреклонный надзиратель. Часть слушателей расхохоталась, иные вознегодовали, но артист все же собрал мзду. Больше ему петь не дали. Он ушел, пошатываясь и разглядывая монеты на дрожащей ладони. Затем бродяга быстро миновал Давенанта, крикнув отшатнувшегося юноше: «Держись, сосунок, а то сшибу!» – и исчез в аллеях. Давенант заметил его спутанные волосы. Тяжелое, коварное лицо этого человека метнулось перед ним на одно мгновение и скрылось в тени ночи.

Такого рода песни Давенанту приходилось слышать не раз, когда он возил тележку с горячей пищей на окраинах порта, а потому он равнодушно слушал ее. Между тем Галеран остановился; вытащив блокнот, он записал в него отдельные выражения этого образца тюремной поэзии.

– Я составляю сборник уличных песен, – сказал Галеран, – и надеюсь продать мой труд какому-нибудь издательству. Ты, наверное, часто старался понять, чем я живу. Я составляю сборники самого разнообразного типа: от анекдотов до «игр и забав». Я жил бы лучше, если бы не был подвержен страсти к игре. Не могу не играть.

– Значит, вам не везет?

– Ты проницателен.

– А вы старайтесь выигрывать.

– Совет мудреца! – рассмеялся Галеран. – Покинь меня и отправляйся спать. Спать хорошо.

– Вот что, – подумав, сказал Давенант, – в первый же раз, как вы отправитесь играть, возьмите, пожалуйста, эту золотую монету и присоедините ее к судьбе ваших ставок. Будь что будет!

– Идет! – согласился Галеран. – Я никогда не отказываюсь играть на чужое счастье. Приходи завтра в «Отвращение». Я буду там от часу до трех.

– Да, я всегда хочу быть с вами, – сказал Давенант. – Я буду там, мы что-нибудь придумаем.

На том они расстались. Прошла еще одна ночь, и занялся день, сказавшийся лучом в глаза:

– Сегодня, сегодня – туда!

Глава IV

Розна и Элли принимали участие в судьбе молоденькой чахоточной портнихи Мели Скорт, затеяв отправить ее лечиться на морской берег Ахуан-Скапа. Мели явилась незадолго перед тем, как вошел Давенант.

Увидев ее в гостиной смиренно рассматривающей альбомы, Давенант поклонился бледной, бедно одетой девушке и сел поодаль. Его белый костюм не обманул проницательность Мели Скорт. Взглянув на Давенанта исподтишка, она угадала зависимое положение юноши и решила сказать:

– Такой чудесный дом, не правда ли? Они очень богаты.

– Замечательный дом, – с воодушевлением отозвался Давенант. – Скажите, еще никто не выходил?

– Нет, – Мели кашлянула. – Я тоже жду. Меня отправляют на курорт лечиться. У меня чахотка. А вы?

– Я? Тут есть одно дело, – сказал Давенант, несколько смешавшись. – Впрочем, сегодня выяснится.

Его избавило от признаний появление Розны. Она вошла без сестры, в темном платье, скромно причесанная, и глаза ее лукаво блеснули.

– Давенант! Мели! – воскликнула Рой. – Как хорошо! Познакомьтесь, Тиррей Давенант, с Мели Скорт. Мели, когда вы едете?

– Я уеду завтра, так как...

– Тампико, то есть отец, только что говорил в телефон...

Рой стала шептать ей на ухо, и Мели покраснела, а Давенант расслышал окончание шепота: «... раскройте сумочку». Понимая, что происходит, он отвернулся, смотря в окно. Розна вскоре подбежала к нему, говоря:

– Идем, посидим на диване. Сегодня вы не увидите Элли. Бедняжка прихворнула. Доктор уже смотрел язык и посоветовал целый день лежать. Только это не опасно, он так сказал. Давенант, вам тоже от отца весть: еще не приехал его знакомый, который должен будет посвятить вас в рыцари географии. Так что мы поболтаем. Ах, Элли беспокоит меня!

– Должно быть, перемена погоды, – сказала Мели. – Я под утро не могла заснуть от кашля. Они уселись. Рой села между Давенантом и Скорт.

– Очень неровный климат, – продолжала Мели.

– Да, ужасные, ужасные перемены. Отвратительно! Юная хозяйка не дурачилась, как вчера, но в ее голосе слышались знакомые Давенанту боевые ноты первого дня, когда играли «Изгнанника».

Девушки помолчали. Встретясь глазами, они улыбнулись и рассмеялись.

– Отчего вы рассмеялись? – воскликнула Рой, привскакивая на сиденье.

– Не знаю. А отчего вы?

– Просто так. Так вот что: съедим конфеты. Она убежала и вернулась с коробкой, поставив ее на диван между собой и девушкой.

– Давенант, отчего вы сидите так чинно? – сказала Рой. – Идите помогать.

Давенант подержал конфетку у губ и спросил:

– Что же с Элли? Может быть, она опасно больна?

– Нет, нет, успокойтесь. Она, так сказать, наполовину здорова. Но ей придется весь день лежать.

– Что такое?! – вскричал ревнивый голосок, и в гостиную вышло зеленое одеяло, из которого торчала кудрявая голова. На ногах Элли были огромные туфли Урании, и она бойко шаркала ими, поддерживая свисающее одеяло, как шлейф.

– Здравствуйте, дети, – сказала Элли, – я к вам. И „О, дай мне конфету. Рой! Уже я знаю: Давенант пришел к нам. Могла ли я утерпеть?

– Элли, ступай назад! – крикнула ей Розна. – Как ты смела?

Не обращая внимания на ее тревогу, Элли подошла к Мели Скорт и присела.

– Как вы думаете, – хочу я общества или нет? Позвольте представиться: минус вселенной!!!

– Мели, скажите ей, что когда вы больны, то не вскакивали в таком кимоно!

– Будьте послушны, – сказала Мели, давая девочке взять себя под руку, после чего Элли решительно уселась на диван, – даже маленький сквозняк вам опасен.

Элли, вздохнув, встала и пересела к Давенанту.

– Он защитит меня и даст мне конфетку. Будьте моим рыцарем!

– Хорошо, сказал Давенант, – но, как рыцарь, я дам вам конфетку только с разрешения графуса.

– В том-то и дело, что я его разбила сейчас. Я хотела доказать, как я здорова. Что такое ртуть? Кто знает?

– Иди-ка сюда, – Рой приложила руку к щеке Элли. – Кажется, ничего нет, но ведь Урания помешается.

– Накликала, – проговорила Элли, заведя входящую гувернантку.

– Это что такое! – закричала Урания, подняв руки. Она сразу узнала Давенанта, но, узнав, покраснела от возмущения. Воспитательная система Футроза приводила ее в ярость.

– Элли, вы меня... убить? Хотите меня убить, да? Сию минуту в постель!

Элли закрыла лицо руками и помотала головой.

– Ах, как не хочется лежать! – просто сказала она. – Что делать? Иду. Прощайте! Пусть у вас расстроятся желудки от ваших конфет!

Одеяло удалилось, шаркая туфлями и напевая грустный мотив, а Урания объявила Розне, что ее ждет учитель музыки, после чего вышла, закинув голову и грозно дыша.

– Желаю вам быстро поправиться, – сказала Розна, прощаясь с Мели Скорт. – Папа был в Ахуан-Скапе и очень хвалит это место. Вам будет там хорошо.

– У меня перед отъездом разные противные дела. Благодарю вас.

– Давенант, – сказала Роэна, – в воскресенье вы наш гость, не забудьте. Мы будем стрелять. Вы любите стрелять в цель?

Она стояла совсем близко к нему, с слегка раскрытым ртом, и ее брови смеялись.

– Давенант, вы уснули?

– Нет, – ответил Давенант, выходя из блаженной рассеянности. – Я, знаете, люблю думать. Должно быть, я думал.

– Да? Значит, я вгоняю в задумчивость! Замечу это. Роэна проводила гостей до выхода и выглянула вслед им за дверь, сказав:

– Рыцарь Элли! Оглянитесь! Ау!

Роэна помахала рукой, затем скрылась.

Бледная, белокурая, с усталым счастливым лицом, Мели Скорт сказала Тиррею:

– Вот как живут! У них есть все, решительно все!

– Ну да, – согласился Давенант, удивляясь, как могло бы быть иначе.

Он расстался с Мели на углу, не понимая, что она ему говорит, и тотчас забыв о ней.

Некоторое время Давенанту казалось, что смех Роэ-ны, одеяло Элли и предметы гостинной разбросаны в уличной толпе. Но впечатления улеглись. Он пришел в «Отвращение», где увидел Галерана, сидящего, как всегда, у окна с газетой и кофе. Новый слуга, рыжий, матерый парень, подошел было к нему, но, услышав восклицание Кишлота: «Граф Тиррей!» – догадался, что это его предшественник, о котором повар уже сочинил роскошные басни. В увлечении творчества повар признал Давенанта незаконнорожденным сыном Фут-роза.

Давенант раскаялся, что зашел сюда. Кишлот не мог или не хотел взять простой тон. Ощупав костюм мальчика, он снял его шляпу и бесцеремонно примерил на себе, отпуская замечания:

– О-го-го! Наверно, тебе не снилось одеться так шикарно! – Затем пошутил:

– А ну-ка, подай соус. Хе-хе! Нет, теперь ты сам будешь заказывать!

Смутясь, Давенант быстро подошел к Галерану.

– Еще ничего не известно, – сказал он как можно тише, чтобы не впутался в разговор Кишлот. – Еще не приехал Старкер.

– Слушай, Тиррей, – ответил Галеран, – иди отсюда и будь дома завтра утром. Мы проведем целый день на лодке. Я не играл вчера, не получил денег. Хочешь взять свой золотой?

– О нет, ведь я сказал.

– Хорошо.

Давенант хотел выйти, но рыжий слуга ткнул его слегка в бок, спросив:

– Сколько платил? Материя знаменитая.

– Это не я покупал.

– Как. – не ты?

– Верно, не я.

– Может быть, твой камердинер?

– Не болтайте глупостей, Дик, – вступился Галеран, – лучше принесите мне табак.

Он дал рыжему парню мелочь, а Давенант, крикнув Кишлоту: «До свидания!» – вышел. Уже он повернул за угол, как Дик окликнул его и загородил дорогу.

– Вот я тебя проучу, – сказал Дик, сбрасывая куртку и швыряя ее на тумбу.

– Стань-ка как следует.

– Что? Драться? – удивился Давенант, не совсем понимая гнев Дика. Но скоро он понял причину истерики.

– Ты даже не знаешь меня, – сказал он миролюбиво.

– Не разговаривай! Зазнался, дрянь этакая. Дик засучил рукава, но Давенант вынул из жилетного кармана серебряную монету и, улыбаясь, протянул ее взбешенному врагу.

– Возьми себе, – сказал он, – деньги тебе нужны.

– Что-о-о! – заревел парень. С презрением схватил он монету и потряс ею перед лицом Давенанта. – Этим ты думаешь отделаться?

– Вот еще, – сказал Давенант, протягивая вторую монету.

– Что же? Струсил, что ли?

– Думай как хочешь. Берешь?

– Давай сюда! – Дик вырвал деньги из его пальцев и сунул в карман. – У, сволочь!

Он схватил куртку и побежал покупать табак, а Давенант, задумавшись, направился домой, где его ждал обед. В тот день ничего особенного больше не произошло. Давенант читал, посетил кинематограф и спал хорошо.

В воскресенье, рано утром, пришел Галеран. Они ездили на лодке под парусом до мыса Бай, взяв с собой вина, провизии; разложили костер, варили кофе и несколько раз купались.

Как ни прекрасна была эта прогулка, впечатления волн, ветра и отдаленного берега нарушили, казалось Давенанту, внутреннюю его связь с домом Футроза, уменьшили и затушевывали ее. Едва расставшись, при возвращении, с Галераном, он был рад снова очутиться в городе. Уже было четыре часа, когда, еще не побывав дома, расхаживая из улицы в улицу, Давенант, втайне ожидая этого, встретился с Розной и Элли при выходе их из магазина. Он смутился как своего старого костюма, в котором он ездил к мысу Бай, так и от горячо ожидаемой неожиданности. Девушек сопровождала Урания. Давенант хотел незаметно пройти в толпе, за спиной гувернантки, но Рой увидела его и сделала ему рукой знак. Сильно взволновавшись, Давенант подошел, отвесив гувернантке такой почтительный поклон, что она, смягчившись, перестала рассматривать его в упор, как афишу. Сияющие нарядные девушки тотчас атаковали Давенанта. Набравшись смелости, он сообщил им, что всего полчаса как вернулся с прогулки по морю.

– Со мной был Галеран, – прибавил он. – Мы прыгали в воду с отвесной скалы, не очень высоко... Там замечательные гигантские водоросли.

– Вы хорошо плаваете? – спросила Элли. – Я еще не умею.

– У меня хорошие дыхание и сердце, я могу далеко плыть, – сказал Давенант.

– Садитесь, мы вас подвезем, – предложила Рой. – Вам куда?

Давенант очень хотел сесть с ними в экипаж и потому отказался.

Усевшись и наклоняясь из экипажа, Рой сказала:

– Давенант, мы вас ждем!

– Я лучше пройду, – ответил он и поправился, – я сяду в трамвай.

– Где вы сейчас находитесь? – крикнула, смеясь, Элли.

Не поняв шутки, он сказал:

– Там же, все в той же комнате.

– Сомневаюсь! – заявила Рой.

– Сомневаюсь! – воскликнула Элли.

Даже на лице Урании зазмеилось подобие улыбки. Давенант сконфузился и стал махать шляпой, пока экипаж не скрылся, унося прочь эти подобию альпийских фиалок, похищенные у шумной толпы. То были не совсем те Элли и Рой, какими узнал он их в чудесной желто-красной гостиной. Те же, но не такие. Там они были из того мира, где все неясно и важно.

Взрослый человек всегда найдет, как сократить время и сдержать нетерпение, но, если даже он плохо владеет собой, его представление о времени реально. Не то было с Тирреем. Дожидаюсь половины восьмого вечера, Давенант переживал утомительное физическое напряжение. Задолго до выхода из дома, надев серый костюм, он сел у окна, рассматривая прохожих. Просидев три минуты, схватил книгу, но читать оказался не в состоянии. Не стерпев могущества часовых стрелок, хладнокровно сопротивляющихся его вздохам, взглядам, покусыванию губ, метаниям из угла в угол, Давенант надел шляпу и отправился на улицу без четверти семь. Вдруг бой городских часов указал, что часы Губерман отстали на пятнадцать минут. «Вот это хорошо», – сказал Давенант вслух, обратив на себя внимание прохожих. Ни в какую сторону, как только к Якорной улице, он идти не мог, но решил идти очень тихо, чтобы явиться в десять минут девятого. Однако расстояние было не так велико, а его нетерпение – огромно, и, как следовало ожидать, Давенант оказался вблизи дома Футроза за полчаса до восьми. Опасаясь явиться первым, он удовольствовался тем, что стал смотреть на дом издали и простоял, не сходя с места, тридцать минут, осведомляясь у каждого прохожего:

– Который час?

– Четыре минуты девятого, – сказал ему наконец словоохотливый человек с розовыми,

морщинистыми щеками. – Поставьте ваши часы по моим – это часы фабрики...

Но Давенант был уже довольно далеко. Он мчался по прямой линии к подъезду и попал в кабинет Футроза, куда его провела горничная, мимо полуоткрытой гостиной, где слышались веселые голоса.

– Я велел просить вас к себе, пока вас еще не завертели мои хозяйки, – сказал Футроз, мельком осмотрев Давенанта. – Могу порадовать вас: приехал профессор Старкер. Я скоро увижусь с ним и попрошу его записать вас участником первой же экспедиции. Своевременно я вас извещу.

Затем он расспросил Давенанта о комнате, о Гале-ране, дружески посоветовал застегивать пиджак на все пуговицы и усадил в огромное кресло-нишу, откуда, как из провала, видны были книжные шкафы, мраморная фигура Ночи и проникновенно улыбающийся Футроз.

– Я еще не поблагодарил вас, – сказал Давенант. – Иногда мне кажется: я проснусь – и все это исчезнет.

– Ну-ну, – добродушно отозвался Футроз, – будьте спокойнее. Ничего страшного не произошло.

Давенант хотел прямо сказать: «Я никогда не был счастлив так, как все эти дни», – но услышал подлетающие шаги и, не посмев обернуться к двери, забыл, что хотел выразить.

– Давенант здесь? – воскликнула, вбегая, нарядная, красиво причесанная Розна. – Вот он. Запрятан в кресло.

Давенант вскочил.

– Здравствуйте – сказала Элли, напоминая уменьшенную Роэну, – в коротком платье. – Позволь его увести, Тампико. Он нам нужен.

– Кто у вас?

– Все: Гонзак, Тортон и Тита Альсервей.

– Единственно не хватает вас, – сказала Роэна Давенанту. – Тампико, он человек с понятием. Ему нечего у тебя делать. У нас веселее, правда? Ты тоже явишься, мы очень просим тебя.

– Вы надеетесь, что я приду к вам хихикать?

– Да, мы надеемся, – сказала Элли. – Отец и его две дочери хихикают... Это мы включим в программу.

– Я приду позднее. Давенант, повинуйтесь!

– А-рес-то-вать! – закричала Элли, беря под локоть Давенанта с одной стороны, другим локтем завладела Рой, и они увлекли его в гостиную.

Теснее и ярче, чем днем, показалась теперь Давенанту эта комната, сильно озаренная огнями люстры и пахнувшая духами. Вечерние оттенки несколько изменяли ее вид; присутствие в ней незнакомых Давенанту – Гонзака, Тортон и Титании Альсервей – вызвало в нем ревнивое чувство, делая гостиную Футроза похожей на другие гостиные, которые приходилось иногда видеть ему с улицы в окно. Давенант любил ярко освещенные помещения: аптеки, парикмахерские, посудные магазины, где блеск огней в множестве стеклянных и фаянсовых предметов создавал лишь ему понятные праздничные видения.

Роэна познакомила Давенанта с другими гостями. Гонзак – рыжеватый юноша с острым лицом, сероглазый, надменный, не понравился Давенанту, Тортон вызвал в нем оттенок расположения, несмотря на то, что бесцеремонно оглядел новичка и спросил, будто бы не расслышав:

– Да... ве...?

–... нант, – закончил Тиррей.

Тортон был смугл, черноволос, девятнадцати лет, с начинающими пробиваться усами и вечной улыбкой.

Он без околичностей перебивал каждого, если хотел говорить, и смеялся не грудью, а горлом, говоря похоже на смех: «Ха-ха– Ха-ха!»

Титания Альсервей, однолетка Роэны, тонкая, удивленная, с длинной шеей и золотистыми глазами при темных бровях, двигалась с видом такой слабости, что каждое ее движение взывало о помощи.

Давенант чувствовал себя не свободно, стараясь скрыть замешательство. У него не было

естественно-развязных манер, лакированных туфель, как на Гонзаке и Тортоне; его костюм, казалось ему, имел надпись: «Подарок Футроза». Должно быть, его лицо сказало что-нибудь об этих смешных и трагических чувствах облаканного человека «с улицы», так как Элли, посмотрев на Давенанта, задумалась и села рядом с ним. Это был знак, что он равен. Роэна разлила чай. Давенант получил чашку вторым, после Титании Альсервей, и начал немного отходить.

Старательно слушая, о чем говорят, он присматривался к гостям. Разговор шел о неизвестных ему людях в тоне веселых воспоминаний. Наконец заговорили об Европе, откуда недавно вернулся со своим отцом Тортон.

При первой паузе Рой сказала:

– Давенант, почему вы так молчаливы?

– Я думал о гостинице, – нехотя ответил Давенант, нарочно говоря громче обыкновения, чтобы расшевелить себя, и замечая, что все внимательно его слушают. – Вечером она другая, чем днем.

– Вам нравится эта печь, в которой мы сидим? – снисходительно произнесла Титания.

– Да, как огонь!

– Мы ее тоже любим, – сказала Роэна, – у нас страсть к горячим и темным цветам.

– Несомненно, – подтвердил Гонзак.

– Я равнодушен к обстановке, но люблю, когда есть качалка, – сообщил Тортон.

– Нет ничего хуже прямых стульев с жесткими спинками, как, например, у Жанны Д'Аршак, – заметила Титания.

– Какая у вас будет гостиная? – спросила Элли Тиррея. – Впоследствии? Минуты времена и сроки?

– Такая же, как и ваша, – смело заявил Давенант.

– Однако вы – патриот! – заметил Гонзак.

– Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, кто ты, – изрек Тортон.

– Неужели вы это сами придумали... – спросила Рой, но Тортон перебил ее одним словом:

– Аксиома.

– Малоизвестная, надеюсь, – отозвалась Альсервей.

– Вы хотите сказать, что я не оригинален? Ха-ха! Оригинально то, что так может случиться с каждым оригиналом.

– Тортон, вам – нуль. Садитесь, – сказала Рой.

– Сиж. Молчать?

– О, нет, нет! Говорите еще!

– Как же вас понять?

– Женское непостоянство, – объяснил Гонзак и уронил ложечку.

Все расхохотались, потому что смех бродил в них, ища первого повода. Рассмеялся и Давенант.

– Давенант засмеялся! – воскликнула Элли. – О как чудно!

– Вы под сильной защитой, – сказал Тиррею Гонзак. – Если вы смеетесь один раз в год, то в этом году выбрали удачный момент.

– А почему?

– Именно потому, что вас поощрили.

– Фу-фу? – закричала Элли. – Это не шутка, это перешутка. Гонзак!

– Слушаюсь, пере-Элли!

– Окончилось ваше увлечение балетом? – спросила Рой Титу Альсервей.

– Нет, когда-нибудь я умру в ложе. Мой случай неизлечим.

Давенант откровенно любовался Роэной. Она была так мила, что хотелось ее поцеловать. Взглянув влево, он увидел блестящие глаза Элли, смотревшие на него в упор, сдвинув брови.

– Я вас гипнотизировала, – заявила девочка. – Вы – нервный. Ах, вот что: можете вы меня переглядеть?

– Как так – переглядеть?

– Вот так: будем смотреться в глаза, – кто первый не выдержит. Ну!

Давенант принял вызов и воззрился взгляд во взгляд, а Элли, кусая губы и смотря все строже, пыталась победить его усилие. Скоро у Давенанта начали слиться в глазах мерцающие крути. Прослезившись, он отвернулся и стал вытирать глаза платком. Его самолюбие было задето. Однако он увидел, что Элли тоже вытирает глаза.

– Это оттого, что я смигнула, – оправдывалась Элли. – Никто меня не может переглядеть.

Пока тянулась их комическая дуэль, Рой, Гонзак и Тортон горячо спорили о стихах Титании, которые она только что произнесла слабым голосом умирающей. Розна возмутилась выражением: «И рыб несутся плавники вокруг угасшего лица...»

– Рыбы штопают чулки, пустив бегать плавники, – поддержал Гонзак Розну.

Титания надменно простила его холодным нездешним взглядом, а Тортон так громко сказал: «Ха-ха!» – что Элли подбежала к спорщикам, оставив Давенанта одного, в рассеянности.

Некоторое время, казалось, все забыли о нем. Прислушиваясь к веселым голосам Розны и Элли, Давенант думал – странное для своего возраста: «Они юны, очень юны, им надо веселье, общество. Почему они должны заниматься исключительно мной?» Подняв голову, он увидел картину, изображающую молодую женщину за чтением забавного письма. Давенант прошелся, остановясь против небольшой акварели: безлюдная дорога среди холмов в утреннем озарении. Элли, успев погорячиться около спорящих, подбежала к нему.

– Это – «Дорога Никуда», – пояснила девочка Давенанту: – «Низачем» и «Никуда», «Ни к кому» и «Нипочему».

– Такое ее название? – спросил Давенант.

– Да. Впрочем... Рой, будь добра, вспомни: точно ли название этой картины «Дорога Никуда» или мы сами придумали?

– Да... Тампико придумал, что «Дорога Никуда». Прекратив разговор, все присоединились к Давенанту.

– До-ро-га ни-ку-да! – громко произнесла Рой, улыбаясь картине и Тиррею и смущая его своим расцветом, который лукаво и нежно еще дремал в Элли.

– Что же это означает? – осведомилась Титания.

– Неизвестно. Фантазия художника... – Рой рассмеялась. – Давенант!

– Что? – спросил он, добросовестно стараясь понять восклицание.

– Ничего, – она повторила: – Итак, это – «Дорога Никуда».

– Непонятно, – сказал Тортон.

– Было ли бы понятнее, – процедил Гонзак, – понятнее: «Дорога Туда»?

– Куда – туда? – удивилась Титания.

– В том-то и дело, – заметил Тортон.

– Дорога – куда? – воскликнула Элли. – О, дорога! Куда?!

– Вот мы и составили, – сказал Гонзак. – Дорога никуда. Куда? Туда. Куда

– туда?

– Сюда, – закончил Давенант.

Снова молодых людей одолел смех. Все хохотали беспричинно и заразительно.

Изображение неизвестной дороги среди холмов притягивало, как колодец. Давенант еще раз внимательно посмотрел на нее. В этот момент явился Футроз.

– Вот и Тампико! – воскликнула Элли, бросаясь к нему. – Милый Тампико, нам весело! Мы ничего не разбили! Просто смешно!

– Что вас так насмешило? – спросил Футроз.

– Ничего, но мы стали произносить разные слова... Вышло ужасно глупо. – Рой вздохнула и, пересилив смех, указала на картину: – Дорога никуда.

Она объяснила отцу, как это вышло: «туда, сюда, никуда». Но уже не было смешно, так как все устали смеяться.

– Я купил ее на аукционе, – сказал Футроз. – Эта картина напомнила мне одну таинственную историю.

– Какая история? Мы ее знаем? – закричали девушки.

– По-видимому – нет.

- А почему не рассказал, Тампико? – спросила Элли.
- Почему? В самом деле – почему?
- Ну, мы этого не можем знать, – заявила Роэна.
- Я люблю истории о вещах, – сказал Гонзак. – С нетерпением ожидаю начала.
- Разве я обещал?
- Извините, мне показалось...
- Крепкие ли у всех вас нервы? – спросил Футроз, делая загадочное лицо.
- За себя я ручаюсь, – сказала Титания, усаживаясь в стороне, спиной к окнам.
- И я ручаюсь – за тебя! – Рой села рядом с отцом. – Но не за себя.

Элли полулегла на диван. Давенант, Тортон и Гон-зак поместились на креслах. Тогда Футроз сказал:

- Бушевал ветер. Он потрясал стены хижин и опрокидывал вековые деревья...
- Так было на самом деле? – строптиво перебила Элли.
- Увы! Было.
- Смотри, Тампико, не подведи.
- Начало очень недурно, – заметил Гонзак, – особенно «стены хижин». Футроз молчал.
- А дальше? – спросил Давенант, который был счастлив как никогда.
- Все ли успокоились? – хладнокровно осведомился Футроз.

Но бес дергал за языки.

- Папа, – сказала Рой, – расскажи так, чтобы я начала таять и умирать! Футроз молчал.
- Ну, что же, скоро ли ты начнешь? – жалобно вскричала Элли.
- Все ли молчат? – невозмутимо осведомился Футроз.
- Все! – вскричали шесть голосов.

– Ветер выл, как стая гиен. В придорожную гостиницу пришел человек с мешком, с бородой, в грязной одежде и заказал ужин. Кроме него, других посетителей не было в тот странный вечер. Хозяин гостиницы скучал, а потому сел к столу и заговорил с прохожим человеком – куда направляется, где был и кто он такой? Незнакомец сказал, что его зовут Сайлас Гент, он каменотес, идет в Зурбаган искать работу. Хозяин заметил одну особенность: глаза Сайласа Гента не отражали пламя свечи. Зрачки были черны и блестящи, как у всех нас, но не было в них той трепетной желтой точки, какая является, если против лица сияет огонь...

Рой заглянула в глаза отца.

- Даже две точки, – сказала она. – А у меня?

Элли подошла к ней и освидетельствовала зрачки сестры; та проделала это же самое с девочкой, и они успокоились.

- Нормально! – заявила Элли, возвращаясь на свое место. – Мы отражаем огонь. Дальше!

– Из сделанного хозяином наблюдения, – продолжал Футроз, – вы видите, что хозяин был человек мечтательный и пытливый. Он ничего не сказал Генту, только надел очки и с замешательством, даже со страхом, установил, что зрачки Гента лишены отражения – в них не отражалась ни комната, ни хозяин, ни огонь.

- Как это хорошо! – сказал Давенант.

- Вот уж! – пренебрежительно отозвалась Титания. – Две черные пуговицы!

- Но пуговицы отражают огонь, – возразила Роэна. – Не мешайте Тампико!

– Теперь меня трудно сбить, – заявил Футроз, – но будет лучше, если все вы воздержитесь от замечаний. Сайлас Гент начал спрашивать о дороге. Хозяин объяснил, что есть две дороги: одна прямая, короткая, но глухая, вторая вдвое длиннее, но шоссейная и заселенная. «У меня нет кареты, сказал Гент, и я пойду короткой дорогой». Хозяину было все равно; он, пожелав гостю спокойной ночи, отвел его в комнату для ночлега, а сам отправился к жене, рассказать, какие бывают странные глаза у простого каменотеса.

Едва рассвело, Сайлас Гент спустился в буфет, выпил стакан водки и, направив свои редкостные зрачки на хозяина, заявил, что уходит. Между тем ураган стих, небо сияло, пели птицы, и всякая дорога в такое утро была прекрасной.

Сайлас Гент повесил свой мешок за спину, подошел к дверям, но остановился, снова подо-

шел к хозяину и сказал: «Послушайте, Пиггинс, у меня есть предчувствие, о котором не хочу много распространяться. Итак, если вы не получите от меня на пятый день письма, прошу вас осмотреть дорогу. Может быть, я на ней буду вас ожидать».

Хозяин так оторопел, что не мог ни понять, ни высмеять Гента, а тем временем тот вышел и скрылся. Весь день слова странного каменщика не выходили из головы трактирщика. Он думал о них, когда ложился спать, и на следующее утро, а проснувшись, признался жене, что Сайлас Гент задал ему задачу, которая торчит в его мозгу, как гребень в волосах. Особенно поразила его фраза: «Может быть, я буду вас ожидать».

Его жене некогда было углубляться в человеческие причуды, она резко заявила, что, верно, он напился с каменщиком, поэтому оба плохо понимали, что говорят. Рассердясь, в свою очередь, и желая отделаться от наваждения, трактирщик сел на лошадь и поскакал по той дороге, куда пошел Гент, чтобы не думать больше об этом чуде, а если с ним что-нибудь приключилось, то, в крайнем случае, помочь ему.

Он въехал в лес, усеянный камнями и рытвинами, а после часа езды увидел, что Гент висит на дереве...

Тортон незаметно протянул руку к стене и погасил электричество.

Все вскочили. Девушки вскрикнули, а хладнокровная Титания, голося пуще других, требовала прекратить глупые шутки.

Сказав:

– То-то! Ха-ха! – Тортон пустил свет. У всех были большие глаза. Рой держала руку на сердце.

– Это Тортон, – предал его Гонзак.

– Разве так можно делать! – строго вскричала Элли. – Все равно, что налить вам за воротник холодной воды!

– Я не буду, – сказал Тортон.

– Давенант, присматривайте за вашим соседом, – попросила Рой. – Впрочем, пересядьте, Тортон. Куда?! Туда, никуда, вот сюда.

Тортон повиновался.

Футроз не торопился. Ему было хорошо дома, он следил за переполохом с добродушием птицевода, наблюдающего скачки малиновок и щеглов.

– Ну, – сказал он, – можно кончать? Но мне осталось немного... Сайлас Гент висел на шелковом женском шарфе, вышитом золотым узором. Под ним на плоском камне были аккуратно разложены инструменты его ремесла, как будто перед смертью он или кто другой нашел силу для жуткой мистификации. Среди этих предметов была бумажка, исписанная самоубийцей. И вот, обратите внимание, как странно он написал:

«Пусть каждый, кто вздумает ехать или идти по этой дороге, помнит о Генте. На дороге многое случается и будет случаться. Остерегитесь».

Почему погиб Гент, осталось навсегда тайной. Но с тех пор кто бы, презрев предупреждение, ни отправился по той дороге, он неизменно исчезал, пропадал без вести. Было три случая – с кем именно, я не помню, но третий случай стоит упомянуть особо: по этой дороге бросилась бежать лошадь, разорвав повод, которым была привязана, и, несмотря на все усилия, ее не нашли.

– Тампико, ты густо, густо присочинил! – сказала Элли, когда слушатели зашевелились. – Те, кто искал лошадь, должны были идти на загадочную дорогу, и если вернулись, то... Сделай вывод!

– Я не оправдываюсь, – ответил Футроз. – Все запутанные дела несколько нелепы в конце. Увидев картину, я вспомнил Гента и купил ее.

– Что же все это значило? – спросил Давенант. – В особенности – глаза, не отражающие ничего». А он не был слеп! У одного охотника глаза были совсем крошечные, как горошины, между тем он мог читать газету через большую комнату и отлично стрелял.

– Ах, вот что! – сказала Рой. – Мы будем стрелять в цель. Прошлый раз Гонзак осрамился. Гонзак, мы дадим вам реванш. Элли тоже хочет учиться. Давенант, вы должны хорошо попадать, – у вас такие твердые глаза.

Стрельба издавна привлекала Давенанта как упражнение, требующее соревновательной точности. Такого рода забавы свойственны всем пылким натурам. Однако до сих пор ему пришлось стрелять только два раза, и то в платном тире, соображаясь со своими скудными средствами.

– Я присоединяюсь, – сказал Футроз. – Нас семеро, хотя Элли не в счет, так как она все еще зажмурируется...

– Какая низость! – вскричала Элли.

– Ну конечно. Составим список и назначим приз, – не два, не три приза, а один, чтобы не было жалких утешений. Приз должен исходить от дам. Так значитесь во всех книгах о турнирах и других состязаниях.

– Так как приз получу я, – заявил Тортон, – не разрешат ли мне самому придумать награду? Ха-ха!

– Нет, это слишком! – возмутилась Титания. – Я стреляю не хуже вас и, вот назло, заберу приз.

Взаимно попеняв, остановились на следующем: если победит дама, она вправе требовать что хочет от самого плохого стрелка-мужчины, если произойдет наоборот, победителю вручается приз от Титании и Роэны, который они должны приготовить тайно и держать в секрете.

Футроз взял лист бумаги и написал: Состязание хвастунишек.

– Номер первый. Кто же первый?

– Разрешите мне быть последним, – обратился к нему Давенант, волнуясь и страстно желая получить приз.

– Последний хочет быть первым, – догадалась Титания.

– О Давенант, выступайте первым! – предложила Рой. Но он не соглашался, как ни хотелось ему сделать все, что попросит Рой, Элли или Футроз. Он хотел выиграть, а потому – твердо зная, какие придется ему осилить успехи других участников.

– Становится любопытно, – заметил Гонзак. – Некоторые из нас довольно ретивы. Что касается меня – выйду под каким мне назначат номером.

Наконец список составил. Титания значилась первым, Рой – вторым, Тортон

– третьим, Гонзак – четвертым и Давенант – пятым номером. Ранее прочих решили дать Элли выстрелить три раза, так как она очень просила.

Роэна с Титанией ушли в другую комнату обсудить приз и вернулись с простосердечными лицами, положив на стол нечто завернутое в газету, маленькое и тяжелое. Затем они посмотрели друг на друга и важно приспустили взгляды.

– Какое-нибудь ехидство? – спросил Футроз, намереваясь пощупать сверток. Но поднялся крик:

– Тампико, это нечестно!

Футроз позвонил и приказал слуге принести мишень, а также малокалиберную винтовку, пуля которой была не толще карандаша записной книжки. Мишень поместили на террасе, раскрыв стеклянную дверь гостиной. Стрелять следовало, став у внутренней двери, шагах в двадцати от мишени. Это был квадратный картон на верху треножной подставки; концентрические круги картона имели цифры от центра к окружности: 500, 250, 125 и т. д., а центр – черный кружок диаметром в один дюйм – означал тысячу.

– Ну, Элли, – сказал Футроз, заряжая винтовку, – иди сюда. Стань вот так.

– О папа, я отлично все знаю. – Элли, сжав губы, нахмурясь и приложив к плечу ружьецо, отставила широко ногу вперед, но от внезапного страха забыла все уроки, как берется прицел, и, нажимая пальцем мимо курка, стала жмуриться. Дуло ружья поднялось вверх, качнулось, и, крепко зажмурясь, стараясь не слышать визга убежавших за ее спину зрителей, Элли нашла курок и пальнула в золоченый карниз.

Настало глубокое, унижительное молчание.

– Что? Я попала? – сказала Элли, затем, вся красная, со слезами в глазах, осторожно, положила винтовочку на ковер и ушла к дивану, где села, схватила отца за плечо и, спрятав лицо на его груди, расхохоталась.

- Хочешь еще попробовать? – спросил Футроз. – Но только с моими советами?
- Благодарю. Попробуйте кто-нибудь так, как я.
- Действительно! – сказала Рой.
- Ах, ах! Ты еще хуже меня!
- Номер первый! – провозгласил Гонзак. – Титания Альсервей!

Титания стала на место (каждый должен был сделать семь выстрелов), снисходительно осмотрелась и с видом делающей грациозное одолжение, лениво заряжая и паля, отщелкала свою порцию, почти не целясь. Слышен был только скользящий металлический звук затвора и негромкие хлопки выстрелов. Она передала оружие Роэне, и все отправились смотреть мишень.

Две дырки были на 250, одна на 125 и четыре разного значения, но мельче цифрой; по подсчету всего – семьсот пятьдесят очков. Эти отверстия перечеркнули красным карандашом.

– Это я старалась для Тортон, – объявила Титания. – Теперь я посмотрю, так ли он уверен в себе, как говорил.

- А все же – ха-ха! – вы не отстукали тысячу! – заметил Тортон.
- Хорошо, хорошо, посмотрим!

Настала очередь Рой. Давенант понял, что она волнуется и старается. Он мысленно помогал ей, напрягаясь перед спуском курка, задерживая дыхание и шепча:

«Точнее, точнее».

- Не смотрите на меня, – сказала Рой. – И не смешите.

Это относилось к Гонзаку, который послушно отвернулся. Роэна целилась долго, но в момент выстрела дуло слегка трепетало. Каждый раз, начав прицеливаться, она мягко отводила рукой волосы со лба и, выставив вперед подбородок, пристраивалась щекой к ложу особым, ей лишь свойственным, интимным движением.

Подсчет очков произвел Давенант, считая явно пристрастно, так как одно отверстие на линии 250 – 125 объявил за 250, чем удивил и насмешил девушку.

– Вы очень добры, Давенант, – сказала она, – только мне это не нужно. Скиньте-ка сто двадцать пять.

Оказалось, после придирчивой проверки Элли и Тортона, что Рой настреляла пятьсот пятьдесят.

– О, неплохо! – сказал Футроз. – Тем более, что в прошлый раз бедняга успокоилась на ста пятидесяти.

- То-то! – вскричала Рой, кружась и помахивая ружьем. – Кому страдать? Тортон, вам.

– «При всеобщем глубоком молчании, – сказал Гонзак, – атласский стрелок вогнал пулями гвоздь на расстоянии пятисот метров».

– Хорошо смеется последний, – ответил Тортон. Он взял ружье в левую руку и, вскинув его, как пистолет, то есть не прикладывая к плечу, выстрелил с вытянутой руки.

- На круге с цифрой 500, – заявил он, всмотревшись, затем выстрелил с правой руки.

– Только две руки, – попытался пошутить Гонзак, которому стало завидно.

- Нам хватит. Ха-ха!

Беря поочередно ружье правой и левой рукой, Тортон швырнул свои пульки в мишень и раскланялся на все стороны, как актер у рампы.

- Какова наглость! – сказала Титания.

– Вы, Титания, должны перечеркнуть мои попадания, – строго заявил Тортон,

– так как высмеивали меня, пока я наблюдал ваши горделивые упражнения.

Закусив губу, Титания взяла карандаш и пошла к мишени.

Тортон выбил девятьсот двадцать очков, не попав в центр, и все ахнули; но обнаружился заговор.

– Это случайно, – сказала Рой, с состраданием смотря на опешившего стрелка, – это не более, как счастливая случайность.

- Понятно, случайность, – поддержал Гонзак.

– Дикий, нелепый случай! – ввернула Тита Альсервей. Футроз смеялся.

– Папа, отчего ты смеешься? – спросила Элли, втянув щеки и рассматривая Тортон уны-

лыми большими глазами. – Тортон ошибся. Он не хотел попасть. Правда ведь, вы не хотели этого?

– А ну вас! – яростно вскричал Тортон. – Девятьсот двадцать. Чего же еще?

– Но не полторы тысячи, – заметила Титания.

– Тортон, не огорчайтесь, – утешила его Рой, – в следующий раз вы попадете по-настоящему, добровольно.

– О мелкие, завистливые душонки! – взревел Тортон. Его подразнили еще и оставили в покое.

– Факт тот, что я получу приз, – объявил он и уселся с торжеством на диване.

Следующим выступил Гонзак. Он стрелял, сардонически улыбаясь, скверно попадал и был так пристрастен к себе, что его триста очков пришлось пересчитывать несколько раз. Вдобавок он уверял, что ему подсунули патроны с наполовину отсыпанным порохом.

– Давенант, вам, – сказал Футроз. – Боюсь, что после Тортон вы в безнадежном положении, как и я.

Давенант увидел черные глаза Рой, стесненно взглянувшей на его замкнутое лицо.

– Давенант! Пожалуйста, Давенант! – закричала Элли.

– Что вы хотите? – спросил он, улыбаясь в тумане, где блестели направленные на него глаза всех.

– О Давенант! Я хочу... – Элли зажала рукой рот, а другой рукой тронула завернутое в газету. – Будьте только спокойны!

– Будьте, будьте спокойны! – крикнули остальные.

– Я не знал, что судьи пристрастны! – сказал Тортон.

– Судьи как судьи, – заметил Гонзак. – А еще говорят, что женщины должны занимать судебские должности.

– Тише! – сказала Рой.

Став на место, Давенант так взволновался, что у него начали трястись руки. «Неужели я хочу быть первым?» – подумал он, сам удивляясь, как страстно стремится получить таинственный приз. Он видел, что его напряжение передалось всем. Пылким волнением своим он невольно заставлял ожидать странных вещей и должен был оправдать ожидание. Он испугался, замер и начал прицеливаться. Едва он начал брать прицел и увидел за острием мушки черные круги, напоминающие поперечный разрез луковицы, как испуг исчез, а мишень начала приближаться, пока не очутилась как бы на самом конце дула, которое упиралось в нее. Он подвел мушку к нижней черте центральной точки и увидел, что ошибается. Свойства ружья были в его душе. Он видел мушку и цель так отчетливо, как если бы они были соединены с его пальцами. Почувствовав, что ошибся, Давенант увел мушку к левой черте центральной точки и снова ошибся, так как теперь пулька должна была пробить круг с цифрой 500. Он не знал, почему знает, но это было именно так, не иначе. Тогда, заведя мушку на правый край точки, немного ниже ее центра, а не в уровень с ним, и не чувствуя более сомнений в руке, палец которой прижимал спуск, Давенант, сам внутренне полетев в цель, спустил курок и увидел, что попал в центр, так как на нем блеснуло отверстие. Ничего не видя, как только отверстие, охваченный холодным, как сверкающий лед, восторгом и в совершенной уверенности, делающейся мучительной, как при чуде, Давенант выпустил остальные пули одна за другой, ловя лишь то сечение момента, в котором слышалось «так», и, ничего не сознавая, пошел к мишени, дыша, как после схватки, с внезапным сердцебиением.

– Ура! – вскричала Рой, первая подбежав к мишени, и, оборотясь к Давенанту, схватила его за плечи, толкая смотреть. – Видите, что вы наделали?

– Что там? – крикнул заинтересованный Футроз.

– Он попал в тысячу! – воскликнула Элли.

– Все в центре, – сказала Титания тоном вежливого негодования.

Футроз встал и пошел смотреть. Давенант, молча улыбаясь, оглядывался, наконец подошел и остановился против мишени. Это был действительно подвиг со стороны начинающего стрелка. Два отверстия даже слились краями, образовав подобие гитары, третье было чуть ниже и четыре

прочих у самого края центрального кружка с внутренней его стороны.

Это полное и неожиданное торжество Давенанта собралось всех возле него. Элли трясла его руку. Рой взяла от него ружье и поставила к стене, Гонзак, часто мигая, смотрел на победителя в упор, а Тортон, подавив зависть, спросил:

– Как это могло быть? Стало быть, вы рекордсмен?

– Ничего подобного, – ответил Давенант, которого общее волнение привело в замешательство. – Я вам расскажу. Я стрелял всего несколько раз в жизни, не лучше, чем Рой...

– Благодарю вас, – сказала девушка, насмешливо приседая.

– О, я не хотел... – встревожился Давенант, но, получив успокоительный знак, продолжал: – Стрелял скверно, а сегодня на меня что-то нашло. Я сам не понимаю, поверьте, я удивлен не менее вас.

– Я знаю это чувство, Давенант, – сказал Футроз: – Голова горит и под ложечкой истерический холодок?

– Пожалуй.

– А вы очень хотели? – серьезно спросила Розна, приказывая взглядом ответить так же серьезно.

– Да, очень, – сознался Давенант и вспыхнул. – Однако все хотели этого.

– Вы правы. Получайте ваш приз. Кто угадает, что здесь такое?

Говоря так, она взяла сверток и, видя, что Гонзак нагнулся, дала ему понюхать.

– Духи? – сказал он.

– Что-о-о?!

– Часы с надписью? – сказал Тортон.

– Рой, покажи им! – вскричала Элли.

– Разумеется, не надо мучить Давенанта, – заметил Футроз.

Тиррей получил сверток и застенчиво развернул его. Там оказался маленький серебряный олень на подставке из дымчатого хрусталя. Олень стоял, должно быть, в глухом лесу; подняв голову, вытянув шею, он прислушивался или звал – нельзя было уразуметь, но его рога почти касались спины. Оленя девушки нашли среди вещей, оставшихся после матери.

– Серьезный приз, – сказал Футроз, о чем-то задумываясь.

– О, я не ожидал, что это так хорошо! – наивно восторгался Тиррей.

– Теперь вы владеете оленем, – сказала Элли, видя удовольствие, с каким Давенант принял хорошенькую безделушку.

Почти вслед за вручением приза Титания уехала домой, сопровождаемая Гонзаком и Тортоном. Давенант-то не хотелось выходить с ними, и он задержался, однако, узнав, что уже двенадцатый час, тоже, наконец, встал. Если бы было можно, он просидел бы до утра.

– Вот что, – сказала Рой, – хотите выйти таинственно? Так будет хорошо после всего. И это к вам идет. У нас есть в саду Сезам, а ключ от Сезама папа носит с собой.

– Да, – сказал Футроз, сдерживая зевоту, – ключ этот сделан из меча Ричарда Львиное Сердце, закален в крови дракона и отпирает дверь только при слове:

«Аргазантур».

– Ну-ка, давай нам «Аргазантур»! – Элли протянула руку. – Тампико, дай!

– Может быть, Давенант предпочитает ту дверь, которой вошел?

– Не отвечайте ему, – приказала Рой, – папа вас собьет. Ключ взяла, Элли?

Горничная принесла шляпу Тиррея. Он простился с Футрозом и вышел через террасу в сад.

Девушки шли рядом с ним, шая и смеясь. Лиц их он не различал. Очаровательный темный путь в старом саду был полон таинственно-чистого волнения. Давенант шел совершенно счастливый; было бы ему еще лучше, если б он остался сидеть здесь, когда все уснут, под деревом, до утра.

Они свернули, прошли среди кустов к стене, где была высокая ниша, запертая железной калиткой. Из-за нее, с переулка, слышались езда и шаги.

Рой стала отпирать, но не смогла и уронила ключ в траву. По звуку падения ключа Давенант немедленно отыскал его, накрыв ключ рукой.

Едва он вскричал: «Нашел!» – как две остывшие от росы девичьи руки ткнулись об его руку и сжали ее.

– Я нашла, но вы первый схватили. – Рой попыталась отодвинуть его пальцы, вместо них ей попала рука Элли. – О, – сказала она, – где же ваша рука?

– Она тут.

– Вот она, под моей! – Элли сильно придавила руку Тиррея. – Я уже коснулась ключа. Рой, честное слово, а он схитрил!

Три руки лежали в сырой траве, взаимно грея друг друга, наконец, ключ каким-то путем оказался у Рой, и она с торжеством вскочила.

– Позвольте, я открою! – предложил Давенант.

– Ну, открывайте. «Аргазантур»! – раз!

– «Аргазантур»! – два! – пискнула Элли.

– И «Аргазантур»! – три! – сказал Давенант, одолевая тугой замок.

Он оттянул железную дверь и вышел, но, обернувшись, остановился.

– Идите, идите! – закричали девушки и, прикрыв калитку, договорили в щель: – Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! – ответил Давенант.

Замок щелкнул.

«Теперь они поспешно бегут назад», – подумал Тиррей и по дороге из лучей и цветов пошел домой.

Глава V

Как всегда, Давенанту открыла дверь старуха Гу-берман, стремившаяся подсмотреть, не целует ли жилец у порога какую-нибудь девицу. На этот раз другое было в ее уме, а Тиррея ожидало событие настолько скверное, что, зная он о нем, он предпочел бы вовсе не являться домой.

В серых глазах Губерман таилось нестерпимое любопытство, жажда нюхать, грызть чужую жизнь. Глубокомысленно и лицемерно вздохнула она, открыв дверь. Схватив жесткой лапой плечо Давенанта, старуха стала шептать:

– Бедный мальчик! Мужайтесь! Бог послал вам радость! Он пришел, ждет вас уже два часа в вашей комнате. Он такой жалкий, несчастный. Соберитесь с силами.

– Кто ждет? – тревожно сказал Давенант, бессмысленно подумав о Галеране и отстраняясь, так как старуха дышала странными словами своими прямо ему в лицо. – Скажите, кто пришел? Разве пришел?

– Боже, помоги ему! Ваш отец!

– Не может быть!

– Ах, не волнуйтесь так! Провидение ведет нас. Ступайте, ступайте к отцу!

Давенант бросился вперед и открыл дверь.

У стола сидел оборванный седой человек с тяжелым, едким лицом, подвыпивший и сторбленный. Встав, он патетически протянул руки.

Губерман медленно закрывала дверь, не в силах отойти от нее.

– Сын?! – сказал неизвестный.

Давенант отшатнулся. Он узнал исполнителя тюремных песен в ресторане на Лунном бульваре. Слово «сын» убило его. Чувствуя внимание сзади себя, Давенант повернулся к двери, где красный, слезящийся нос Губерман таился в тени.

– Прочь! – сказал он. Дверь дернулась и захлопнулась.

– Какой сын? – спросил Давенант. – Кто вы?

– Значительный момент! – ответил оборванец. – Мой сын – ты, Тиррей Давенант. Я – твой отец.

– Я думал, вы умерли, – произнес Давенант, теряясь и дрожа, как в ожидании приговора. – А впрочем, чем вы это докажете?

– Неприятно? Да? – сказал Франк.

– Я не знаю. Что я могу сделать? Франк пожал плечами.

– Я тоже ничего не могу сделать, – заявил он. – Значит, встреча не вышла. Я должен был явиться в автомобиле. Самое неблагоприятное дело – это представлять себе встречу после многих лет. Чего ты дрожишь?

– Я хочу доказательств, – с отчаянием сказал Тиррей, хотя инстинкт родства и воспоминания о портретах отца установили горькую истину, которой противился он всем существом. Перед ним стоял не мечтатель, попавший в иной мир под трель волшебного барабана, а грязный пройдоха.

– Вы пели в саду, как нищий, – сказал Тиррей. – А теперь пришли.

– Ах, вот что? Так ты меня видел, но не узнал? Будь ты проклят! – зашипел Франк, теряя охоту разыгрывать нравственное волнение. – Я привык обедать, понимаешь? Одним словом, мы познакомились. Когда-то ты был пятилетним. Те твои черты проглядывают даже теперь. Забавно! Ты куда? Мы еще только начали говорить.

– Мне нужно, – сказал Тиррей, сам не зная, зачем стремится выйти. – Я скоро вернусь.

– В таком случае принеси мне бутылку вина. Деньги есть? Мне кажется, что ты вырос бесчувственным. Так вот, смотри и смиришься: я твой отец.

Тиррей тупо взглянул на него и вышел без шляпы в коридор, где, забыв направление, приблизился к раскрытым дверям гостиной. Там, за столом, сидел Губерман с женой. Раскрыв рты, были оба они – слух и внимание. Заметив жильца, Губерманы дернулись встать, но удержались, воззрясь на Тиррея так пристально, как если б он шел по канату. Отрицательно качнув головой в знак, что ошибся, Давенант отыскал выходную дверь и очутился на улице.

Ему некуда было уйти, нечего было делать среди громкого разговора прохожих. Он тоскливо открыл дверь, желая вернуться, но вспомнил о вине и перешел улицу; затем некоторое время стоял в магазине среди суеты покупателей, тягостно отвлекаявшей его от созерцания боли, ударившей так бесчеловечно. Впечатление вечера у Футроза еще билось, как нервный тик, в его душе, но те чувства уже исчезли; возвращение отца сыграло роль предательского удара, после которого столкнутый в воду стремится не к радостям береговой прогулки, но только к спасению.

Тиррей вернулся, стараясь ободриться и твердя:

«Все-таки ведь он мой отец!» Но значение этих слов только еще больше угнетало его. Отчасти выручило Тиррея естественное любопытство – печальное любопытство узника, большое сознание которого после звука ключа в дверях камеры, устанавливающего погребение заживо, начинает постепенно интересоваться устройством камеры и видом из окна сквозь решетку.

Давенант вернулся, впущенный на этот раз прислугой, так как даже старуха Губерман не решилась еще раз увидеть сокрушенное лицо жильца, в комнате которого происходила такая редкая и тяжелая сцена.

– Я принес вино, – сказал Давенант, ставя на стол бутылку. – Как вы меня нашли? Вы должны знать, что я вас почти не помню. Теперь, глядя на вас, я что-то припоминаю. Вам не везло? Зачем вы бросили нас?

За время короткого молчания Франка Тиррей внимательно рассмотрел его, усевшись на стуле в углу комнаты. Бродяга, отрывисто, но пристально наблюдая за сыном, хранил среди грязных своих усов затяжную улыбку, метившую выражение его лица дикой и тонкой, совершенно не отвечающей моменту двусмысленностью. Его старое кепи из темного шевиота валялось на столе подкладкой вверх, и в этом кепи лежала круглая жестянка с табаком. На ее крышке была изображена голая женщина с роскошными волосами. Одетый в рваную матросскую фуфайку, когда-то синей, а теперь грязно-голубой фланели, ластиковые черные брюки, заплатанные на коленях квадратами, вшитыми старательно, но криво, как штопают мужчины, вынужденные судьбой носить в кармане иголку и нитки, Франк Давенант, согнувшись, сидел у стола. За расстегнутым воротом его фуфайки торчали обрывки белья, цвета трудно вообразимого. На его ногах были старые кожаные калоши. Разговаривая, он достал трубку с обгрызенным черенком и набил ее смесью сигарных окурков, собранных на улице. Вдавлив табак в трубку желтым, как луковая шелуха, ногтем большого пальца, отец еще раз взглянул на сына поверх поднесенной к трубке горячей спички, отбросил ее и, обратясь к бутылке, вытащил пробку штопором своего

складного ножа. Давенант подал стакан.

– О боже! Что с вами было? – спросил Тиррей, содрогаясь от печали и злобы.

– Я пал, – Франк выпил стакан вина и обсосал усы. – Так говорят, так ты услышишь, таково ходячее мнение. Но я прежде скажу, как я тебя разыскал. Видишь, Тири...

При этом уменьшительном имени «Тири», каким звала его всегда мать, Тиррей ощутил подобие терпимости. Возвращение Франка начало принимать реальный характер. Заметив его чувства, Франк повторил:

– Да, Тири, это я выдумал тебе такое имя. Корнелия хотела назвать тебя Трери... Впрочем, все равно... Так вот, я зашел в дом, где мы жили тогда. Там еще живет Пигаль, его должен ты помнить: он однажды подарил тебе деревянную пушку. Ну-с, он больше не служит в управлении железной дороги, а так... Хотя... Да, о чем это я? Его дочь служит в банке. Ах, да! Так вот, он мне рассказал, что ты возишь тележку у Гендерсона, а Гендерсон направил меня к Кишлоту. Итак, ты сразу стал замечен на горизонте моих поисков.

– Кишлот узнал от вас, что вы... Что я ваш...

– А как же иначе? Он посвятил меня в твои дела. Фаворит?! Как это тебе удалось? Тири, смысленный тихоня, ведь ты поймал жирную кость и можешь заполучить богатую жену, разве не так? Которая же из двух? Одна созрела... Хотя как ты должен быть до конца умен, чтобы стебануть этот кусочек! Родители твоей матери ни черта не дали за Корнелией, и оттого мои дела пошатнулись. – Хотя... Да, я все-таки любил эту бедную большеглазочку, твою мать, однако меня ограбили.

Слушая речь отца, в которой остаток прежней манеры, выражаемой голосом, еще не совсем разучившимся соединять мысль с интонацией, так странно аккомпанировал смыслу слов, Давенант замер. Его охватило развязным смрадом.

– Так с этим вы пришли ко мне? Вы, отец? – крикнул Давенант, сдерживая слезы гнева. – Не смейте говорить ничего такого ни о Футрозах, ни о матери! Я только что пришел от Футроза. Там было мне хорошо и никогда, – слышите вы, отец? – никогда не было так хорошо, как там! Но вы этого не поймете. А я не могу рассказать, да и не хочу, – прибавил он, исподлобья рассматривая Франка Давенанта, который, тяжело полужакрыв глаза, слушал, ловя в этих словах сына черты характера, могущие пригодиться.

– Слышу, сын, – едко ответил Франк. – Вначале я думал, что ты не сентиментален. Это скверно. Впрочем, мы еще только начали наше сближение. Там увидим.

– Я не вещь, – сказал Давенант. – А что вы хотите сделать?

– Ха-ха! Ничего, Тири, решительно ничего.

– Зачем вы вернулись?

– Милый, я здесь проездом из Гель-Гью. Я, собственно говоря, не понравился капитану «Дельфина», так как доказал ему, что, с юридической точки зрения, отсутствие билета не есть повод считать меня выбывшим из числа пассажиров. Я хотел выдать ему письменное обязательство об уплате сроком на один год, но эта скотина только мычала. Зачем я вернулся? Я не вернулся, Тири. Того человека, который одиннадцать лет назад ушел из дома, чтобы разбогатеть в чужих краях и приехать назад богачом, больше нет. Я – твой отец, но я не тот человек.

– Чтобы разбогатеть?

– Да. Романтический порыв. Я написал Корнелии. Разве она не получила моего письма? Я не имел ответа от нее.

– Письма не было, – сказал Тиррей. – Мне все известно: как вас разыскивали, как... Не было, не получалось письма.

– Ну, тогда это письмо пропало. Правда, я поручил бросить его в ящик одному человеку... Ага! Он мог, конечно, потерять письмо. Но, как бы там ни было, я счел себя преданным проклятию. А я знал силу характера Корнелии, я знал, что она мужественно перенесет два-три года, за что будет вознаграждена. Но... Да, мне не везло. Хотя... Время шло. Я встретил другую, и... Таким образом, жизнь распалась.

Франк Давенант лгал, но Тиррей скорее мог поверить такой версии, чем – по незнанию лишаев души – истинной причине странного поступка отца. Франк ушел из болезненного жела-

ния доказать самому себе, что может уйти. Такое извращение душевной энергии свойственно слабым людям и трусам, подчас отчаянно храбрым от презрения к собственной трусости. Так бросаются в пропасть, так изменяют, так совершаются дикие, роковые шаги. Это самомучительство, не лишенное горькой поэзии слов: «пропавший без вести», – началось у Франка единственно головным путем. Немного больше любви к жене и ребенку – и он остался бы жить с ними, но его привязанность к ним благодаря нетрезвой жизни, темной судейской практике и бедности приобрела злобный оттенок; в этой привязанности таилось уже предчувствие забвения. Все же ему пришлось сделать громадное усилие, чтобы решиться уйти с маленьким саквояжем навстречу пустоте и раскаянию, при том единственном утешении, что он может теперь созерцать трагический колорит этого, по существу низкого, поступка. Но такую истину Тиррей счел бы бессмысленной ложью; ничего не поняв, он остался бы в убеждении, что его отец сходит с ума. Со своей стороны, Франк опасался делать сыну эти признания. Итак, он лгал. Тиррей не верил письму, но кое-как верил в попытку разбогатеть. Давенант ничего не сказал отцу. Решив свести его в трактир, чтобы там покормить, мальчик сделал хмурое соответственное предложение.

– Ты добр, это тоже... Гм... Не совсем хорошо... Хотя... Я действительно хочу есть. Так ты богат, плут А знаешь, ведь ты красивый мальчик, Тири! Покажи, сколько у тебя денег?!

По дороге он останавливался у освещенных витрин запертых магазинов, разглядывая дешевые костюмы, как человек с деньгами, иногда бормоча:

– Да, да, мог бы теперь купить вот этот пестренький, если бы сын немного добавил мне. Главное – башмаки. Вот хорошие башмаки, видишь, Тири? Они дешевы. Из того, что ты дал, могу купить башмаки и носки. Ну, идем. Город дьявольски разбогател за одиннадцать лет!

Они шли кратчайшим путем, через падающие лестницами переулки, к порту, вблизи которого находился «Хобот». Вывеска, загнутая над входом с угла по обе стороны фасада, изображала голову слона; в поднятом хоботе торчал рог изобилия. За первой, большой, комнатой, пахнувшей, как рынок в сырой день, и ярко освещенной, где металось множество жалких или бесчеловечных лиц, объединенных подобием общего крикливого возбуждения, находилась комната поменьше. Тиррей увидел человека в грязной белой рубашке, с постным лицом и толстой нижней губой; его влажные глаза, поставленные за треугольники подглазных мешков, светились пьяным смехом.

Франк Давенант направился к этому человеку, который, почесав шею, молча осмотрел Тиррея с ног до головы и сказал:

– Что, Франк, разыскали сыночка? Вот это он самый? Трагедия отцов и детей! Судя по его костюму, ты будешь спать сегодня в кровати с балдахином!

– Не дурачьтесь, Гемас, – ответил бывший адвокат, садясь на табурет у стола и оглаживая лицо рукой. – Присядь, Тири. Итак, ты угощаешь меня? Угости заодно Гемаса. Он – замечательный человек, Тири, некогда он задавал тон.

– Бывали деньки! – сказал Гемас. – Христина! Появилась служанка, считая в руке деньги. Она рассеянно взглянула, увидев три пальца Франка, поднятые вверх, и, кивнув, принесла три фаянсовые кружки белого вина, после чего Франк потребовал две порции котлет, а Тиррей отказался есть.

– Выпьешь, Тири? – обратился отец к сыну. Туман отчаяния так стеснил дыхание Давенанта, что, захотев вина, он кивнул и сразу выпил полкружки.

Франк пристально посмотрел на него, но, убедясь, что в поступке сына не кроется ни вспышки, ни выходки, взглянул с усмешкой на Гемаса. Тот значительно опустил веки. Приятели усердно ломали котлеты кривыми вилками, запивая еду вызывающим изжогой дешевым вином.

Тиррей выпил еще. Стало спокойнее на душе, лишь в картинном безобразии ярко освещенного пьяного трактира тревожно проплывали красно-желтые оттенки гостиной Футроза, а хохот женщин вдали преступно напоминал о ясном смехе Элли и Рой.

– Как же ты жил, мальчик? – спросил Франк, кончив есть. – Понимаете, Гемас, все это – как встреча во сне. Рассказывай!

– Вы не очень помнили о нас, так что же спрашивать?

– О, смотри, пожалуйста... Ну, а все-таки?

– Жили, – сказал Тиррей. – Жили так и этак. Бедствовали. А что?

– Ваш сын прав, – заявил Гемас. – Сразу обо всем не переговорить. Я слышал – вам повезло? – обратился Гемас к юноше тоном игривого участия. – Вы пользуетесь покровительством влиятельных лиц?

Тиррей хотел резко ответить Гемасу, но его предупредил Франк, сказав:

– Не торопитесь, Гемас. Я сам. Тири, хочешь ты мне помочь?

– Говорите, – сказал Тиррей. – Я не знаю, о чем вы думаете.

– Милый, это так просто. Поговори обо мне с Фут-розом. Скажи, что вот неожиданно нашелся твой отец, раздетый, разутый... Ты потрясен. Ну, короче говоря, сказать ты сумеешь. Отец, скажи, был конторщиком на чайных плантациях, заболел, полтора года пролежал в больнице и обнищал. Мы это разработаем подробнее. В таком случае. –

– Напрасно надеется, – перебил Тиррей. – Я никогда не сделаю этого. Я не могу.

– П-сс! – удивленно отозвался Гемас.

– Как это – «не могу»? – сказал Франк. – Почему не можешь?

Тиррей, хмурясь, молчал, смотря вниз.

– Ты не хочешь, – вздохнул Франк, – не хочешь из-за дурацкого твоего упрямства. Послушай, ведь тебе не нанося вреда, наоборот, ты выиграешь, являясь заботливым сыном. Да я клянусь тебе, что Футроз сам захочет меня увидеть, когда ты сообщишь ему о таком происшествии!

– Не знаю, – с трудом ответил Тиррей. – Говорите что хотите. Я не скажу ничего Футрозу, я лучше умру. Не заставляйте меня сказать вам что-нибудь еще, вам будет нехорошо.

– Так вот как... – медленно сказал Франк. – Неужели ты не понимаешь, что твой удачный случай послан судьбой для меня, а не для тебя?

– Вы слышали мой ответ. Ничего не поможет. Гемас с презрением осмотрел Тиррея и помахал кружкой. Служанка наполнила опять все кружки, и Франк залпом выпил свою, держа ее трясущейся от гнева рукой.

– Ну хорошо, – заявил он, посасывая усы. – В таком случае я сам отправлюсь к Футрозу.

– Хорошо, что вы это мне сказали, – твердо произнес Тиррей, и его полные слез глаза ответили испытующему, прищуренному взгляду отца таким отчаянным вызовом, что Франк сунул руки в карманы и откатнулся на стуле с бесшабашным видом, сказав:

– Ну-ка, заплачь в самом деле, чувствительный идиот.

– Если вы пойдете к Футрозу, – продолжал Тиррей, – то я предупрежу вас. Я скажу, чтобы вас не принимали. Я расскажу о встрече на Лунном бульваре и о том, кто вы теперь.

Наступило молчание. Гемас, ухмыляясь, водил по столу пальцем в лужице пролитого вина, а Франк Давенант задумчиво набивал трубку, иногда внезапно взглядывая на сына, который в свою очередь рассматривал его так, как смотрят на упавшую и разбитую вещь.

– Кто же это – «я», да еще «теперь»? – иронически спросил Франк.

– По-видимому, вы – преступник, – не задумываясь, ответил Тиррей. – Не ошибусь, если скажу, что вы сидели в тюрьме. Я все понял.

– Договорились! – сказал Гемас. Франк медленно поднял брови; скорбная и коварная улыбка перекосила его изменившееся лицо.

– Тири, я виноват, – произнес он с торжественным выражением. – Я забыл разницу наших жизненных опытов. Бог с тобой. Завтра утром я к тебе загляну.

– Не приходите ко мне. Где-нибудь в другом месте.

– Ах так? Хорошо... Хотя... Тогда приходи сюда.

– В какое время?

– Приходи утром, к десяти часам.

– Сказано. Я приду.

– Отлично, сынок. Поговорим подробно; узнаешь, как я жил... Как ты „. Предадимся воспоминаниям. Уходишь? Ну, а мы еще посидим немного, две старые калоши... Хе-хе!

Тиррей заплатил служанке и, кивнув, направился к гавани, чтобы ходить там до полного изнурения – идти домой спать он не мог. Больше того, казалось ему, что он никогда уже не захочет спать.

Бесцельно огибая углы подозрительных переулков или сидя на каменных лестницах скверов, Давенант с тоской ожидал рассвета, чтобы пойти к Галерану и все ему рассказать. Он верил, что Галеран выручит его. Угроза Франка вымогать у Футроза, объявив себя отцом, убивала Тиррея. Отношение к нему этой семьи должно было неизбежно стать осторожным и недоверчивым. Тиррей отлично понимал разницу между горячим сочувствием к нему лично и необходимостью, навязанной – ради него – сочувствовать разнузданному прохожему, усмотревшему в своем сыне доходную статью. Довольно было Футрозам узнать о существовании Франка Давенанта, чтобы Тиррей не решился более показаться им на глаза. Скрывать, скрывать и скрывать должен был он возвращение своего отца, и он решил утром просить Франка, ради памяти матери, умолять и просить, если понадобится, на коленях, чтобы отец оставил свою затею. С помощью Галерана Тиррей надеялся достать немного денег на отъезд Франка в другой город и уговорить отца, чтобы тот сел в поезд или на пароход.

В таких размышлениях, перебиваемых изредка печальным боем часов, прошла страшная ночь, и, когда рассвело, Давенант поспешил к Галерану, но узнал там, что Галеран дома не ночевал. Впервые мысль об особости каждой человеческой жизни, преследующей свои интересы и не обязанной знать, как страстно ждет от нее спасения другой человек, предстала Тиррею со всей безвинной горечью ее смысла. Растерявшись, – так как только теперь ощутил, как одинок он со своей бедой, – Давенант отправился разыскивать Галерана по улицам, все надеясь, что встретит его высокую фигуру среди ей подобных фигур. Устав оглядываться во все стороны, Давенант наконец пришел домой, и, недовольная ранним звонком, впустила его заспанная служанка. Он вошел в свою комнату с таким чувством, как будто не был в ней несколько лет. Пустая бутылка от вина и окрашенный вокруг донышка закившим вином стакан источали тленный запах. Тут сидел отец, тут Давенант угощал его. Задержав занавеску окна, так как ослепляющие лучи солнца обманывали, сияя без утешения, и грели, не согревая, измученный Давенант лег на кровать, почти тотчас уснув. Когда пришло время, служанка внесла кофе и разбудила спящего, он сказал: «Хорошо», – опять уснув так же крепко, без сознания своего краткого пробуждения. Все время ему снился отец, и он говорил с ним о тяжелых вещах. Наконец Давенант проснулся. Вскочив, он старался понять смысл тревоги, овладевшей им, но не сразу вспомнил о том, что случилось вчера. Кофе давно остыл. Взглянув на часы, Тиррей спохватился, так как приближался полдень.

Мучаясь страхом, что, устав ждать в «Хоботе», отец с минуты на минуту может явиться сюда, да еще, может быть, не один, а с Гемасом, Тиррей начал торопливо застегиваться. Схватив шляпу, искал он глазами сам не зная чего, твердя:

– Только бы выйти в дверь... Вот-вот раздастся звонок..

Действительно раздался звонок, и Тиррей услышал его в момент, когда открывал дверь своей комнаты. Оцепенев, он немедленно снял шляпу и отошел к столу, зная уже, что пришел Франк Давенант. Он слышал его лебезящую благодарность старухе Губерман, шаркавшей своими туфлями в передней, и ее лживые вздохи. Тогда Тиррей открыл дверь, не дожидаясь стука, и Франк уверенно вошел в комнату с небрежным пьяным жестом, которым как бы приглашал мир раскрыться перед его благодушием.

С первого взгляда Тиррей заметил, что отец пьян как стелька и, вероятно, не спал. Хотя был он выбрит, умыт, его старое, в красных жилках лицо по-прежнему не внушало никакого доверия.

– Я ждал, – сказал Франк, беря обеими руками руку сына и похлопывая ее. – Должно быть, ты проспал? Ну, конечно, вид у тебя заспанный. Что, Тири, как?! Ты очень рассердился вчера?

– Да, я проспал, но...

– Но что, мол, делать, раз явился этот негодный старик отец?! Ха-ха! Мы с Гемасом здорово выпили вчера. Знаешь, ты ему понравился. Это человек с головой. Он говорит: «Я понимаю вашего сына, но он летит и будет лететь, как бабочка на огонь, пока не спалит крылья». И – добавлю я сам – пока, корчась и издыхая, не проклянет все лукавые огни мира!

Тиррей налил себе стакан холодного кофе, затем выпил залпом, без сахара, терпкий напиток, чтобы хотя немного отогнать угнетение.

– Будете ли вы пить холодный кофе? – спросил Тиррей. – А вина у меня нет.

– Кофе? Едва ли... Хотя... потом я выпью вина. Я уже ел, Тири. Ну вот, я сяду. Слушай, Тири, ты почти взрослый человек, и я хочу коснуться, заметь – только коснуться, так неудачно поднятого вчера вопроса о Фут-розе и его славных малюточках Однако... не в том дело.. Хотя? Но, видишь, я должен высказаться.

– Да, вы должны высказаться, – с горечью заявил Тиррей. – Поверьте, я буду вас слушать очень внимательно.

– Ах так? Чудесно, – Франк достал табак. – В таком случае закурим старую добрую трубку житейского мудреца. Я, Тири, стал мудрецом. Да, прошлое, добренькая бестолковая Корнелия, надежды выдвинуться, разбогатеть – все это теперь для меня как что-то хорошее, бренькающее, но почти нереальное. Есть два способа быть счастливым: возвышение и падение. Путь к возвышению труден и утомителен. Ты должен половину жизни отдать борьбе с конкурентами, лгать, льстить, притворяться, комбинировать и терпеть, а когда в награду за это голова твоя начнет сидеть и доктора захотят получать от тебя постоянную ренту за то, что ты насквозь болен, вот тогда ты почувствуешь, как тебе досталась высота положения и деньги, конечно. Да, так ради чего же ты так искалечился? Ради собственного дома, женщин и удовольствий. Еще можешь утешаться тем, что несколько ползущих вверх дураков будут усердно твердить твое имя, пока не подползут усесться либо рядом с тобой, либо еще повыше. Тогда они плюнут тебе на голову. Понимаешь, о чем я говорю?

– Я понимаю. Вы – неудачник.

– Неудачник, Тири? Смотри, как ты повернул... Ты ошибся. Мой вывод иной. Да, я неудачник – с вульгарной точки зрения, – но дело не в том. Какой же путь легче к наслаждениям и удовольствиям жизни? Ползти вверх или слететь вниз? Знай же, что внизу то же самое, что и вверху: такие же женщины, такое же вино, такие же карты, такие же путешествия. И для этого не нужно никаких дьявольских судорог. Надо только понять, что так называемые стыд, совесть, презрение людей есть просто грубые чучела, расставленные на огородах всяческой «высоты» для того, чтобы пугать таких, как я, понявших игру. Ты нюхал совесть? Держал в руках стыд? Ел презрение? Это только слова, Тири, изрекаемые гортанью и языком. Слова же есть только сотрясение воздуха. Есть сладость в падении, друг мой, эту сладость надо испытать, чтобы ее понять. Самый глубокий низ и самый высокий верх – концы одной цепи. Бродяга, отвергнутый – я сам отверг всех, я путешествую, обладаю женщинами, играю в карты и рулетку, курю, пью вино, ем и сплю в четырех стенах. Пусть мои женщины грязны и пьяны, вино – дешевое, игра – на мелочь, путешествия и переезды совершаются под ветром, на палубе или на крыше вагона – это все то самое, чем владеет миллионер, такая же, черт побери, жизнь, и, если даже взглянуть на нее с эстетической стороны, – она, право, не лишена оригинального колорита, что и доказывается пристрастием многих художников, писателей к изображению притонов, нищих, проституток. Какие там чувства, страсти, вожделения! Выдохшееся общество приличных морд даже не представляет, как живы эти чувства, как они полны неведомых «высоте» струн! Слушай, Тири, шагни к нам! Плюнь на своих благотворителей! Ты играешь унижительную роль деревянной палочки, которую стругают от скуки и, когда она надоест, швыряют ее через плечо.

Хмельной голос Франка звучал, как назойливый бред, но сам он, давно не произносивший таких длинных речей, считал взятый им тон достаточно убедительным для действия на Тиррея, который, по его мнению, не мог бы сам никогда прийти к столь яркому откровению. Притупленный алкоголем мозг Франка находился во власти примитивных расчетов.

– Стоит ли продолжать? – пытливо спросил он, видя, что Тиррей молчит. – Осталось мне сделать тебе практическое предложение, дать совет... Хотя..., Одним словом, я желаю тебе добра.

– Говорите. Мне все равно.

– Ну, слушай, и пусть эта мысль несколько дней зреет в тебе. Можешь сейчас ничего не решать. У Фут-роза две дочери, обе хорошенькие. Одна совсем девчонка, но другая почти взрослая. Ты – прямо скажу – красивый, интересный мальчик. Если бы ты подъехал к этой.. к старшей.. Понимаешь? Понимаешь, какие перспективы? Если бы ты с ней тайно вступил в связь, она выманила бы у отца столько денег, сколько тебе даже не снилось... ты знаешь, как это делается?

Хочешь, я тебя научу?

На всякий случай Франк приготовился к тому, что могло последовать за его вопросом. Тиррей встал, протянул отцу его шапку и тихо сказал:

– Ступайте вон и никогда не приходите ко мне! Если бы вы не были мой отец, я задушил бы вас без всякого раскаяния. Уходи, старая сволочь!

Франк мутно взглянул на сына и бессильно свесил голову. Его ноги расползлись, рука упала со стола, тело, пытаясь держаться прямо, вздрагивало и поникало.

– Совсем раз-вез-ло, – бормотал он, притворяясь, что силится встать. – Четыре б-бутылки... на-то-шак... ф-фу!

– Что с вами?

– С-с-с-пать, – сказал Франк. – Пр-рости... пь-пьяного.

Поверив, что отец впал в беспомощное состояние, Тиррей задумался и тоскливо вздохнул. Гнать жалкое существо, которое свалилось бы за порогом, он не мог. Кое-как он подвел отца к кушетке и уложил его, причем Франк грузно повалился, как мертвый, и Тиррею пришлось поднимать ему ноги. Думая, что отец будет спать, по крайней мере, до вечера, Давенант еще раз отправился искать Галерана и вновь не застал его. Возвратясь, он был встречен старухой Губерман, которая сообщила ему, что Франк ушел. Она прибавила:

– Не перемените ли вы комнату? Вам будет у меня неудобно жить вдвоем, а я вам скажу один очень хороший адрес.

– Как вы хотите, – равнодушно сказал Тиррей. – Я не виноват.

Он вошел к себе и увидел раскрытый шкаф; белый костюм и белье исчезли. Внутри шкафа валялся старый пиджак Тиррея, оставленный Франком сыну только потому, что он не смог его захватить. Все остальное было обернуто им вокруг тела, под блузу. Таким образом прислуга ничего не заметила.

Глава VI

С этой минуты Тиррей стал внешне спокоен, но его как будто ударили по глазам. Некоторое время он видел плохо, неясно вокруг себя. Он хмурился и моргал, стараясь вызвать в себе хоть какое-нибудь резкое чувство, и не мог, и сам он был, как пустой шкаф. Присев, Тиррей взял со стола какую-то нитку, должно быть, оставленную Франком. Он стал обматывать ее вокруг пальца и рвать. Так он сидел несколько времени, представляя ряд кабаков, замеченных вчера, где мог теперь настигнуть отца. Давенант решился на это с глубоким отвращением и почти без всякой надежды. Заперев комнату, чтобы никто не знал истину его положения, Давенант вышел на поиски вора и, тщательно осмотрев «Хобот», где не было ни Гемаса, ни Франка, отправился к одному углу около порта, где находилось семь питейных заведений. Потолкавшись из дверей в двери, увидел он наконец своего отца в компании Гемаса и трех скуластых бродяг в рваных шляпах. За их столом сидели две женщины. Нарумяненные ярко, до самых висков, эти пьяные фурии заволновались первыми, увидев Тиррея; догадавшись, что мальчик с потрясенным лицом – сын щедрого мецената, они сказали что-то Франку, весело разливавшему в этот момент вино. Франк взглянул, мрачно опустил веки, насутился и положил локти на стол.

– А-ха-ха! Вот потеха, – сказал Гемас, с любопытством ожидая скандала.

Все молчали, и Тиррей подошел, осматриваемый с ног до головы, как потешный враг, который скоро уйдет.

– Отец, – произнес Тиррей, – я пришел». Я должен вам сказать несколько слов.

– Уже продано! – заявил Франк. – Напрасно будешь кричать!

– Не буду кричать. Отойдите поговорить со мной.

– Гм... Так лучше для тебя. Потолкуем. Франк встал и, растолкав соседей, опрокинув табурет, вышел из-за стола к сыну. Хотя он держался с вызывающим видом, гордо подтягивал пояс и играя бровями, он не мог скрыть тревоги. Говорил он преувеличенно твердо, с выкриком, как человек, страдающий манией величия.

Отец с сыном вышли на улицу.

– Как вы могли? – тихо спросил Тиррей.

– А так, дитя мое. Почему эти вещи должны быть твои, а не мои? В самом деле! Ты заработал их? Купил? Нет! Путь, на который я тебя зову дружески, не знает жалости ни к своим вещам, ни к чужим. Так было надо, в высшем смысле, в смысле... падения и страдания!

– Пусть так, – сказал Тиррей, – мне уже мучительно говорить об этом. Но не ходите к Футрозу! Даже не пишите ему! Ради бога!

– Непременно пойду, Тири, клянусь тебе в этом мозгами и печенкой Футроза. Задумано без промаха! Я буду бить на то, чтобы Футроз почувствовал ко мне так называемое «омерзение», чтобы он ради тебя, эдакого романтика, дал мне сто фунтов отступного. И он даст! Тогда я уеду в Сан-Фуэго. Покет гнусен.

– Действительно вы тогда уедете?

– Да... А что?

– У меня, вы знаете, нет денег... Я... так спросил.

– Ну-с, вместо твоего «так» я буду говорить с Футрозом завтра утром. Это будет великолепный мрачный эскиз к картине: «Дьявольские огни падения Франка Давенанта».

Он замолчал, потом достал платок, высморкался и нисходительно посмотрел на Тиррея.

– Отец – сказал юноша. – Кто вы?

– Сказать?

– Говорите.

– «Вас, brave надзиратель, хочу с собой я взять Вы будете, приятель, со мной в постели спать», – медленно проговорил Франк, пристально смотря сыну в глаза. – Понял?

Но Тиррей понял не сразу. Поняв, он отступил и кивнул.

– Понял, слезоточивая образина? – закричал Франк. – Уходи!

Тиррей нервно смеялся, пытаясь удержать слезы, которых стыдился, как последнего унижения.

Франк сделал рукой перед своим лицом значительный жест и ушел в трактир. Развивая нелепую внезапную мысль, Давенант направился искать лавку старого платья. Он был под влиянием замысла продать свой серый костюм и выиграть сто фунтов, чтобы его отец, получив деньги, оставил город.

Тиррей разыскал лавку, сторговался продать костюм за два фунта и, вернувшись домой, переоделся в старое платье, а серый костюм завернул в газету и отнес в лавку. Таким образом, исчезли все новые красивые вещи, он был опять одет так, как в выходной день на службе в кафе. Оставались на нем от так пламенно сверкнувшей сказки лишь белье и шляпа. Давенант съел в таверне кусок баранины и отправился на Кайенну – так назывался квартал, где кабаре и игорные дома взаимно поддерживали друг друга. Он бывал в этом квартале, но никогда не заходил ни в один яркий подъезд с белыми фонарями, никогда не играл. В Органном переулке таких подъездов было два, с ажурными вывесками из золотых букв, ночью превращавшихся в перелетающий узор зеленых лампочек.

Притон, куда вошел Давенант, назывался «Лесной царь». Среди ковров и цветов, озаренных так ярко, что, казалось, были даже видны надежды и отчаяние в душах бледных людей, сновавших вдоль ограненных зеркал, Давенант отдал свою шляпу швейцару, пройдя затем в высокую дверь, где несколько групп толпилось у игорных столов.

Давенант подошел к относительно свободному краю одного стола и, не понимая игры, не зная, какая это игра, стал смотреть, как золото и банковые билеты перемещаются за зеленым столом под наблюдением спокойно работающего крупье. Крупье изредка говорил мягко и непонятно, тоном легкой забавы, которой будто бы радуются все, сошедшиеся к столу. Однако от этих небрежных его замечаний лица играющих вспыхивали или тускнели, а некоторые, беспомощно оглянувшись, резко выбирались из круга прочь и, вздохнув, вытирали платком потный лоб.

– Пора, – сказал себе Давенант, видя, как много рук потянулось бросать деньги на стол. Он вынул из кармана все, что оставалось у него, и положил свою ставку, ничего не придерживая про запас. Рука крупье, считая ставки по очереди, коснулась денег Тиррея. Он пристально посмотрел на мальчика, взметнул бровью и отобрал мелкое серебро; отодвинув его Давенанту и говоря:

– Возьмите, это не идет.

Сконфузившись, Давенант убрал мелочь. Карты легли, выразили свое, непонятное ему отношение к его и чужим надеждам, но ничего не изменилось: никто не убирал денег, никто не ставил еще. Опять банкومت треснул колодой и разбросал карты.

Тиррей спросил смуглого человека, стоявшего рядом с ним:

– Что это? Почему снова играют?

– Сыграли вничью, – сказал тот и посмотрел на Тиррея. – Вот теперь... Ага! Вы выиграли.

– Да неужели? – сказал Давенант.

Действительно, его ставка удвоилась, и он забрал ее так неловко, торопясь, что ребра монет торчали между его пальцами. «Что же делать дальше?» – думал он, не замечая, что говорит вслух, хоть тихо, но ясно.

Смуглый молодой человек заинтересованно присмотрелся к нему.

– Как играть, чтобы скорее выиграть? Я не знаю...

– Отойдите, – сказал вдруг смуглый незнакомец Тиррею, – я хочу вас выручить.

Тиррей удивился, но повиновался. В этом роковом месте он ждал всяких чудес. Отойдя на середину зала, неизвестный сказал:

– Слушайте: играя так, как сейчас, вы через пять минут останетесь без гроша. Хотите быть участником банка? Я намерен заложить банк в десять тысяч, а ваши деньги могу взять для игры, и вы получите свою долю. При удаче – несколько сот фунтов.

Он говорил спокойно, серьезно, был прекрасно одет, но Давенант колебался. В это время подошел грузный человек с сигарой в зубах и, узнав от смуглого человека, о чем разговор, небрежно процедил:

– Оле, Гордон! Хотите взять юношу под свое покровительство? Что же, ваше дело, – Опять обогатите новичка.. Советую отдаться на волю Гордона, – сказал толстяк Тиррею. – Гордон так богат, что играет, как лев, и ему адски везет. Не упускайте случая. У Гордона страсть к новичкам. Добр, как старая няня.

Смеясь от возбуждения и надежды, юноша вручил свои деньги Гордону. Тот, хлопнув Давенанта по плечу, посоветовал ему ожидать результат игры в одной из гостиных, которую весьма предусмотрительно указал. Тиррей прошел туда, сел в кресло и стал ждать. В этой комнате с опущенными шторами не сидел, кроме него, никто, но сюда изредка входили два-три человека, обсуждая свои дела, горячась или упрасывая о чем-то один другого. Редко присаживались входящие – страдание игры вскоре гнало их в залы, на свет высоких дверей, за которыми, в дыму и лучах, торопливо пробежали от стола к столу люди с вдохновенными или озирающимися лицами. Давенант увидел двух женщин. Они присели в гостиной и стали плакать, утешая друг друга. Эти немолодые толстые женщины, пошептавшись, решительно вытерли глаза, напудрились и, снимав с рук кольца, ушли, громко вздыхая. Прибежал молодой человек с розовым лицом и растрепанным галстуком. Он стал посредине гостиной, обшарил жилетные карманы, свистнул, повернулся на каблуках и исчез. Вошли трое рослых людей с массивными лицами. Держа руки в карманах брюк, они долго ходили по гостиной, громко говоря, с хохотом и увлечением; эти люди вспоминали игру. Они выиграли и условились ехать в ресторан.

На Давенанта никто не обращал внимания. Он сидел, положив ногу на ногу и устремив взгляд на дверь в зал, чтобы заметить появление Гордона и узнать по его липу результат. Наконец он устал сидеть, устал менять ногу и думать. Часы на камине били уже дважды; когда пробило восемь часов, Давенант решил идти искать важного игрока. Несколько тревожась, но не настолько, чтоб быть уверенным в похищении своей незначительной суммы человеком, играющим на десятки тысяч, Давенант обошел все группы зала, присмотрелся ко всем лицам, но Гордона там не было. Юноша проник во второй зал и там увидел толстого человека, который ранее говорил с Гордоном. Толстяк стоял поодаль от играющих, просматривая свой бумажник. Заметив Давенанта, он сделал движение, пытаясь удалиться, но Давенант уже улыбался ему.

– Ах да! – сказал толстяк. – Так как? Гордон обогатил вас?

– Я его ищу, – сказал Давенант, – я был везде, у всех столов. Вы его видели?

– Обождите одну минуту, – заявил толстяк, – должно быть, он мечет банк. Я его сейчас

приведу.

Он быстро ушел, а Давенант остался стоять и стоял, пока ему на ухо не крикнула догадка: «Это мошенники». Увидев служащего, Давенант рассказал ему о Гордоне и попросил указать, где сидит смуглый молодой человек.

К ним подошел другой служащий.

– Так это, верно, Гутман-Стригун, – сказал он, разузнав от Тиррея внешность вора. – Опять та же история! Кто его пропустил? Был приказ не впускать ни Гутмана, ни Пол-Свиста.

Первый служащий развел руками.

– Черт его знает, – сказал он. – Я только что сменил Вентура. Хотите пройти в дирекцию?

– А что? – спросил Давенант, понимая теперь происшествие, но обманывая себя. – Разве Гордон там?

– Вас обобрали, – сказал второй служащий, – но вы можете подать жалобу.

– Нет, не стоит.

– Пожалуй, что не стоит. Все равно деньги ваши пропали.

– Да, я вижу теперь.

Давенант повернулся и вышел из клуба. Не торопясь, он пришел домой, равнодушный уже к мнению о себе хозяйки, видевшей, открывая дверь, его старый костюм, изнуренное лицо и, конечно, уже заметившей опустошенный шкаф.

– Завтра я перееду, – сказал Тиррей старухе, когда вошел.

– Пожалуйста, – насмешливо ответила Губерман, – вам будет лучше, уверяю вас, эта комната для вас велика, да и дорога, пожалуй.

– Хорошо. А вы вернете мне деньги. Я прожил всего неделю.

– Кто мне платил, тому и верну. Но только еще вопрос, как быть с моим мужем. Карл болен от ваших родственников. Он боится, что нас ограбят. Так вот, суд еще может признать, что вы обязаны потратиться на лечение, на докторов.

Давенант не ответил. Он прошел в комнату и лег, не зажигая огня, на кровать. Его мысли были подобны болезненным опухолям. Некоторые представления заставляли его страдать так сильно, что он приподнимался, спрашивая тьму: «Что же это такое? Почему?»

Его холодный обед стоял на столе. Незадолго перед рассветом Давенант съел остывшее кушанье и лег снова. Теперь начал набегать сон, но малейшее движение мысли отгоняло его. Давенант часто поднимался и пил воду; наконец он уснул и очнулся в одиннадцать утра.

Не зная, что с ним произойдет, он на всякий случай достал из ящика письменного стола серебряного оленя и спрятал его во внутренний карман пиджака, затем оставил квартиру и разыскал аптеку, где был телефон-автомат.

Отсюда, намереваясь предупредить Футроза, Давенант вызвал его номер по книге абонентов. За то время, что станция соединяла его с обитателями красно-желтой гостиной, Давенант немного отдохнул душой – опять он касался вырванного из его жизни прекрасного дома. Услышав голос, отвечающий ему, Давенант весь потянулся к аппарату и начал улыбаться, но с ним говорила Урания Тальберг.

Она не дала ему ничего сказать. Узнав от него, кто с ней говорит, гувернантка сказала:

– Как дико с вашей стороны! Ради чего вы прислали этого человека? Он сказал, что он ваш отец и что вы прислали его. Кто он такой?

– Я никого не посылал, – ответил Давенант, побледнев от стыда. – Ради бога... Я хочу объяснить... Хочу сказать всем... Господин Футроз...

– Господин Футроз и девочки уехали в Лисе сегодня с восьмичасовым поездом. Они вернутся через три дня.

– Уехали?

– Да. На спектакли Клаверинга и Меран. До свидания.

Телефон молчал. Давенант вышел из аптеки. На ее двери висела афиша, теперь он видел ее. Она была ему нужна, и он прочел ее с начала до конца, а затем отправился к Галерану. Это была его последняя попытка найти защиту.

Глава VII

Афиши о гастролях в Лиссе знаменитых актеров Леона Клаверинга и Леонкаллы Меран были расклеены по городу. Тем более обеспечен был им успех у состоятельного населения, что театр Покета еще только заканчивался постройкой. Объявленные три выступления гастролеров: «Кин», «Гугеноты» и «Сон в летнюю ночь» – следовали одно за другим 3-го, 4-го и 5-го августа. Давенант должен был попасть в Лиссе сегодня же к вееру или к вечеру следующего дня. В первом случае он мог мчаться на автомобиле, которым не обладал, во втором – сесть в утренний поезд. Лишь утром отходил поезд на Лиссе, а на билет у него не было денег. Не видя другого выхода, он бросился к Галерану и узнал от жильцов, что Галерана все еще нет дома. «С ним иногда это бывает, – объяснил Давенанту Симпсон. – Бывало, что он и по семь дней отсутствовал, так что, если вам очень необходимо его разыскать, ступайте в ресторанчик Кишлота, на Пыльную улицу, туда Галеран заходит, там его знают». Не дослушав, Давенант оставил Симпсона так поспешно, что тот не успел выпросить у него взаймы мелочи. С горечью подумал Давенант о Кишлоте, идти к которому обобраным и отверженным не мог бы даже под угрозой смерти. Между тем не увидеть в последний раз людей, сделавших для него так много, он тоже не мог. Мысль встретить их у театра, представляя их изумление, которое скажет им все об его преданности и привязанности к ним, – взволнует, быть может, и заставит крепко, в знак вечной, пламенной дружбы, сжать его руку – приняла болезненные размеры; вне этого не существовало для него ничего, и, если бы его теперь заперли или связали, он неизбежно и опасно заболел бы. Это был крик погибающего, последняя надежда спастись, за которой, если она не сбылась, наступает худшее смерти успокоение.

«Вот они вернутся, – соображал Давенант. – Когда гнусный отец мой явится к ним, все станет понятно. Но будет поздно уже. Они поймут, ради чего я скрываюсь и уйду навсегда, чтобы даже тени сомнения не было у них на мой счет. Каким был, таким и ушел».

С самого утра Давенант не был дома и ничего не ел; совсем не желая есть, он все-таки купил хлеб, чтобы не ослабеть, но есть не мог; завернув хлеб в газету, он вышел на шоссе, по которому должен был пройти сто семьдесят миль. Его не удивляло ни расстояние, ни очевидная невозможность одолеть к сроку такой огромный конец. Он знал, что должен быть у театра в Лиссе не позже восьми часов вечера 5 августа. Как ухитряются ездить в вагоне без билета, он не имел о том ни малейшего представления. Во всяком случае для него было это непосильной задачей. Он прошел милью-другую, все еще держа хлеб под мышкой нетронутым. Иногда, завидя нагоняющий его автомобиль, Давенант останавливался и поднимал руку. Вглядевшись, шофер сплевывал или презрительно кривил лицо, проезжие оглядывались на бледного путника с недоумением, иногда насмешливо махая рукой, думали, что он пьян, и действительно, никак нельзя было угадать по его виду, что хочет сказать этот странный юноша с широко раскрытыми глазами. В течение часа мелькнуло в его сознании восемь автомобилей. Потерпев неудачу с одним, он молча поднимал руку навстречу другому, третьему и так далее, иногда говоря: «Стойте. Прошу вас, посадите меня». На слове «прошу» машина пылила уже так далеко впереди, что она как бы и не проезжала мимо него.

Солнце закатывалось, и некоторое время дорога была пуста. Услышав очередной шум позади себя, говорящий о спасительной быстроте, мало сознавая, что делает, и рискуя быть изуродованным или даже убитым, Давенант встал на середине дороги, лицом к машине, и поднял руку. Он не дрогнул, не сдвинулся на дюйм, когда автомобиль остановился против его груди. Он не слышал низменной брани оторопевшего шофера и подошел к дверце экипажа, смотря прямо в лицо трех подвыпивших мужчин, которые разинули рты. Их вопросы и крики Давенант слышал, но не понимал.

– Одного прошу, – сказал он толстому человеку в парусиновом пальто и кожаной фуражке. – Ради вашей матери, невесты, жены или детей ваших, возьмите меня с собой в Лиссе. Если вы этого не сделаете, я умру. Я должен быть завтра к восьми часам там, куда вы едете, в Лиссе. Без этого я не могу жить.

Он говорил тихо, задыхаясь, и так ясно выразил свое состояние, что пассажиры автомобиля

в нерешительности переглянулись.

– С парнем что-то случилось, – сказал худой человек с помятым лицом. – Его всего дергает. Эй, юноша, зачем тебе в Лисе?

– Почему ты знаешь, куда мы едем? – спросил третий, черноусый и краснощекий хозяин автомобиля.

– Разве вы едете не в Лисе?

– Да, мы едем в Лисе, – закричал толстяк, – но ведь по топоту наших копыт этого не узнать. Эванс, посадим его?! Что это у тебя под мышкой? Не бомба?

– Это хлеб.

– А почему ты не сел в поезд? – спросил черноусый человек.

Давенант молчал.

– Я не мог достать денег, – объяснил он, поняв наконец смысл вопроса.

– Пусть сядет с Вальтером, – решил хозяин экипажа, вспомнив, на счастье Давенанта, собственные свои скитания раннего возраста. – Садись к шоферу, парень.

Давенант так обрадовался, что схватил черноусого человека за локоть и сжал его, смеясь от восхищения. Сев с Вальтером, он продолжал смеяться. Шофер резким движением пустил замёрзшую машину скользить среди вечерних холмов и сказал Давенанту:

– Тебе смешно?! Весело, что ли? У, козел! Встал, как козел. Жалею, что не сшиб тебя за такую наглость. На, выпей, козлице!

Он протянул ему бутылку, подсунутую сзади хозяином. Давенант, все еще дрожа от усталости в порыве отчаяния, сменившегося благодетельным ощущением быстроты хода дорогой новой машины, выпил несколько глотков. Ему передали кусок курицы, сыра и апельсин. Он все это съел, потом, услышав, что сзади что-то кричат, обернулся. Худощавый человек крикнул: «Зачем так торопишься в Лисе?» – и, не расслышав его бессвязного ответа: «Я не могу, я не сумею вам объяснить. -поверьте...», – снисходительно махнул рукой, занявшись бутылкой, которая переходила из рук в руки.

Шофер больше не разговаривал с Давенантом, чему Давенант был рад, так как хотел без помехи отжаться горькому удовольствию пробега к последнему моменту своего недолгого хорошего прошлого.

Солнце скрылось, но в сумерках были еще видны камни шоссе и склоны холмов с раскачиваемой ветром травой. По этому шоссе он теперь шел мысленно и блаженно созерцал этапы воображаемых им своих шагов, струящиеся назад со скоростью водопада. Сидя на колеблющемся автомобиле, он много раз опередил самого себя, идущего где-то там, стороной, так тихо по сравнению с быстротой езды, что мог бы считаться неподвижным. Но скоро устал он и думать и сравнивать, лишь вспоминая, что завтра будет в Лиссе, упоенно сосредоточивался на этой уверенности.

Люди, взявшие его с собой, были мукомолы Покета, ехавшие на торги по доставке муки для войск. Сжалившись над Давенантом, они накормили его и вскоре успокоились относительно его присутствия, вернувшись к составлению коммерческого заговора против других подрядчиков.

Отличное цементированное шоссе между Покетом и Лиссом давало возможность ехать со скоростью сорока миль в час. В исходе одиннадцатого, промчавшись через Вильтон, Крене, Блек, Лавераз, Рульпост и Даккар, автомобиль остановился в Зеарне, рудничном городке из трех улиц и десяти кабаков.

– Это Лисе? – сказал Давенант, увидев огни и обращаясь к Вальтеру.

– Лисе? Сам ты Лисе, – отвечал Вальтер, утомленно подкатывая машину к ярко освещенной одноэтажной гостинице. – Отсюда еще пятьдесят миль.

Почти четыре часа сидел Давенант с поднятым воротником пиджака, удерживая шляпу на голове озябшей рукой. Он продрог, занемел телом, но остановка не обрадовала, а встревожила его. Он стал бояться, что автомобиль задержится. Мукомолов звали: хозяина автомобиля – Эванс, толстого Лэйк и худого – Берганц. Они потащили Давенанта с собой в гостиницу, где было много народа и так дымно в ярком свете, что слои дыма изображали литеры S. Отчасти раду-

ясь теплу, Давенант прошел в помещение, держась позади Берганца, у которого спросил:

– Может быть, вы не поедете дальше?

– Что? – крикнул Берганц и, остановив Эванса, указал ему длинный стол около кухонной двери. – Куда же еще? – сказал он. – Там все и сядем.

Давенант не решился переспросить, но Берганц, вспомнив его вопрос, сказал:

– Надо же отдохнуть, чудак. Мы хотим ужинать. Тебе очень не терпится? О!

– вскрикнул он, уставившись на подошедшего к группе приезжих огромного человека с багровым лицом. Его голова была вставлена в воротник из жира и полотна. – Я как будто чувствовал. Сам Тромп.

Кровавые глаза Тромпа блестели от удовольствия.

– А я выехал вас встретить, – сказал он, пожимая руки. – Вам, Эванс, по носу и Лэйку тоже: торги не состоятся.

– Что за чушь?!

– Идемте, все узнаете. Теперь... Как зовут этого зимородка? Он с вами? Кто такой?

– Так... попросился, – неохотно сообщил Лэйк, торопясь обсуждать торги. – Что-то трагическое. Ну, скорей сядем. Да, за тот стол.

– Если хочешь. – сказал Берганц Давенанту, который все беспокойнее смотрел на неприятного огромного Тромпа, – то поди закажи себе пива и сядь, где хочешь, нам надо поговорить.

Четверо дельцов загромыхали вокруг стола, и, как мухи начали летать перед их обветренными лицами руки слуг, тащивших бутылки и тарелки, а Давенант с стесненным сердцем подошел к стойке. Он хотел выпить пива, чтобы успокоиться. Сам заплатив за пиво, Давенант прислушивался к разговору торговцев, но стоял такой шум, что он не разбирал ничего.

Тромп что-то говорил, возбужденно перебрасывая с места на место вилку; скосив на него глаза, Лэйк жевал бутерброд; Эванс, потупясь, хмурился; Берганц, оглядываясь, гладил усы. Пока Давенант оканчивал свою кружку, за столом, как видно, было решено что-то успокоительное и потешное, так как Тромп поцеловал кончики своих пальцев и приятели расхохотались.

Лэйк обернулся, отыскал взглядом Давенанта и что-то сказал Эвансу. Тот задумался, но, пожав плечами, сделал Давенанту знак подойти.

– Слушай, – сказал он ему, замершему в тревожном предчувствии, – мы не поедem в Лисе. У нас тут дело.

– Так! Так! – повторял Давенант, не находя слов.

– Он дойдет пешком! – вскричал Тромп. – Здоровый, молодой парень... Я хаживал в его годы не такие концы. Если припустишься... – эй, ты! Слышишь, что говорю?! – то и не заметишь, как долетишь!

– Конечно, – машинально сказал Давенант.

– Да, уж извини, – пробормотал Берганц. – Хотели бы выручить тебя, но такое дело. Сам понимаешь.

– Я понимаю.

– Ну вот, ну и ступай с богом, – сказал Лэйк, начиная сердиться. – Осталось тебе пятьдесят миль. Как-нибудь доберешься.

– Да, я пойду, – Давенант вздохнул всей силой легких, чтобы рассеять тяжесть этой мрачной неожиданности. – Благодарю вас.

– Не за что, – сказал Эванс. – Идешь? Иди. Ну, так вот, – обратился он к Тромпу, – значит, так. Что же взять с собой? Вина, что ли?

Давенант оставил гостиницу и расспросил прохожих, как выйти на шоссе в Лисе. Ему указали направление, следуя которому он двинулся в путь, держа сверток под мышкой и обвязав поднятый воротник пиджака носовым платком в защиту от резкого ночного ветра.

Давенант не обиделся на мукомолов, бросивших его, он был доволен уже тем, что осталось идти всего пятьдесят миль – жестокое по времени и все же доступное расстояние.

Характер пережитого Давенантом за последние сутки был таков, что от воскресного вечера у Футроза, казалось, прошло много времени. Теперь он совершал переход из одной жизни в другую, от надежд – к неизвестности, от встречи – к прощанию. Галеран будет его искать, но нико-

гда не найдет. Может быть, печально задумается Футроз. Элли и Розна со слезами начнут вспоминать о нем, когда выяснится, почему он скрылся, ничего не объясняя, не жалуясь, и все поймут, что он не виноват в грязных затеях отца. Тот, конечно, явится к ним, будет просить денег. Тогда все откроется.

Разгоряченный этими мыслями – все об одном и том же с разных сторон, – Давенант не чувствовал холодного ветра. Шагая среди равнин и холмов, мимо спящих зданий, слушая лай собак и звук своих шагов, ставших неотъемлемой частью этой ночи, Давенант достиг состояния, в котором душевная деятельность уже не подчинена воле. Чувства и мысли его возникали самостоятельно, ни удержать, ни погасить их он не мог. Его представления достигли яркости цветного рисунка на черной бумаге. Он входил в гостиную Футроза, точно видя все узоры и тени, все предметы и расположение мебели так отчетливо, что мог бы записать цифрами, без ошибки, расстояние между ними, мог мысленно коснуться лака и бархата. Эта гостиная вызывала в нем тоску силой тех взволнованных чувств, которыми он сам наполнил ее. Неизвестно, какой связью зрительного с бессознательным горячая красно-желтая комната стала отражением его неискушенных желаний. Он вспомнил, как шесть рук искали в траве ключ, и, остановясь, не смог молча перенести живого воспоминания.

Давенант сказал:

– Прощайте, руки и ключи. Прощай и ты – я сам, который там был, – ты тоже прощай. Было слишком хорошо, чтобы могло быть так долго, всегда.

Помня, что ему приходилось слышать о пешей ходьбе, Давенант шел не присаживаясь, чтобы избежать утомления, неизбежно наступающего после краткого отдыха, потому что нарушается инерция мускульных сокращений, согласованная с дыханием и сердечным ритмом. Он шел упруго и ровно, подгоняемый цифрой расстояния. К рассвету Давенант прошел двадцать четыре мили, одержимый бредом невозможности поступить иначе. Его сознанием стало пространство; ни думать, ни чувствовать он более ничего не мог. Иногда в деревнях его окликали с порога женщины, желая узнать, не гонится ли кто-нибудь за этим мальчиком с воспаленным лицом, оглядывающимся как бы намеренно странно. Люди, проезжающие в повозках, нахмурясь, подстегивали лошадей, если Давенант просил подвезти его, плохо владея голосом, осипшим от ветра и пыли. Он спросил фермера, копающего канаву, много ли осталось до Лисса, и узнал, что осталось еще двадцать пять миль. Далеко впереди виднелась ясная синяя гора, возвышающаяся под облаками, – самое высокое место горизонта, – и фермер сказал: «Видишь ту гору? Когда вот эта гора окажется позади тебя, тогда считай еще десять миль, там будет и Лисе».

Эти слова приковали все внимание Давенанта к горе, которая виднелась обнадеживающе близко, – по свойству всех гор, если воздух прозрачен. Об угрожающей отдаленности ее говорил лишь лес на ее склонах, напоминающий сизый плюш, но Давенант сообразил это лишь после часа ходьбы, когда плюш стал чуть рыхлее на взгляд. По направлению пути гора была слева, и она сделалась для Давенанта главной мыслью этого дня.

Все время он видел ее перед собой то в ярком блеске неба, то в тени облака, соскальзывающего по склонам, подобно пару дыхания на гладком стекле.

Солнце пригрело Давенанта. После сопротивления ночному холоду его ослабевшее от бессонницы и ходьбы сердце гнало из него испарину, как воду из губки, но он, задышавшись, шел, смотря на медленно меняющиеся очертания горы. Тяжело уступала эта гора его изнемогающему неровному шагу. Уже начал он замечать в мнимом однообразии ее поверхности выпуклости и провалы, долины, снижающие в леса, каменные уступы и обрывы; гора явилась ему теперь не запредельно-картинным миром, как облачный горизонт, а громадой из многих форм, доступных сравнению.

Вскоре Давенант должен был проходить вдоль ее левого склона, где внизу прятались среди рощ отдельно стоящие белые дома. Шоссе стало поворачивать, огибая лежащий вправо большой холм, так как между горой и дорогой открылась долина с блестящей тонкой чертой реки; от реки вился пар, и зеленое дно долины предстало страннику, как летящей птице. У скалы лепился грубый небольшой дом с крышей из плоских камней. Перед входом умывалась женщина, и Давенант захотел пить. Женщина, вытирая лицо, смотрела на него, пока он просил воды, и ушла,

наказав подождать.

Давенант сел на ступеньку у двери. Когда перед его лицом появилась кружка с водой, он припал к ней с такой жадностью, что облился.

– Еще? – сказала женщина, задумавшись над его больным видом.

Давенант кивнул.

Осушив вторую кружку, он развернул свой хлеб, пропитанный пылью, и с сомнением посмотрел на него.

– Надо есть, – сказал он.

– Куда вы идете? – спросила женщина, снова появляясь с бутылкой водки.

– В Лисе. Далеко ли еще? – спросил Давенант, кладя в рот немного хлеба и тотчас вынимая его обратно, так как не мог жевать.

– Далеко, тринадцать миль. Выпейте водки.

– Водки? Не знаю. Который час?

– Скоро двенадцать. Выпейте водки и лягте под навесом. Если вы проспите час, то скорей дойдете. Я разбужу вас.

– Видите ли, добрая женщина, – сказал Давенант, пытаясь подняться, – если я усну, то не проснусь долго. Я шел из Зеарна всю ночь, но я опять должен идти.

– Так выпейте водки. Разве вы не сознаете, что с вами? Вы сгорели!

– Сгорел?

– Ну да, это бывает у лошадей и людей. Легкие загорелись.

– Я понимаю. Но не только легкие. Что же, дайте водки, я заплачу вам.

– Он с ума сошел! Мне платить?! Сам-то нищий! Давенант отпил из горлышка несколько глотков и, передохнув, стал пить еще, пока не застучало в висках. Отдав бутылку, он приподнялся, мертвея от боли в крестце, засмеялся и сел.

– Ну, марш под навес! – сказала женщина. У нее было рябое быстроглазое лицо и приветливая улыбка.

– Ничего, – ответил Тиррей, валяясь по земле в тщетных усилиях подняться.

– Мне только встать. Я должен идти.

Он ухватился за дверь и выпрямился, трясаясь от разломившего все тело изнеможения, но, встав, стиснул зубы и медленно пошел.

Женщина охала, сокрушенно качая головой и крича:

– Иди же, несчастный, пусть будет тебе лучше там, чем здесь! Что я могу? Сердце разрывается, смотря на него!

Насильно заставляя себя идти, Давенант шаг за шагом чувствовал восстановление способности двигаться. Не прошло десяти минут, как он вышел из мучительного состояния, но его шаг стал неровен.

Наступили самые знойные часы дня, в запыленном и потном течении которых Давенант много раз оборачивался взглянуть на гору; она отставала от него едва заметно, принимая прежний вид синего далекого мира, – формы тучи на горизонте.

Уже не было подъемов и огибающих высоту закруглений; шоссе вело под уклон, и к закату солнца Давенант увидел далекую равнину на берегу моря, застроенную зданиями. Это был Лисе, блестящий и дымивший, как слой раскаленных углей.

Думая, что идет скорее, возбужденный близостью цели, Давенант на самом деле двигался из последних сил, не в полном сознании происходящего, и так тихо, что последние две мили шел три часа.

Город скрывался за холмами несколько раз и, когда уже начало темнеть, открылся со склона окружающей его возвышенности линиями огней, занимающих весь видимый горизонт. Стал слышен гул толпы, звон баковых колоколов на пароходах, отбивающих половину восьмого, задумчивые гудки. Давенант принудил себя идти так быстро, как позволяла боль в ногах и плечах. Автомобили обгоняли его, как птицы, несущиеся по одной линии, но он уже видел неподалеку дома и скоро проник в тесные улицы окраин, пахнувшие сыростью и горелым маслом.

Много раз прохожие указывали ему дорогу к театру, но он все сбивался, попадая то на

темную площадь товарных складов, то на лестницы переулков, уводящих от центра города. Хлеб в истрепанной газете мешал ему представлять себя среди роскошной залы театра. Давенант положил хлеб на тумбу. Наконец два последних поворота вывели его на громадную улицу, где жаркий вечер сверкал тысячами огней, а движение экипажей представляло армию черных лиц с огненными глазами, ринувшихся в бой против толпы. Вскинутые головы лошадей и задки автомобилей мелькали на одном уровне с веселыми женскими лицами; витрины пылали, было светло, страшно и упоительно. Но этот гремящий мир помог Давенанту в его последней борьбе с подступающим беспамятством.

– Где театр? – спросил он молодого человека, который пытливо взглянул на него, сказав:

– Вы стоите против театра.

Давенант всмотрелся; действительно, на другой стороне улицы был четырехэтажный дом с пожаром внутри, вырывающимся из окон блеском электрических люстр. Внизу оклеенные афишами белые арки и колонны галерей были полны народа; люди входили и выходили из стеклянных дверей. Тогда Давенант спросил у надменной старухи:

– Разве уже восемь часов?

– Без пяти восемь, – сказала она, выведенная из презрительного колебания

– ответить или нет – лишь тем, что Давенант не сходил с места, глядя на нее в упор.

Старая дама тронула свою сумку и, убедясь, что ничего не похищено, рванулась плечом вперед, а Давенант бросился к входу в театр. Он увидел кассу, но касса была закрыта. Темное окно возвещало большими буквами аншлага, что билеты распроданы.

Давенант стал на середине вестибюля, мешая публике проходить, оглядываясь и ища глазами тех, ради кого принял эти мучения. Огромная дверь в зал театра была полуоткрыта, там блестели золото, свет, ярко озаренные лица из прекрасного и недоступного мира смеялись на фоне занавеса, изображающего голубую лагуну с парусами и птицами. Тихо играла музыка. Большое зеркало отразило понурую фигуру с бледным лицом и черным от пыли ртом. Это был Давенант, но он не узнал себя.

– Могу ли я войти? – спросил Давенант старого капельдинера, стоявшего у дверей. – Я прибыл издалека. Прошу вас, пропустите меня.

– Как так?! – ответил капельдинер. – Что вы бормочете? Где ваш билет?

– Касса закрыта, но я все равно отдам деньги.

– Однако вы шутник, – сказал служащий, рассмотрев посетителя и отстраняя его, чтобы дать пройти группе зрителей. – Уходи, или тебя выведут.

– Что такое? – подошел второй капельдинер.

– Пьян или поврежден в уме, – сказал первый, – хочет идти в зал без билета.

– Ради бога! – сказал Давенант. – Меня ждут. Я должен войти.

– Вильтон, выведите его.

– Пойдем! – приказал Вильтон, беря Тиррея за локоть.

– Я не могу уйти.

– Ничего, мы поможем. Ну-ка ползи!

Вильтон вывел Тиррея за дверь, слегка подтолкнув в спину, и сказал швейцару:

– Снук, не пропускать.

Давенант вышел на тротуар, сошел с него, оглянулся, нахмурился и стал всматриваться в круговое движение экипажей перед театром. В отчаянии был он почти уверен, что Футроз и дети его уже заняли свои места. Вдруг на скрещении вечерних лучей за темной гривой мелькнули оживленные лица Розны и Эллы. Футроз сидел спиной к Давенанту.

– Здравствуйте! Здравствуйте! – закричал Тиррей, бросаясь с разрывающимся сердцем сквозь толпу, между колес и людей, к миновавшему его экипажу, затем не устоял и упал.

Как только его глаза закрылись, пред ним встали телеграфные провода с сидящими на них птицами и потянулись холмы.

– Кто-то вскрикнул! – сказала Эллы, оглядываясь на крик. – Тампико, смейся, если хочешь, но мне почудился голос Давенанта. Это он зовет нас, в Покете. Право, не совестно ли, что мы не взяли его?

Футроз не нашел, что ответить. Все трое оставили экипаж и скрылись в свете подъезда. Роза посмеялась над мнительностью сестры, и Элли тоже признала, что «сбрендила, надо полагать». Затем наступило удовольствие осматривать чужие туалеты и сравнивать их со своими нежными платьями.

Давенант оставался в замкнутом мире бреда, из которого вышел не скоро. Он был в доме Футроза, и его беспрерывно звали то старшая, то младшая сестра: починить водопроводный кран, повесить картину, прочесть вслух книгу, закрыть окно или подать кресло. Он делал все это охотно, увлеченно, лежа на койке больницы Красного Креста с воспалением мозга.

Часть II

Глава I

Дорога из Тахенбака в Гертон, опускаясь с гор в двенадцати километрах от Гертон, заворачивает у моря крутой петлей и выходит на равнину. Открытие серебряной руды неподалеку от Тахенбака превратило эту скверную дорогу в очень недурное шоссе.

Над сгибом петли дороги, примыкая к тылу береговой скалы, стояла гостиница – одноэтажное здание из дикого камня с односкатной аспидной крышей и четырехугольным двориком, где не могло поместиться сразу более трех экипажей. Из окон гостиницы был виден океан. Пройти к нему отнимало всего две минуты времени.

Эта гостиница называлась «Суша и море», о чем возвещала деревянная вывеска с надписью желтой краской по голубому полю, хотя все звали ее «гостиницей Стомадора» – по имени прежнего владельца, исчезнувшего девять лет назад, не сказав, куда и зачем, и обеспечившего новому хозяину, Джемсу Гравелоту, владение брошенным хозяйством законно составленной бумагой. В то время Гравелоту было всего семнадцать лет, а гостиница представляла собою дом из бревен с двумя помещениями. Через два года Гравелот совершенно перестроил ее.

История передачи гостиницы Стомадором не составляла секрета; именно о том и разговаривался Гравелот с возвращающимся в Гертон живописцем вывесок Баркетом. Баркет и его дочь Марта остановили утром свою лошадь у гостиницы, зайдя поест.

У хозяина были слуги – одна служанка и один работник. Служанка Петрония ведала стряпню, провизию, уборку и стирку. Все остальное делал работник Фирс. Гравелот слыл потешным холостяком; подозревали, что он носит не настоящее свое имя, и размышляли о его манере обращения и разговора, не отвечающих сущности трактирного промысла. Окрестные жители еще помнили общее удивление, когда стало известно, что гостиницей завладел почти мальчик, работавший вначале один и все делавший сам. У него был шкаф с книгами и виолончель, на которой он выучился играть сам. Он не любезничал со служанкой и никого не посвящал в смысл своих городских поездок. Кроме того, Гравелот исключительно великолепно стрелял и каждый день упражнялся в стрельбе за гостиницей, где между зданием и скалой была клинообразная пустота. Иногда, если шел дождь, эта стрельба происходила в комнате. Такой хозяин гостиницы вызывал любопытство, временами выгодное для его кошелька. Гравелот нравился женщинам и охотно шутил с ними, но их раздражал тот оттенок задумчивого покровительства, с каким он относился к их почти всегда детскому бытию. Поэтому он нравился, но не имел такого успеха, который выражается прямой атакой кокетства.

Разговор о Стомадоре начался с вопроса Баркета: съездит ли Гравелот в Гертон посмотреть дела и развлечения свадебного сезона.

Гости и Гравелот сидели за одним столом. Гравелот велел подать свой завтрак на общий стол.

– Там будут различные состязания. Между прочим, конкурс стрельбы, а вы, как говорят, дивный стрелок, – сказал Баркет, знавший Гравелота, так как несколько раз останавливался у него, возвращаясь из Тахенбака.

– Едва ли поеду. Я стреляю хорошо, – без ложной скромности согласился Гравелот. – Од-

нако в Гертоне идет теперь другого рода стрельба – по дичи, не согласной иметь даже царапину на своей нежной коже. Девять лет назад попал я в эти места – тоже к разгару свадебного сезона.

– Говорят, что вы купили у Тома Стомадора гостиницу. Действительно так?

– О нет! Все произошло очень странно. Я шел из Лисса и остановился здесь ночевать. Утром Стомадор сделал предложение отдать гостиницу мне, – он решил ее бросить и переселиться в Гель-Гью. Гостиница не давала ему дохода: место глухое, дорога почти пустынная, хотя он и сказал, что «тут дело не в этом».

– Странный человек! – заметил Баркет. – Он взял с вас деньги?

– Денег у меня не хватило бы купить даже Стомадорова поросенка. Он ничего не взял и ничего не просил. «Ты человек молодой, – сказал мне Стомадор, – бродишь без дела, и раз ты мне подвернулся, то бери, если хочешь, эту лачугу и промышляй». Я согласился. Мне было все равно. В шкафу и кладовой остались кое-какие запасы, к тому же – готовое помещение, две свиньи, семь кур. Я мог жить здесь и работать у фермеров. На доходы я не надеялся.

– Как же он ушел? – спросила Марта.

– С мешком за плечами. Лошадь и повозку он уже продал. Ну, мы составили у нотариуса в Тахенбаке бумагу о передаче гостиницы мне. Стомадор даже сам оплатил расходы и, прощаясь, сказал: «Ничего у меня не вышло с „Сушей и морем“. Может быть, выйдет у тебя».

– По-моему, этот Стомадор какой-то ненормальный тип! – заметила круглолицая розовая Марта, поклонница вещей ясных и точных.

– Едва ли, – ответил Гравелот. – У него была, может быть, особая мысль. Он был одинок. Как знать, о чем думает человек? Встретил он меня дико, это так; я спросил поесть. Стомадор стоял у окна, заложив руки за спину. «Очень мне надо заботиться о тебе», – сказал он. «Но ведь вы хозяин?» – «Да, а что же из этого?» – «То, что я должен был обратиться к вам, вот я обратился и спросил поесть. Я заплачу». – «Но почему я должен тебя кормить? – закричал Стомадор. – Какая связь между тем, что я хозяин, и тем, что ты голоден?» Я так удивился, что замолчал. Стомадор успокоился и заявил: «Ищи, где хочешь, что найдешь, то и ешь». Я решил прямо толковать его слова и вытащил из шкафа за стойкой три бутылки вина, масло, окорок, холодный рис с перцем, пирог с репой, все снес на стол и молча принялся за еду, а Стомадор ехидно смотрел. Наконец он рассмеялся и сказал: «Экий ты дурак! Кто ты такой?» Вдруг он стал очень заботлив ко мне, ничего не расспрашивая о том, как я жил раньше. Забавный, грузный человек тронул меня до слез. Он постлал мне постель, заставил вымыться горячей водой, а утром показал убогое хозяйство свое – почти что пустые стены – и передал гостиницу довольно торжественно. Мы даже выпили по этому случаю. Сказав: «Будь счастлив!» – он ушел, и я больше о нем ничего не знаю...

– Конечно, простая случайность, – подтвердил Баркет.

– Случайность... Случайность! – отозвался Гравелот после короткого раздумья о словах живописца вывесок. – Случайностей очень много. Человек случайно знакомится, случайно принимает решения, случайно находит или теряет. Каждый день полон случайностей. Они не изменяют основного направления нашей жизни. Но стоит произойти такой случайности, которая трогает основное человека – будь то инстинкт или сознательное начало, – как начинают происходить важные изменения жизни или остается глубокий след, который непременно даст о себе знать впоследствии.

Марта и Баркет плохо поняли Гравелота, думая:

«Да, странный человек этот молодой трактирщик, должно быть, он образованный человек, скрывающий свое прошлое».

– Рассуждение основательное, – сказал Баркет, – но дайте, как говорится, пример из практики.

– Вот вам примеры: человек видит проходящую женщину, о такой он мечтал всю жизнь, он знакомится с ней, женится или погибает. Голодный находит кошелек в момент, когда предчувствует, что его ждет выигрыш, заходит в клуб и выигрывает много денег. В село приезжает моряк. Оживают мечты о путешествиях у какого-нибудь мечтателя. Ему дан толчок, и он уходит бродить по свету. Или человек, когда-то думавший покончить с собой, видит горизонтальный

сук, изогнутый с выражением таинственного призыва... Возможно, что несчастный повесится, так как откроются его внутренние глаза, обращенные к красноречиво-притягательной силе страшного дерева. Однако все это минует следующих людей: богатого – с находкой кошелька, черствого – с женщиной, домоседа – с моряком и торопящегося к поезду – с горизонтальной ветвью, удобной для петли. Если бы я девять лет назад имел важную, интересную цель, – предложение Стомадора никак не могло быть моей случайностью, я отказался бы. Его предложение попало на мою безвыходность.

– В самом деле! – захохотал Баркет. – Как это вы того... здорово обрисовали.

– Постой, постой! – воскликнула Марта. – Пусть он скажет, как считать, если человек выиграл в лотерею? Не ожидал выиграть, а получил много, поправил дела, разбогател. Это как?

– А так, Марта: покупающий билет всегда хочет и надеется выиграть. Это – сознательное усилие, не случайность.

– Так какой же ваш вывод? – осведомился Баркет. – То есть – итог?

– Вот какой: все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, – не случайность. Оно – в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием.

– Вот, – сказала Марта, – я оступилась, сломала ногу, это – как?

– Не знаю, – уклонился Гравелот от ответа, чтобы избежать сложного объяснения, непонятного девушке. – Впрочем, тут – другой порядок явлений.

– Как сбился, так уж и другой порядок. Все рассмеялись. Затем разговор перешел на обсуждение свадебного сезона. Марте в будущем году тоже предстояло сделаться женой – паровозного машиниста, – а потому она с удовольствием слушала речи отца и Гравелота.

– Нынешний сезон проходит очень оживленно, – говорил Баркет, – и я мог бы перечислить десятки семейств, где венчаются. На днях венчается Ван-Конет, сын губернатора Гертон, Пейвы и Сан-Фуэго; говорят, он сам, этот Ван-Конет, года через два получит назначение в Мейклу и Саардан.

– Желаю, чтобы юная губернаторша наделала хлопот только в кондитерских, – сказал Гравелот. – Кто же она?

– Она могла бы наделать хлопот даже у амстердамских бриллианщиков, – заявил Баркет с гордостью человека, имеющего счастье быть соотечественником знаменитой невесты. – Консуэло Хуарец уже восемнадцать лет, но действительно, как говорят, она еще ребенок. Сам брак ее указывает на это. Ведь Ван-Конет ведет грязную, развратную жизнь. Она не красавица, бедняжка, но более милого существа не сыщите вы от Покета до Зурбагана.

– Почтенный Баркет, не испортите же вы мне день, сказав, что Консуэло крива, горбата и говорит в нос? Я любитель красивых пар.

– Я ее видела, – заявила Марта, – она действительно некрасива и много смеется.

– Вот так всегда с женщинами: не любят они друг друга, – заметил Баркет и принялся объяснять. – Разговор не о безобразии. Я хочу сказать, что девушка с двумястами тысяч фунтов приданого, если она не ослепительно красива, всегда даст повод к злословию. Наверное, скажут, что у жениха больше ума, чем любви. Консуэло Хуарец очень привлекательна, отраднa, и все такое, но, понятно, не совершенство безупречной, аттической красоты. Однажды я видел, как она шла с собакой по улице. Прелестная девушка, настоящий апельсиновый цветок!

Улыбнувшись такому смешению восторга и педантизма, Гравелот выразил надежду, что сын губернатора оценит достоинства своей жены после того, как она будет гулять с ним и собакой вместе.

– Остроумный вывод, – сказал Баркет. – Только навряд ли Георг Ван-Конет оценит то утешение, а может быть, даже искупление, которое посылает ему судьба. Большого негодяя не сыщите вы от Клондайка до Огненной Земли.

– Если так, – что заставляет девушку бросаться в его объятия?

– Она любит его. Что вы хотите? Это всему решение. Собеседники не подозревали, что им придется через несколько минут увидеть жениха Консуэло Хуарец. В это утро Ван-Конет со своей компанией возвращался из поездки на рудники. Близость бракосочетания заставила Ван-Конета, во избежание роковых слухов, устроить очередную оргию в доме знакомого рудничного

инспектора. За окном пропела сирена, и у дверей остановился темно-зеленый автомобиль. Баркет посмотрел в окно. Его лицо вытянулось.

– Накликали! – вскричал Баркет. – Приехал Ван-Конет, отвалилась моя голова! Это он!

– Ты шутишь! – сказала Марта, волнуясь от неожиданности и почтения.

Гравелот не побежал навстречу приехавшим, Он спокойно сидел. Отец с дочерью удивленно смотрели на него.

– Еще нет девяти часов. Он едет из Тахенбака. Что это значит? – пробормотал Баркет.

– Кутил всю ночь, я думаю, – шепнула Марта, рассматривая выходящих из экипажа людей. – Там – Ван-Конет, его любовница Лаура Мульдвей и двое неизвестных. Уже знойно, а они все в цилиндрах. О! Подвыпивши.

– Ты права, разумная дочь, – сказал Баркет. Гравелот поднялся встретить гостей. Он подошел к раскрытой двери, наблюдая гуливого жениха. Это был высокий брюнет с безупречно правильными чертами лица, тридцати пяти лет. Его прекрасное лицо выглядело надменно-скорбным, как будто он давно примирился с необходимостью жить среди недостойных его существ. Держась с затрудненной твердостью, Ван-Конет всходил по деревянной лестнице «Суши и моря», неся на сгибе локтя тонкие холодные пальчики Лауры Мульдвей, своей приятельницы из веселого мира холостых женщин. Высокая белокурая Лаура Мульдвей, с детским лицом и чистосердечными синими глазами, гибкостью тонкой фигуры напоминала колеблющуюся от ветра ленту. Зеленый жакет, серая шляпа с белым пером и серые туфельки Лауры стеснили Марте дыхание. Сзади шли Сногден и Вейс. Сногден, приятель Ван-Конета, сутуловатый и нервный, с темными баками на смуглом умном лице, пошатывался рядом с Вейсом, хозяином недавно прибывшей в Гертон яхты, веснушчатым сонным человеком, белые ресницы которого прикрывали нетвердый и бестолковый взгляд.

– Эй, любезный! – сказал Ван-Конет Гравелоту, которого можно теперь называть его настоящим именем – Давенант. – Поездка утомительна, жара ужасна, и жажда велика. Сногден, я должен восстановить твердость руки, я послезавтра подписываю брачный контракт. Я не хочу, как уверяет Сногден, посадить кляксу.

Говоря так, он вместе с другими уселся за стол, напротив того стола, где сидели Баркет с дочерью. Сногден подошел к буфету, сам выбрал вино, и Петрония, служанка Давенанта, приносила четыре бутылки. Есть никто не хотел, а потому были поданы только чищенные орехи и сушеные фрукты.

– Да, я посажу кляксу, – повторил Ван-Конет, проливая вино. – Но я застрелю эту муху, Лаура, если она не перестанет мучить ваше мраморное чело.

Действительно, одна из немногочисленных мух усердно надоедала женщине, садясь на лицо. Лаура с трудом прогнала ее.

– После такой ночи, – сказал Сногден, – я взялся бы подписать разве лишь патент на звание мандарина.

Несколько обеспокоенный, Давенант внимательно следил за Ван-Конетом, который, заботливо согнав со щеки Лауры возвратившуюся досаждать муху и приметив, куда на простенок она села, начал целиться в нее из револьвера. Марта закрыла уши. Ван-Конет выстрелил.

Зрители, умолкнув, взглянули на место прицела и увидели, что дыра в штукатурке появилась не очень близко к мухе. Та даже не улетела.

– Мимо! – заявил Сногден, в то время как охотник прятал свой револьвер в карман. – Бросьте, Георг. Очень громко. Вы слышали, – обратился Сногден к Вейсу, – историю двойного самоубийства? Это произошло вчера ночью. Двое попали друг другу в лоб.

– В двух шагах?

– В пяти дюймах. Мне сказал за игрой Бекль. В гостинице «Генуя» застрелились влюбленные. Хозяин горюет, так как возник слух, что из-за этих смертей все браки нынешнего года будут несчастны. Ясно, что гостиница опустела.

– Тыфу! – плюнул Ван-Конет. – Не каркайте. Пусть предсказывают, кто и как хочет. Я же нюсь на своей обезьянке и залезу в ее защечные мешочки, где спрятаны сокровища.

, – Осмелюсь спросить, – почтительно обратился Баркет к знатному посетителю. – Как

произошло такое несчастье? Филипп Баркет, к вашим услугам, мастерская вывесок, Безлюдная улица. 6, а также транспаранты, бенгальские огни, если позволите... Печальное происшествие!

Ван-Конет хотел пропустить вопрос мимо ушей, но заметил розовое лицо Марты и не сдержал бессмысленного позыва – коснуться, хотя бы словами, свежести девушки, задевшей его фантазию.

– Как? Милейший, я не знаток. Должно быть, утолив свою страсть, оба поняли, что игра не стоит свеч.

Марта покраснела под прищуренным на нее взглядом Ван-Конета и без нужды переместила тарелку.

– Странное объяснение! – заметил Давенант, тихо смеясь.

Все с удивлением посмотрели на хозяина гостиницы, осмелившегося перебить Ван-Конета.

Ван-Конет, выпрямившись, думал о том же. Наконец, двинув бровью, он снизошел до ответа:

– Чем оно странно? Я нахожу, между прочим, что эта гостиница... странная. А можете вы попасть в муху? Мне кажется, меткости ваших замечаний должно отвечать еще какое-нибудь точное качество.

Не поняв скрытой пьяной угрозы и желая смягчить неловкость, Баркет набрался духом, заявив:

– Гравелот – первоклассный стрелок, не имеющий, я думаю, равных себе.

– А! В самом деле? Я обижен, – сказал Ван-Конет, начиная скучать.

– Но я тоже стрелок! – заявил Вейс. Захотев от скуки стравить всех, Лаура обратилась к Давенанту:

– Ах, покажите ваше искусство! Ведь это все хвастуны.

– Как, и я?! – воскликнул Ван-Конет.

– Ну, вы, пожалуй, еще не очень плохой стрелок.

– Мы все – стрелки, – сказал Сногден. Опять села муха на подбородок Лауры, и она махнула рукой перед лицом, сгоняя докучное насекомое.

– Хозяин! Застрелите муху с того места, где стоите! – приказал Ван-Конет.

– В случае удачи – плачу гинею. Вот она где сидит! На том столе.

Действительно, муха сидела на соседнем пустом столе, у стены, ясно озаряемая лучом.

– Хорошо, – покорно сказал Давенант. – Следите тогда.

– Наверняка промажете! – крикнул Сногден. От буфета до стола с мухой было не менее пятнадцати шагов.

– Ставлю еще гинею!

Давенант задумчиво взглянул на него, вытащил свой револьвер с длинным стволом из касового ящика и мгновенно прицелился. Пуля стругнула на поверхности стола высоко взлетевшую щепку, и муха исчезла.

– Улетела? – осведомился Вейс.

– Ну нет, – вступилась Мульдвей. – Я смотрела внимательно. Моя муха растворилась в эфире.

– Гинея ваша, – отозвался Ван-Конет. Став угрюм, он бросил деньги на стол. Сногден призвал служанку и отдал ей гинею для Давенанта.

Все были несколько смущены.

Давенант взял монету, которую принесла служанка, и внятно сказал:

– Эти деньги, а также и те, что лежат на столе, вы, Петрония, можете взять себе.

– Случайное попадание! – закричал Ван-Конет, разозленный выходкой Гравелота. – Попробуйте-ка еще, а? На приданое Петронии, а?

– Отчего бы и не так, – сказал Давенант. – Шесть пуль осталось, и, так как муху мы уже наказали, я вобью пулю в пулю. Хотите?

– А черт! – крикнул Сногден. – Вы говорите серьезно?

– Серьезно.

– Получайте шесть гиней, – заявил Ван-Конет.

– Игра неравная, – вмешался Вейс. – Он должен тоже что-нибудь платить со своей стороны.

– Двенадцать гиней, хотите? – предложил Давенант.

– Ну вот. И все это – Петронии, – сказал Ван-Конет, оглядываясь на пылающую от счастья и смущения женщину.

Противоположная буфету стена была на расстоянии двадцати шагов. Давенант выстрелил и продолжал колотить пулями в стену, пока револьвер не опустел. В штукатурке новых дырок не появилось, лишь один раз осыпался край глубоко продолбленного отверстия.

– А! – сказал с досадой Ван-Конет после удрученного молчания и крика «Браво!» Лауры, аплодировавшей стрелку. – Я, конечно, не знал, что имею дело с профессионалом. Так. И все это – ради Петронии. Плачу тоже двенадцать гиней. Я не нищий. Для Петронии. Получите деньги.

На знак хозяина трепещущая служанка взяла деньги, сказав:

– Благодарю вас. Прямо чудо.

Она засуетилась, потом стала у двери, блаженно ежась, вся потная, с полным кулаком денег, засунутым в карман передника.

Марта тихо смеялась. Ван-Конету показалось, что она смеется над ним, и он захотел ее оскорбить.

– Что, пышнощекая дева... – начал Ван-Конет; услышав торопливые слова Баркета: «Моя дочь, если позволите», – он продолжал: – Достойное и невинное дитя, вы еще не вошли в игру с колокольным звоном и апельсиновым цветом? Гертон полон дураков, которые надеются остаться ими «до гробовой доски». А вы как? А?

– Марта выйдет замуж в будущем году, – почтительно проговорил Баркет, желая выручить смутившуюся девушку. – Гуг Бурк вернется из плавания, и тогда мы нарядим Марту в белое платье... Хе-хе!

– Отец! – воскликнула, краснея от смущения, Марта, но тут же прибавила: – Я рада, что это произойдет в будущем году. Может быть, смерть тех двух, застрелившихся, окажется для нас нынче несчастной приметой.

– Ну, конечно. Мы будем справлять поминки, – ответил Ван-Конет. – Сногден, как зовут тех ослов, которые продырявили друг друга? Как же вы не знаете? Надо узнать. Забавно. Не выходите замуж, Марта. Вы забеременеете, муж будет вас бить...

– Георг, – прервала хлесткую речь Лаура Мульдвей, огорошенная цинизмом любовника, – пора ехать. К трем часам вы должны быть у вашей невесты.

– Да. Проклятие! Клянусь, Лаура, когда я захвачу обезьянку, вы будете играть золотом, как песком!

– Э... Э... – смущенно произнес Вейс. – насколько я знаю, ваша невеста очень любит вас.

– Любит? А вы знаете, что такое любовь? Поплеывание в дверную щель.

Никто ему не ответил. Лаура, побледнев, отвернулась. Даже Сногден нахмурился, потирая висок. Баркет испугался. Встав из-за стола, он хотел увести дочь, но она вырвала из его руки свою руку и заплакала.

– Как это зло! – крикнула она, топнув ногой. – О, это очень нехорошо!

Взбешенный резким поведением хозяина, собственной наглостью и мрачно вещающим ссору Лауры, так ясно аттестованной золотыми обещаниями разошедшегося джентльмена, Ван-Конет совершенно забылся.

– Ваше счастье, что вы не мужчина! – крикнул он плачущей девушке. – Когда муж наставит вам синяки, как это полагается в его ремесле, вы запоете на другой лад.

Выйдя из-за стойки, Давенант подошел к Ван-Конету.

– Цель достигнута, – сказал он тоном решительного доклада. – Вы смертельно оскорбили девушку и меня.

Проливной дождь, хлынувший с потолка, не так изумил бы свидетелей этой сцены и самого Ван-Конета, как слова Давенанта. Баркет дернул его за рукав.

– Пропадете! – шепнул он. – Молчите, молчите! Сногден опомнился первым.

– Вас оскорбили? – закричал он, бросаясь к Тиррею. – Вы.. как, бишь, вас?.. Так вы тоже

жених?

– Все для Петронии, – пробормотал, тешась, Вейс.

– Я не знаю, почему молчал Баркет, – ответил Давенант, не обращая внимания на ярость Сногден-на и говоря с Ван-Конетом, – но раз отец молчал, за него сказал я. Оскорбление любви есть оскорбление мне.

– А! Вот проповедник романтических взглядов! Напоминает казуара перед молитвенником!

– Оставьте, Сногден, – холодно приказал Ван-Конет, вставая и подходя к Давенанту. – Любезнейший цирковой Немврод! Если, сию же минуту, вы не попросите у меня прощения так основательно, как собака просит кусок хлеба, я извещу вас о моем настроении звуком пощечины.

– Вы подлец! – громко сказал Давенант. Ван-Конет ударил его, но Давенант успел закрыть-ся, тотчас ответив противнику такой пощечиной, что тот закрыл глаза и едва не упал. Вейс бросился между ними.

В комнате стало тихо, как это бывает от сознания непоправимой беды.

– Вот что, – сказала Вейсу Мульдвей, – я сяду в автомобиль. Проводите меня.

Они вышли.

Сногден подошел к Ван-Конету. У покинутого стола находились трое: Давенант, Сногден и Ван-Конет. Баркет, наспех собрав поклажу, отвел Марту на двор и кинулся запрягать лошадь.

Давенант слышал разговор, отлично понимая его оскорбительный смысл.

– С трактирщиком? – сказал Ван-Конет.

– Да. – ответил тот. – Таково положение.

– Слишком большая честь. Но не в том дело. Вы знаете, в чем.

– Как хотите. В таком случае моя роль впереди.

– Благодарю, вы – друг. Эй, скотина, – обратился Ван-Конет к Давенанту, – мы смотрим на тебя, как на бешенное животное. Дуэли не будет.

– Если вы откажетесь от дуэли, – неторопливо объяснил Давенант, – я позабочусь, чтобы ваша невеста знала, на какой щеке у вас будут лучше расти волосы.

Эти взаимные оскорбления не могли уже вызвать нового нападения ни с той, ни с другой стороны.

– Вы знаете, кому говорите такие замечательные вещи? – спросил Сногден.

– Георгу Ван-Конету я говорю их.

– Да. А также мне. Я – Рауль Сногден.

– Двое всегда слышат лучше, чем один.

– Что делать? – сказал Ван-Конет. – Вы видите, – этот человек одержим. Вот что: вас известят, так и быть, вам окажут честь драться с вами.

– Место найдется, – ответил Давенант. – Я жду немедленного решения.

– Это невозможно, – заявил Сногден. – Будьте довольны тем, что вам обещано.

– Хорошо. Я буду ждать и, если ваш гнев остынет, приму меры, чтобы он начал пылать. Наступило молчание.

– Негодай!.. Идем, – обратился Ван-Конет к Сногдену, медленно сходя по ступеням, в то время как Сногден вынимал деньги, чтобы расплатиться. Швырнув два золотых на покинутый стол, он побежал к автомобилю. Усевшись, компания исчезла в пыли знойного утра.

Задумавшись, Давенант стоял у окна, опустив голову и проверяя свой поступок, но не видел в нем ничего лишнего. Он был вынужденным, этот поступок.

Расстроенная Марта вскоре после того передала хозяину свою благодарность через отца, который уже собрался уехать. Он был потрясен, беспокоился и упрашивал Давенанта найти способ загладить страшное дело.

Давенант молча выслушал его и, проводив гостей, обратился к работе дня.

Глава II

Большую часть пути Ван-Конет молчал, ненавидя своих спутников за то, что они были

свидетелями его позора, но рассудок заставил его уступить требованиям положения.

– Я хочу избежать огласки, – сказал Ван-Конет Лауре Мульдвей. – Обещайте никому ничего не говорить.

Лаура знала, что Ван-Конет вознаградит ее за молчание. Если же не вознаградит, – ее карты были сильны и она могла сделать безопасный ход на крупную сумму. Эта неожиданная удача так оживила Мульдвей, что она стала мысленно благословлять судьбу.

– На меня положиись, Георг, – сердечно-иронически шепнула ему Лаура. – Я только боюсь, что тот человек вас убьет. Не разумнее ли кончить все дело миром? Если он извинится?

– Поздно и невозможно, – Ван-Конет задумался. – Да, поздно. Сногден заявил от моего имени согласие драться.

– Как же быть?

– Не знаю. Я извещу вас.

– Ради бога, Георг!

– Хорошо. Но риск неизбежен.

Ван-Конет приказал шоферу остановиться у пригородной таверны и, кивнув Сногдену, чтобы тот шел за ним, расстался с Вейсом, которого тоже попросил молчать о тяжелом случае.

– Дорогой Георг, – ответил Вейс, – мне, каюсь, странно ваше волнение из-за таких пустяков, которое следовало там же, на месте, исправить сногшибательной дракой. Но я буду молчать, потому что вы так хотите.

– Дело значительно сложнее, чем вам кажется, – возразил Ван-Конет. – Характер и взгляды моей невесты решают, к сожалению, все. Я должен жениться на ней.

Вейс уехал с Лаурой, а Ван-Конет и Сногден вошли в таверну и заняли отдельную комнату.

Сногден, не имея состояния, обладал таинственной способностью хорошо одеваться, жить в дорогой квартире и поддерживать приятельские отношения с холостой знатью. Ходил слух, что он – шулер и шантажист, но, никогда не подкрепляемый фактами или даже косвенными доказательствами, слух этот был ему скорее на пользу, чем во вред, по свойству человеческого сознания восхищаться порядочностью, если ее атакуют, и неуловимостью, если она талантлива.

Догадываясь, что хочет от него Ван-Конет, которому вскоре надо было ехать к Консуэло Хуарец, Сногден предупредительно положил на стол часы, а затем распорядился подать ликеры и кофе.

– Сногден, я пропал! – воскликнул Ван-Конет, когда слуга удалился. – Пощечина приклеена крепко, и не сегодня, так завтра об этом узнают в городе. Тогда Консуэло Хуарец, со свойственной ее нации театральной отвагой, будет ждать моей смерти от пули этого Гравелота, потом нарыдается досыта и уйдет в монастырь или отравится.

– Вы хорошо ее знаете?

– Я ее достаточно хорошо знаю. Это смесь патоки и гремучего студня.

– Несомненно, дядя Гравелот – идеальный стрелок, – заговорил Сногден, после продолжительного размышления и вполне обдумав детали своего плана. – Даже тяжело раненный, если вы успеете выстрелить раньше, Гравелот отлично поразит вас в лоб или нос, куда ему вздумается.

– Не хватает еще, чтобы вы так же игриво нарисовали картину моих похорон.

– Примите это как размышление вслух, Ван-Ко-нет, – я не хочу вас ни дразнить, ни мучить, а потому скорее разберем наши возможности. Примирение отпадает.

– Почему? – быстро спросил Ван-Конет, втайне надеявшийся замять дело хотя бы ценой нового унижения. Потому что он вам дал пощечину, а также потому, что мы не можем быть уверены в скромности Гравелота: идя мириться, рискуем наскочить на отказ. Ведь вы первый его ударили.

Ван-Конет сжал виски, мрачно смотря в рюмку. Вздохнув, он улыбнулся и выпил.

– Ничего не понимаю. Сногден, помогите! Выручите меня! После кошмарной ночи с этой Мульдвей у меня в голове сплошная вопль. Я теряюсь.

– Георг, – громко сказал Сногден, тряся за плечо приятеля, который, уронив лицо в ладони, сидел полумертвый от страха и ненависти, – я вас спасу.

– Ради чертей, Рауль! Что вы можете сделать?

– Прежде чем сказать что, я требую слепого доверия.

– Я на все согласен.

– Слепое доверие есть главное условие. Второе: я должен действовать немедленно. Для моих действий мне нужны наличные деньги.

Ван-Конет не был скуп, в чем Сногден убеждался довольно часто. Но, когда Сногден назвал сумму – три тысячи, – Ван-Конет нахмурился и несколько охладел к спасительному авторитету приятеля.

– Так много? Для чего вам столько денег?

– Мною записаны имена свидетелей. Баркет, его дочь, служанка и сам Гравелот, – объяснил Сногден так серьезно, что Ван-Конет покоробился. – Со всеми этими людьми я добьюсь их молчания. Гравелот будет стоять дороже других, но с остальными я берусь устроить дешевле. Вейс уезжает сегодня. Лаура будет молчать, надеясь на благодарность впоследствии. Люди не сложны. Иначе я давно бы уже чистил прохожим сапоги или писал романы для воскресного приложения.

– Вы правы. Действуйте, – сказал Ван-Конет, вытаскивая книжку чеков. Написав сумму, он подписал чек и передал его Сногдену.

– Теперь, – сказал Сногден, спрятав чек, – я буду говорить откровенно.

– Самое лучшее.

– Прекрасно. Мы – люди без предрассудков. Я устрою ваше дело, но только в том случае, если вы выдадите мне теперь же вексель на два месяца, на сумму в десять тысяч фунтов.

Ван-Конет не был так глуп, чтобы счесть эти напряженные, жестко сказанные слова шуткой. Внешне оставшись спокоен, Ван-Конет молчал и вдруг, страшно побледнев, хватил кулаком о стол с такой силой, что чашки слетели с блюдцев.

– Что за несчастный день! – крикнул Ван-Конет. – Неужели все пошло к черту? И вы – вы, Сногден, грабите меня?! Как это понять? Я знаю, что вы не брезгуете подачками, я знаю о вас больше, чем кто-нибудь. Но я не знал, что вы так злобно воспользуетесь моим несчастьем.

Сногден взял трость и бросил чек на стол.

– Вот чек, – сказал он, испытывая громадное удовольствие игры, со всей видимостью риска, но при успокоительном сознании безопасности. – Я корыстен, вернее, я – человек дела. Ваш чек не вдохновляет меня. Прощайте. Я не считаю эту ссору окончательной, и завтра, если будет еще не поздно, вы сможете возобновить наши переговоры, когда десять тысяч покажутся вам не так значительны, чтобы из-за них стоило лишиться остального.

– Сногден, вы меня оглушили, – сказал Ван-Конет, видя, что его друг направляется к двери, и проклиная свою вспыльчивость. – Не уходите, а выслушайте. Я согласен.

– Боже мой! – заговорил Сногден, так же решительно возвращаясь к своему стулу, как покинул его, и опускаясь с видом изнеможения. – Боже мой! За те пять лет, что я вас знаю, Георг, – начиная вашим проигрышем Кольберу, когда понадобилось перетряхнуть мощну всех ростовщиков и я, как собака, носился из Гертон в Сан-Фуэго, из Сан-Фуэго в Покет и опять в Гертон, – с тех дней до сегодняшнего утра я был уверен, что в вас есть признательность заговорщика, обязанного своему собрату по обстоятельствам той жизни, которую вы вели главным образом благодаря мне. Я уже не говорю о случае с несовершеннолетней Матильдой из дамского оркестра, когда вам угрожал суд. Я не говорю о моих хлопотах перед вашим отцом, о деньгах для мнимого отступного Смигу, якобы грозившему протестовать поддельный вексель, которого не было. Не говорю я и о спекуляциях, принесших, опять-таки благодаря мне, вашей милости двенадцать тысяч за контрабанду. Не говорю я также о множестве случаев моей помощи вам, попадавшему в грязные истории с женщинами и газетчиками. Я не говорю о Лауре, которую буквально выцарапал для вас из алькова Вагрена. Но я говорю о чести.. Нет, дайте мне сказать все. Да, Ван-Конет, у людей нашего закала есть честь, и честь эта носит имя: «взаимость». Лишь чувство чести заставляет меня напоминать вам о ней. Теперь, когда я мог бы воспитать своего мальчика порядочным человеком, не знающим тех чадных огней греха, в каких сжег свою жизнь его приемный отец, вы ударом кулака по столу заявляете, что я грабитель и негодяй. Я был бы смешон и жалок, если бы я был бескорыстен, так как это означало бы мою беспомощность спасти вас. Для такого

дела нужен человек, подобный мне, не стесняющийся в средствах. Кроме того, я ваш друг, и согласитесь, что корыстный друг лучше бескорыстного врага. Однако вам пора отрезвиться и ехать. Пишите вексель.

Говоря о мальчике, Сногден не сочинял. Восемь лет назад, выиграв крупную сумму, он из прихоти купил у какой-то уличной нищенки грудного младенца и нанял ему кормилицу. Впоследствии он привязался к мальчику и очень заботился о нем.

– Так вот цена мухи! Вексель я дам, – сказал Ван-Конет, которому, в сущности, не оставалось ничего иного, как подчиниться уверенности и опыту Сногдена. – Есть ли у вас бланк?

– У меня есть про запас решительно все. Сногден передал Ван-Конету бланк и, когда слуга принес чернила, стал искоса наблюдать, что пишет Ван-Конет.

По окончании этого дела Сногден сложил вексель и откровенно вздохнул.

– Так будет лучше, Георг, – сказал он рассудительным тоном взрослого, успокаивающего ребенка, – уж вы поверьте мне. Крупная сумма воспламеняет способности и усиливает изобретательность.

– Но, черт побери, посвятите же меня в ваши затеи!

– К чему? Я, должен вам сказать, не люблю критики. Она расхолаживает. Что же касается моих действий, они так неоригинальны, что вы впадете в сомнения, тогда как я отлично знаю себя и абсолютно убежден в успехе.

– О, как я буду рад, Сногден. Могу ли я спокойно ехать к Консуэло?

– Да. Можете и должны.

– Но, Сногден, допустим невероятное для вашего самолюбия – что вы спасете.

– Я отдам вексель вам, и вы при мне разорвете его, – твердо заявил Сногден. – Отправляйтесь и ждите у Хуарец. Я извещу вас.

Ван-Конет несколько успокоился. Они расплатились, вышли и направились в противоположные стороны. Сногден так и не сказал, что хочет предпринять, а Ван-Конет поехал брать ванну и собираться к своей невесте.

Глава III

Молоденькая невеста Ван-Конета, Консуэло Хуарец, была единственное дитя Педро Хуареца, разбогатевшего продажей земельных участков. Владелец табачных плантаций и сигаретных фабрик, депутат административного совета, человек, вышедший из низов, Хуарец стал очень богат лишь к старости. Его жена была дочерью скотопромышленника. Десятилетнюю Консуэло родители отправили в Испанию, к родственникам матери. Там она окончила пансион и вернулась семнадцатилетней девушкой. Таким образом, легкомысленные нравы гертонцев не влияли на Консуэло. Она приехала незадолго до годового праздника моряков, который устраивался в Гертоне 9 июня в память корабля «Минерва», явившегося на Гертонский рейд 9 июня 1803 года. Танцуя, Консуэло познакомилась с Ван-Конетом и вскоре стала его любить, несмотря на репутацию этого человека, которой, как ни странно, она верила, спокойно доказывая себе и не желавшему этого брака расстроенному отцу, что ее муж станет другим, так как любит ее. На взгляд Консуэло, ничего не знавшей о жизни, сильная любовь могла преобразить даже отъявленного бандита. Немного она ошибалась в этом, и разве лишь потому, что такая любовь действует только на сильных и отважных людей.

Как следствие прямого и доверчивого характера Консуэло, важно рассказать, что она первая призналась Ван-Конету в своей любви к нему и так трогательно, как это способно выразить только неопытное существо. Всякий избранник Консуэло на месте Ван-Конета, чувствуя себя наполовину прощенным, крепко задумался бы, прежде чем взять важное обязательство охранять жизнь и судьбу девушки, дарящей сердце так легко, как протягивают цветок. Ван-Конет притворился влюбленным ради богатого приданого, несколько недоумевая, при всех успехах своих среди женщин, как это жертва сама выбежала под его выстрел, когда он только еще изучал след. Его отец жаждал приданого больше, чем сын. Август Ван-Конет так погряз в долгах и растратах, что его служебное, а также материальное банкротство было лишь вопросом времени.

Два месяца сын губернатора прощался с холостой жизнью, более или менее успешно скрывая свои похождения. Приближался день брака, а сегодня Ван-Конет должен был приехать к невесте для разговора, который девушка считала весьма важным. Она хотела искренне, сердечно сказать ему о своей любви, чтобы затем взять с него обещание быть ей верным и настоящим другом. Это было естественное волнение девушки, смутно чувствующей всю важность своего шага и стремящейся к немедленному порыву всех лучших чувств как в себе, так и в избраннике, чтобы забежать сердцем в тайну близости многих лет, которые еще впереди.

Семья Хуарец обыкновенно не уезжала из пригородного имения, но за неделю до бракосочетания Консуэло с матерью переехали в городской дом, стоявший на возвышении за узкой Карантинной улицей, неподалеку от сквера и церкви св. Маврикия. Одноэтажный дом Хуареца представлял группу из трех белых кубов различной высоты, с плоскими крышами и каменной площадкой лицевого фасада, на которую поднимались по ступеням. Площадка эта была обнесена чугунной решеткой. Отсюда виднелась часть крыш Карантинной и других улиц, прилегающих к ней, до отдаленных семиэтажных громад новейшей постройки. Восточная часть дома имела две террасы, расположенные рядом, одна выше другой. Внутренний двор, с балконами, фонтаном и пальмами среди клумб, был любимым местопребыванием Консуэло. Там она читала и размышляла, и туда горчицная мулатка провела Ван-Конета, приехавшего с опозданием на четверть часа, так как, расставшись со Сногденом, он занялся приведением в равновесие своих нервов, ради чего долго сидел в ванне и выпил мятный коктейль.

Баркет удачно определил Гравелоту впечатление, производимое Консуэло, а потому следует лишь взглянуть на нее так близко, как часто имел эту возможность Ван-Конет. При всем богатстве своем девушка любила простоту, чем сильно раздражала жениха, желавшего, чтобы финансовое могущество семьи, лестное для него, отражалось каждой складкой платьев его невесты. Для этого свидания Консуэло выбрала белую блузку с отложным воротником и яркую, как пион, юбку; на ее маленьких ногах были черные туфли и белые чулки. Тонкая золотая цепочка, украшенная крупной жемчужиной, обнимала смуглую шею девушки двойным рядом, в черных волосах стоял черепаховый гребень. Ни колец, ни серег Консуэло не носила. Кисти ее рук по сравнению с маленькими ногами казались рукой мальчика, но как в пожатии, так и на взгляд производили впечатление доброты и женственности. В общем, это была хорошенькая девушка с приветливым лицом, ясными черными глазами, иногда очень серьезными, и с очаровательными ресницами – легкая фигурой, небольшого роста, хотя подвижность, стройность и девически тонкие от плеча руки делали Консуэло выше, чем в действительности она была, достигая лишь подбородка Ван-Конета. Ее голос, звуча одновременно с дыханием, имел легкий грудной тембр и был так приятен, что даже незначительные слова звучали в произношении Консуэло скрытым чувством, направленным, может быть, к другим, более важным предметам сознания, но свойственным ее тону, как дыхание – ее речи.

С такой девушкой был помолвлен Ван-Конет. Встреченный матерью Консуэло, худощавой женщиной, отчасти напоминающей дочь, в темном шелковом платье, отделанном стеклярусом, Ван-Конет уделил несколько минут будущей теще, притворяясь, что ничего не интересует его, кроме невесты. Хотя у Винсенты Хуарец были живые, пронизательные глаза, некогда снившиеся многим мужчинам, но, поддакивая мужу и вздыхая вместе с ним, тайно она была на стороне Ван-Конета. Олицетворение элегантного порока, склонившегося перед сильным и свежим чувством, умиляло ее романтическую натуру. Кроме того, дочери скотовода грехи знатных лиц казались не следствием дурных склонностей, а лишь подобием причудливого, рискованного спорта, который нетрудно подменить идиллией.

Поговорив с ней, Ван-Конет ушел к невесте. Заметив его, Консуэло расцвела, зарделась. Ее взгляды выражали нежность и нетерпение говорить о чем-то безотлагательном.

Со скукой, угнетенный страхом дуэли, Ван-Конет, лицемеря осторожно и кротко, начал играть роль любящего – одну из труднейших ролей, если сердце играющего не тронута хотя бы симпатией. Если оно смеется, а любовь девушки безоглядная, успех игры обеспечен – нет стеснения ни в словах, ни в позах: будь спокоен, подозрительно ровен, даже мрачен и вял – сердце женское найдет объяснение всему, все оправдает и примет вину на себя.

Ван-Конет поцеловал руку Консуэло, но она обняла его, поцеловала в висок, отстранилась, взяла за руку и подвела к стулу.

– Идите сюда, сядьте... Садитесь, – повторила девушка, видя, что Ван-Конет задумался на мгновение. – Оставьте все ваши дела. Вы теперь со мной, а я с вами.

Они сели и повернулись друг к другу. Консуэло взяла веер. Обмахнувшись, девушка вздохнула. Глаза ее, смеясь и тревожась, были устремлены на молчаливого жениха.

– Я в страшной тоске, – сказала Консуэло. – Вы знаете, что произошло? Сегодня весь Гертон говорит о самоубийстве двух человек. Он ужасно любил ее, а она его. Как горестно, не правда ли? Им не давали жениться, а они не снесли этого. Только посмертная записка рассказывает причину несчастья. Там так и написано:

«Лучше смерть, чем разлука». Так написала она. А он приписал: «Мы не расстанемся. Если не можем вместе жить, то пусть вместе умрем». Теперь все говорят, что это – дурное предзнаменование и что те, кто обвенчается в нынешнем году, несчастливо кончат, да и жизнь их будет противной. Как вы думаете, не отложить ли нам брак до будущей весны? Мне что-то страшно, я так боюсь всего такого, и из головы не выходит. Вы уже слышали?

– Я слышал эту историю, – сказал Ван-Конет, беря из рук Консуэло веер и рассматривая живопись на слоновой кости. – Замечательная вещь. Но я так люблю вас, милая Консуэло, что суеверия не тревожат меня.

– О, вы меня любите! – тихо вскричала девушка, схватывая веер, причем Ван-Конет удержал его, так что их руки сблизилась. – Но это правда?

Консуэло рассмеялась, затем стала серьезной, и опять неудержимый счастливый смех, подобно утренней игре листьев среди лучей, осветил ее всю.

– Это правда? А если это неправда? Но я пошутила! – крикнула она, заметив, что левая бровь Ван-Конета медленно и патетически поднялась. – Ведь это так чудесно, что вот мы, двое, я и вы, так сильно, сильно, навсегда любим. Лучше не может быть ничего, по-моему. А как думаете вы?

– Я так же думаю. Мне кажется, что вы высказываете мои мысли.

– В самом деле? Я очень рада, – медленно произнесла Консуэло, отвертываясь и опуская голову с желанием вызвать торжественное настроение, но улыбка бродила на ее полураскрытых губах. – Нет! Мне весело, – сказала она, выпрямляясь и вздохнув всей грудью. – Я могу сидеть так долго и смотреть на вас. Всего не скажешь! Целое море слов, как волн в море. Так как же нам быть? Пожалуйста, успокойте меня.

Ван-Конет хотел оживиться, непринужденно болтать, но не мог. Ожидание известий от Сногдена черной рукой лежало на его стесненной душе. Консуэло заметила состояние Ван-Конета, и он заговорил в тот момент, когда она уже решила спросить, что с ним случилось.

– Какой смысл беспокоиться? – сказал Ван-Конет. – Все дело в том, что глупость, высказанная каким-нибудь одним человеком, приобретает вид чего-то серьезного, если ее повторит сотня других глупцов. Погибших, разумеется, жаль, но такие истории происходят каждый день, если не в Гертоне, то в Мадриде, если не в Мадриде, то в Вене. Вот и все, я думаю.

– Вы так уверенно говорите». Ах, если бы так! Но если человек обратит это на себя... если он не расстанется с печальными мыслями...

Консуэло запуталась и сама прервала себя:

– Сейчас я придумаю, как выразить. Вас как будто грызет забота. Разве я ошибаюсь?

– Я полон вами, – сказал, проникновенно улыбаясь, Ван-Конет.

– Ах да... Я поняла, как сказать свою мысль. Если человек полон счастья и боится за него, не может ли чужая трагедия оставить в душе след, и след этот повлияет на будущее?

– Клянусь, я с удовольствием воскресил бы гертонских Ромео и Джульетту, чтобы вас не одолевали предчувствия.

– Да. А воскресить нельзя! Странно, что моя мать вам ничего не сказала.

– Ваша матушка не хотела, должно быть, меня тревожить.

– Моя матушка... Ваша матушка... Ах-ах-ах! – укоризненно воскликнула Консуэло, передразнивая сдержанный тон жениха. – Ну, хорошо. Вы помните, что у нас должен быть серьезный

разговор?

– Да.

– Георг, – серьезно начала Консуэло, – я хочу говорить о будущем. Послезавтра состоится наша свадьба. Нам предстоит долгая совместная жизнь. Прежде всего мы должны быть друзьями и всегда доверять друг Другу. а также чтобы не было между нами глупой ревности.

Она умолкла. Одно дело – произносить наедине с собой пылкие и обширные речи, другое – говорить о своих желаниях внимательному, замкнутому Ван-Коне-ту. Поняв, что красноречие ее иссякло, девушка покраснела и закрыла руками лицо.

– Ну вот, я запуталась, – сказала она, но, подумав и открыв лицо, ласково продолжала: – Мы никогда не будем расставаться, все вместе, всегда: гулять, читать вслух, путешествовать, и горевать, и смеяться... О чем горевать? Это неизвестно, однако может случиться, хотя я не хочу, не хочу горевать!

– Прекрасно! – сказал Ван-Конет. – Слушая вас, не хочешь больше слушать никого и ничто.

– Не очень красивый образ жизни, который вы вели, – говорила девушка, – заставил меня долго размышлять над тем – почему так было. Я знаю: вы были одиноки. Теперь вы не одиноки.

– Клевета! Черная клевета! – вскричал Ван-Конет. – Карты и бутылка вина... О, какой грех! Но мне завидуют, у меня много врагов.

– Георг, я люблю вас таким, какой вы есть. Пусть это две игры в карты и две бутылки вина. Дело в ваших друзьях. Но вы уже, наверно, распростились со всеми ними. Если хотите, мы будем играть с вами в карты. Я могу также составить компанию на половину бутылки вина, а остальное ваше.

Она рассмеялась и серьезно закончила:

– Друг мой, не сердитесь на меня, но я хочу, чтобы вы сжали мне локоть.

– Локоть? – удивился Ван-Конет.

– Да, вы так крепко, горячо сжали мне локоть один раз, когда помогали перепрыгнуть ручей.

Консуэло согнула руку, протянув локоть, а Ван-Конет вынужден был сжать его. Он сжал крепко, и Консуэло зажмурилась от удовольствия.

– Вот хороша такая крепкая любовь, – объяснила она. – Знаете ли вы, как я начала вас любить?

– Нет.

Прошло уже три часа, как Ван-Конет предоставил Сногдену улаживать мрачное дело. Его беспокойство росло. С трудом сидел он, угнетенно выслушивая речи девушки.

– Вы стояли под балконом и смотрели на меня вверх, бросая в рот конфетки. В вашем лице тогда мелькнуло что-то трогательное. Это я запомнила, никак не могла забыть, стала думать и узнала, что люблю вас с той самой минуты. А вы?

Вопрос прозвучал врасплох, но Ван-Конет удачно вышел из затруднения, заявив, что он всегда любил ее, потому что всегда мечтал именно о такой девушке, как его невеста.

Дальше пошло хуже. Настроение Ван-Конета совершенно упало. Он усиливался наладить разговор, овладеть чувствами, вниманием Консуэло и не мог. Ни слов, ни мыслей у него не было. Ван-Конет ждал вестей от Сногдена, проклиная плеск фонтана и слушая, не раздадутся ли торопливые шаги, извещающие о вызове к телефону.

После нескольких робких попыток оживить мрачного возлюбленного Консуэло умолкла. Делая из деликатности вид, что задумалась сама, она смотрела в сторону; губки ее надулись и горько вздрагивали. Если бы теперь она еще раз спросила Ван-Конета: «Что с ним?» – то окончательно расстроилась бы от собственных слов. Несколько рассеяло тоску появление Винсенты, объявившей, что приехал отец. Действительно, не успел Ван-Конет пробормотать нескладную фразу, как увидел Педро Хуареца, тучного человека с угрюмым лицом. Взглянув на дочь, он понял ее состояние и спросил:

– Вы поссорились?

Консуэло насильственно улыбнулась.

– Нет, ничего такого не произошло.

– Я ругался с моей женой довольно часто, – сообщил старик, усаживаясь и вытирая лицо платком. – Ничего хорошего в этом нет.

Эти умышленно сказанные, резко прозвучавшие слова еще более расстроили Консуэло. Опустив голову, она исподлобья взглянула на жениха. Ван-Конет молчал и тускло улыбался, бессильный сосредоточиться. Бледный, мысленно ругая девушку грязными словами и проклиная невесело настроенного Хуареца, который тоже был в замешательстве и медлил заговорить, Ван-Конет обратился к матери Консуэло:

– Очень душно. Вероятно, будет гроза.

– О! Я не хочу, – сказала та, присматриваясь к дочери, – я боюсь грозы.

Снова все умолкли, думая о Ван-Конете и не понимая, что с ним произошло.

– Вам нехорошо? – спросила Консуэло, быстро обмахиваясь веером и готовая уже расплакаться от обиды.

– О, я прекрасно чувствую себя, – ответил Ван-Конет, взглянув так неприветливо, что лицо Консуэло изменилось. – Напротив, здесь очень прохладно.

Выдав таким образом, что не помнит, о чем говорил минуту назад, Ван-Конет не мог больше переносить смущения матери, расстройства Консуэло и пытливого взгляда старика Хуареца. Ван-Конет хотел встать и раскланяться, как появилась служанка, сообщившая о вызове гостя к телефону Сногденом. Не только оповещенный, но и все были рады разрешению напряженного состояния. Что касается Ван-Конета, то кровь кинулась ему в голову, сердце забилося, глаза живо блеснули, и, торопливо извиняясь, взбежал он вслед за служанкой по внутренней лестнице дома к телефону проходной комнаты.

– Сногден! – крикнул Ван-Конет, как только поднес трубку к тубам. – Давайте, что есть, сразу – да или нет?

– Да, – ответил торжествующе-снисходительный голос, – категорическое да, хотя пришлось иметь дело с вашим отцом.

Ван-Конет сжался: среди радости упоминание об отце намекнуло о чем-то и обещало неприятную сцену. Однако «да» все перевешивало в этот момент.

– Черти целуют вас! – закричал он. – Но, как бы там ни было, дыхание вернулось ко мне. Ждите меня через час.

– Хорошо. Признаете ли вы, что я знаю цену своих обещаний?

– Отлично. Не хвастайтесь.

Ван-Конет засмеялся и, глубоко, спокойно дыша, вернулся к фонтану.

Семья молча сидела, дожидаясь его возвращения. Консуэло печально взглянула на жениха, но, заметив, что он весь ожил, смеется и еще издали что-то говорит ей, сама рассмеялась, порозовела. Догадавшись о перемене к лучшему, Винсента Хуарец посмотрела на Ван-Конета с благодарностью; даже отец Консуэло обрадовался концу этого унижительного как для него, так и для его дочери и жены омертвления жениха.

– Что-нибудь очень приятное? – воскликнула Консуэло, прощая Ван-Конета и гордясь его прекрасным любезным лицом. – Вы задали мне загадку! Я так беспокоилась!

– Признаюсь, – сказал Ван-Конет, – да, меня беспокоило одно дело, но все уладилось. Мою кандидатуру на должность председателя компании сельскохозяйственных предприятий в Покете поддерживают два влиятельных лица. Вот этого я и ждал, от этого приуныл.

– О, надо было сказать мне! Ведь я ваша жена! Я – самое влиятельное лицо!

– Конечно, но... – Ван-Конет поцеловал руку девушки и сел, довольно оглядываясь. – По всей вероятности, мы с Консуэло будем жить в Покете, – сказал он Хуарецу, – как уже и говорилось об этом.

– Мне дорого мое дитя, – неожиданно трогательно и твердо сказал Хуарец, – она у меня одна. Я хочу на вас надеяться, да, я надеюсь на вас.

– Все будет хорошо! – воскликнул Ван-Конет, заглядывая во влажные глаза девушки с сиянием радости, полученной от разговора с Сногденом, и придумывая тему для разговора, которая могла бы заинтересовать всех не более как на десять минут, чтобы поспешить затем на свидание

и узнать от Сногдена подробности благополучной развязки.

Глава IV

Дела и заботы Сногдена обнаружатся на линии этого рассказа по мере его развития, а потому внимание должно быть направлено к Давенанту и коснуться его жизни глубже, чем он сам рассказал Баркету.

Подобранный санитарной каретой перед театром в Лиссе, Давенант был отвезен в госпиталь Красного Креста, где пролежал с воспалением мозга три недели. Как ни тяжело он заболел, ему было суждено остаться в живых, чтобы долго помнить пламенно-солнечную гостиную и детские голоса девушек. Как игра, как ясная и ласковая забота жизни о невинной отраде человека, представлялась ему та судьба, какую он бессознательно призывал.

По миновании опасности Давенант несколько дней еще оставался в больнице, был слаб, двигался мало, большую часть дня лежал, ожидая, не разыщет ли его Галеран или Футроз. Его тоска начиналась с рассветом и оканчивалась дремотой при наступлении ночи; сны его были воспоминаниями о незабываемом вечере со стрельбой в цель. Серебряный олень лежал под его подушкой. Иногда Тиррей брал эту вещицу, рассматривал ее и прятал опять. Наконец он уразумел, что его пребывание в чужом городе лишено телепатических свойств, могущих указать местонахождение беглеца кому бы то ни было. Теперь был он всецело предоставлен себе. Он вспоминал своего отца с такой ненавистью, что мысли его о нем были полны стона и скрежета. Выйдя из больницы, Давенант отправился пешком на юг, чтобы уйти от Покета как можно далее. Дорогой он работал на фермах и, скопив немного денег, шел дальше, выветривая тоску. А затем Стомадор отдал ему «Сушу и море».

В тот день Давенанту никак не удавалось побыть одному до самого вечера, так как была суббота – день разъездов с рудников в город. Торговцы ехали закупать товары, служащие – повеселиться со знакомыми, рабочие, получившие расчет, – хватить дозу городских удовольствий. Многие из них требовали вина, не оставляя седла или не выходя из повозок, отчего Петрония часто выбегала из дверей с бутылкой и штопором, а Давенант сам служил посетителям.

За хлопотами и расчетами всякого рода его гнев улегся, но тяжкое оскорбление, нанесенное Ван-Конетом, осветило ему себя таким опасным огнем, при каком уже немыслимы ни примирение, ни забвение. Угадывая свадебные затруднения высокопоставленного лица, а также имея в виду свое искусство попадать в цель, Давенант отлично сознавал, насколько Ван-Конету рискованно принимать поединки; однако другого выхода не было, разве лишь Ван-Конет стерпит пощечину под тем предлогом, что удар трактирщика, так как и уличное нападение, не могут его унижить. На такой случай Давенант решил ждать двадцать четыре часа и, если Ван-Конет откажется, напечатать о происшествии в местной газете. Такую услугу мог ему оказать Найт, брат редактора газеты «Гертонские утренние часы», человек, часто охотившийся с Гравелотом в горах и искренне уважавший его. Однако Давенант так еще мало знал людей, что подобные диверсионные соображения казались ему фантазией, на самом же деле он не хотел сомневаться в храбрости Ван-Конета. Единственное, что Давенант допускал серьезно, – это вынужденное признание противником своей вины перед началом поединка; тогда он простил бы его. Если же гордость Ван-Конета окажется сильнее справедливости и рассудка, то на такой случай Давенант намеревался ранить противника неопасно, ради его молоденькой невесты, не виноватой ни в чем. Эту девушку Давенант не хотел наказывать.

Самые тщательные размышления, если они имеют предметом еще не наступившее происшествие, обусловленное какими-нибудь случайностями его разрешения, есть размышления, по существу, отвлеченные, и они скоро делаются однообразны; поэтому, все передумав, что мог, Давенант стал с часу на час ожидать прибытия секундантов Ван-Конета, но много раз убирались и накрывались столы для посетителей, которым Давенант ничего не говорил о событиях утра, запретив также болтать Петронии, а день проходил спокойно, как будто никогда за большим столом против окна не сидели Лаура Мульдвей, отгонявшая муху, и Георг Ван-Конет, смеявшийся со злым блеском глаз. Радостным и чудесным был этот день только для служанки Петро-

нии, неожиданно ошастливленной восемнадцатью золотыми. Но не так поразили ее деньги, скотская грубость Ван-Конета и драка с ее хозяином, как поведение Гравелота, который ударил богатого человека, отказался от выигрыша и, пустяков ради, грудью встал против своей же доходной статьи из-за надутых губ всхлипывающей толстощекой девчонки, которой, по мнению Петронии, была оказана великая честь: «такой красавец, кавалер важных дам, изволил с ней пошутить».

Петрония служила недавно. Работник Давенанта, пожилой Фирс, терпеливо сближался с ней, и она начала привыкать к мысли, что будет его женой. Восемнадцать гиней делали ее независимой от накоплений Фирса. Улучив минуту, когда тот привез бочку воды, Петрония вышла к нему на двор и сказала:

– Знаете, Фирс, когда вас не было, приезжал сын губернатора с какой-то красавицей... Хотя она очень худая... Он, а также его двое друзей, все богачи, дали мне двадцать пять фунтов.

– Это было во сне, – сказал Фирс, подходя к ней и беря ее твердую блестящую руку с засушенным до локтя рукавом.

Петрония освободила руку и вытащила из кармана юбки горсть золотых.

– Врете. Это хозяин посылает вас за покупками, – сказал Фирс. – А вы сочиняете по примеру Гравелота. Вы заразились от него сочинениями, – Признайтесь! Он мне сказал на днях: «Фирс, как вы поймали луну?» В ведре с водой, понимаете, отражалась луна, так он просил, чтобы я не выплеснул ее на цветы. Заметьте, не пьян, нет! Я только обернулся, а затем отвернулся. Не люблю я таких шуток. Выходит, что я – глупее его? Итак, едете в город покупать? – Да, – ответила Петрония, сознавая, что положение изумительно и что у Фирса нет причины верить истине происшествия, а рассказать о стрельбе она боялась: Фирс умел вытягивать из болтунов подробности, и тогда, если узнает о ее нескромности Гравелот, ему, пожалуй, вздумается забрать деньги себе.

– Петрония! – закричал Давенант из залы, видя, что появилось несколько фермеров.

Она не слышала, и он, выйдя ее искать, заглянул в кухонную дверь. Петрония стояла у притолоки, откинув голову, пряча за спиной руки, мечтая и блаженствуя. Весь день она тревожно присматривалась к хозяину, стараясь угадать, – не сошел ли Гравелот с ума. Такой ее взгляд поймал Давенант и теперь, но, думая, что она беспокоится о нем из-за утренней сцены, улыбнулся. Ему понравилось, как она стояла, цветущая, рослая, олицетворение хозяйственности и здоровья, и он подумал, что Петрония будет помнить этот день всю жизнь, как своенравно залетевшую искру чудесной сказки. «Вся ее жизнь, – думал Давенант, – примет оттенок благодарного воспоминания и надежды на будущее».

Она вострепелась, а хозяин отослал ее и сказал Фирсу:

– Кажется, вам нравится моя служанка, Фирс? Женитесь на ней.

– Мало ли нравится мне служанок, – замкнуто ответил Фирс, распрягая лошадь, на всех не женишься.

– Тогда на той, которая перестанет быть для вас служанкой.

Фирс не понял и подумал: «С чего он взял, что я держу служанок?»

– Ехать ли за капустой? – спросил Фирс.

– Вы поедете за ней завтра.

Давенант возвратился к буфету, замечая с недоумением, что солнце садится, а из города нет никаких вестей от Ван-Конета. По-видимому, его осмеяли и бросили, как бросают обжегшее пальцы горячее, казавшееся безобидным на взгляд железо. Рассеянно наблюдая за посетителями, которых оставалось все меньше, Давенант увидел человека в грязном парусиновом пальто и соломенной шляпе; пылливый, себе на уме взгляд, грубое лицо и толстые золотые кольца выдавали торговца. Так это и оказалось. Человек сошел с повозки, запряженной парой белых лошадей, и прямо направился к Давенанту, которого начал просить разрешить ему оставить на два дня ящики с книгами.

– У меня книжная лавка в Тахенбаке, – сказал он, – я встретил приятеля и узнал, что должен торопиться обратно на аукцион в Гертоне, – выгодное дело, прозевать не хочу. Куда же мне таскать ящики? Позвольте оставить эти книги у вас на два дня, послезавтра я заеду за ними. Два

ящика старых книг. Пусть они валяются под навесом.

– Зачем же? – сказал Давенант. – Ночью бывает обильная роса, и ваши книги отсыреют. Я положу их под лестницу.

– Если так, то еще лучше, – обрадовался торговец. – Благодарю вас, вы очень меня выручили. Недаром говорят, значит, что Джемс Гравелот – самый любезный трактирщик по всей этой дороге. Мое имя – Готлиб Вагнер, к вашим услугам.

Затем Вагнер вытащил два плохо сколоченных ящика, в щелях которых виднелись старые переплеты, а Давенант сунул их под лестницу, ведущую из зала в мезонин, где он жил. Вагнер стал предлагать за хранение немного денег, но хозяин наотрез отказался – ящики нисколько не утруждали его. Вагнер осушил у стойки бутылку вина, побежал садиться в повозку и тотчас уехал.

Это произошло за несколько минут до заката солнца. Петрония прибирала помещение, так как с наступлением тьмы гостиница редко посещалась, двери ее запирались. Если же приезжал кто-нибудь ночью, то гостя впускали через ворота и кухню. Сосчитав кассу, Давенант приказал служанке закрыть внутренние оконные ставни и отправился наверх, раздумывая о мрачном дне, проведенном в тщетном ожидании известий от Ван-Конета. Лишь теперь, сидя перед своей кроватью, за столом, на который Петрония поставила медный кофейник, чашку и сахарницу, молодой хозяин гостиницы мог сосредоточиться на своих чувствах, рассеянных суетой дня. Оскорбления наглых утренних гостей не давали ему покоя. Умело, искусно, несмотря на запальчивость, были нанесены эти оскорбления; он еще никогда не получал таких оскорблений и, оживляя подробности гнусной сцены, сознавал, что ее грязный след останется на всю жизнь, если поединок не состоится. Более всего играла здесь роль разница мировоззрений, выраженная не препирательством, а ударом. Действительно, так больно ранить и так загрязнить рану мог только человек с низкой душой. Догадываясь о роли Сногдена, Давенант придавал мало значения его явно служебной агрессии: Сногден действовал по обязанности.

Вдруг, как это часто бывает при взволнованном состоянии, развертывающем представление действия в связи не только с прямыми, но и с косвенными обстоятельствами, у Давенанта возникло сомнение. Богатый человек, сын губернатора, жених дочери миллионера, обладающий могущественными связями и великолепным будущим, – захочет ли такой человек рисковать всем, даже претерпев удар по лицу? Насколько характер его открылся в «Суше и море», следовало признать отсутствие благородных чувств. А в таком положении люди редко изменяют себе, разве лишь выгода толкнет их к неискреннему театральному жесту. Это соображение так встревожило Давенанта, что он немедленно подкрепил его сопоставлением джентльмена с трактирщиком и риском, которым грозила для Ван-Конета огласка курьезно-мрачного дела. Надежды его исчезли, мысли спутались, и, чтобы отвлечься, – так как ничего другого не оставалось, как ждать, что принесет завтрашний день, – Давенант снял со стены маленькую винтовку, подобную той, из которой несколько лет назад стрелял на вечере у Футроза. Пристрастившись к стрельбе в цель, чем-то отвечавшей его жажде торжества усилия и результата, Давенант, уже став несравненным стрелком, не оставлял этого упражнения, но ему помешали.

Он услышал быстрый стук в ворота, шаги и голос Петронии; затем мужской голос назвал его имя: «Граве-лот», но дальше Давенант не расслышал. Кто-то взбежал по лестнице, дверь быстро открылась, и он увидел контрабандиста Петвека, который даже не постучал.

– Скандал! Готовьтесь! – закричал Петвек. – Я к вам прямо из Латра. Сюда мчится таможенный отряд.

– Что такое, Петвек? Садитесь прежде всего. О чем вы кричите?

– У вас были обыски?

– До сих пор не было.

– Так будет сейчас. Я был в Латре. Двенадцать пограничников направились к вам. Я видел этих солдат. Один из них – не то, чтобы проболтался, но он с нами имеет дела. У вас что-нибудь есть, Гравелот?

– Если вы до сих пор не соблазнили меня, ясно, что сам я не стану прятать карты или духи. Однако вы не врете? – сказал Давенант, встревоженный шумным дыханием Петвека, который

смотрел на него с испугом и недоумением.

– Вот как я вру, – ответил Петвек, – я сразу помчался к вам, оставив солдат доканчивать свое пиво у старухи Декай. Ведь вы знаете, что в Латре у нас постоянный наблюдательный пункт – пограничники вечно толкутся там. Я мчался по короткой тропе и опередил их, но через четверть часа вы сами будете говорить с ними, тогда узнаете, лжет Петвек или не лжет.

– Вот что, – сказал Давенант, прислушиваясь к одной мысли, начавшей его терзать. – Идем-ка вниз. Под лестницей есть два ящика, и я хочу узнать, чем они набиты.

Он взял молоток, лампу и поспешно сошел вниз, с Петвеком за спиной, все время торопившим его. Вытащив из-под лестницы один ящик, оставленный Вагнером, Давенант сбил верхние доски. Действительно, там лежали старые книги, но они прикрывали десятка два небольших ящичков. Распаковав один из них, хотя и без того уже слышался весьма доказательный запах дорогих сигар, Давенант больше не сомневался.

– По крайней мере закурим, – сказал Петвек, беря сигару и с остервенением отгрызая ее конец. – Так! Хорошие сигары, Гравелот. Но с нами вы не хотели иметь дела.

– Молчите, – сказал Давенант. – Товар мне подкинули. Петвек, тащите тот ящик, а я возьму этот. Мы выбросим их в кусты.

Но в это время застучали копыта лошадей. Прятать роковой груз было уже поздно.

– К черту! – сказал Давенант, крепче задвигая дверной засов и пробуя крюк. – Придется бежать, Петвек. Дело хуже, чем пять месяцев тюрьмы. На этом не остановятся. Я один знаю, в чем дело. Где стоит ваша «Медведица»?

– Гравелот, – ответил Петвек, чувствуя какое-то более серьезное дело, чем два ящика сигар, – я не покину вас в беде.

Услышав это, Давенант кинулся в комнату Фирса и одним толчком разбудил его.

– Бросьте протирать глаза, – сказал Давенант, – дело плохо. Оставляю вам гостиницу. Ведите торговлю, вот вам сто фунтов. Потом отчитаетесь. Я должен временно скрыться. Сейчас будут ломиться в ворота и двери, – не открывайте. Пусть ломают вход или лезут через стену, но задержите, как можно дольше. некогда рассуждать.

Раздался удар в дверь гостиницы. Одновременно загремели ворота и послышались приказания открыть. Фирс сел, спустил ноги, вскочил и, торопливо кивнув, спрятал деньги под наволочку, затем выхватил их и начал бегать по комнате, ища более надежного места. Давенант покинул его и увлек Петвека наверх. Из комнаты косое окно вело на крышу, по той ее стороне, которая была обращена к скале. Достав и захватив с собой серебряного оленя, а также все деньги из стола и карманов одежды, Давенант с револьвером в руке вылез через окно, указывая Петвеку место, где прыжок на скалу с крыши короче. Они прыгнули одновременно, прямо над головой пограничника, стоявшего с этой стороны дома, чтобы помешать бегству. Солдат, увидев две тени, перемахнувшие вверх, с крыши на скалу, яростно закричал и выстрелил, но беглецы были уже в кустах, а в это время через стену двора перепрыгивали солдаты, начиная разгром. Лодка Давенанта стояла неподалеку от дома; он скатил ее в воду и сел, а Петвек распустил парус. Умеренный ветер погнал лодку прочь от опасной земли.

– Передохнем, – сказал Петвек, сев к рулю и доставая из кармана горсть сигар. Он благоразумно захватил столько сигар, сколько успел набить в карманы, пока Давенант путал и обогащал Фирса.

– Что ж, я везу вас на «Медведицу». Если так, то она этой же ночью пойдет в Покет. Закурите, Гравелот. Видали вы, как быстро изменяется жизнь?

– Знаю, – сказал Давенант, уже немного освоившийся с мыслью, что вновь ступил на тропу темной судьбы. – Мне это известно, увы! Но у меня крепкое сердце, Петвек.

– Хорошо, если крепкое. Объясните, в чем дело? Зачем надо бежать?

Пока они плыли, Давенант рассказал утреннюю историю, и, всесторонне обсудив ее, Петвек должен был признать, что другого выхода, как бегство, нет.

– Раз так тонко задумано с контрабандой, будьте уверены, – сказал Петвек,

– что этим Ван-Конеты не ограничатся. Сын боится вас, а его отец, высокородный Август Ван-Конет, сумел бы устроить вам долгое житье за решеткой. Это – сила. Поедете с нами в По-

кет, а там будет видно, что делать.

– В Покет? – сказал Давенант. – Ну что же! Мне почему-то это приятно. Я там давно не был. Очень давно. Да, это хорошо – Покет, – повторил он, на мгновение чувствуя себя слоняющимся у дома Футроза, а тут воспоминания, одно за другим, прошли в темноте ночи. Галеран, Элли, Розна, старуха Губерман, Кишлот, бродяга отец. И в ветре возбуждения опасного дня они предстали теперь мирно, лишь оттенок тоски сопровождал их. «Меня, пожалуй, трудно узнать, – думал он. – Странно и хорошо: я буду в Покете. Хорошо, что так выходит само собой, без намерения».

– Богатое было у вас дело, – сказал Петвек. – Кто бы мог думать?.. Вы хотя сказали кому-нибудь?

– Да. Останется Фирс. Ему я могу верить.

– Жулик ваш Фирс, – ответил Петвек. – Не то чтобы он мне не нравился, но, когда он является в Латр, первым делом прохаживается на счет вас. Завистливая скотина.

– Я оставил ему сто фунтов, – сказал Давенант. – Особенно я не сомневаюсь, но все же, когда вы будете там, присмотрите немного. Фирс и Петрония должны управиться, пока я не улажу историю с Ван-Конетом. А я улажу ее. Еще не знаю как, но это дело я доведу до конца.

– Правильно, – согласился Петвек, – я зайду в гостиницу, а с вами спишусь.

Лодка шла близко к береговым скалам. Не прошло часа, как Давенант увидел «Медведицу», стоявшую на якоре без огней. Петвек издал условный свист.

– Что привез? – крикнул человек с низкого борта потрепанного двухмачтового судна.

– Я привез одного твоего знакомого! – крикнул Петвек и, пока Давенант убирал парус, продолжал объяснять: – Со мной Гравелот. Надо будет перемахнуть его в Покет. Вот и все.

Все береговые контрабандисты хорошо знали Давенанта, так как редкий месяц не заходили в «Сушу и море» и неоднократно пытались приспособить гостиницу для своих целей, но, как ни выгодны были их предложения, Давенант всегда отказывался. На таком ремесле его увлекающий характер скоро положил бы конец свободе и жизни этого человека, сознательно ставшего изгнанником, так как жизнь ловила его с оружием в руках. Он не был любим ею. Хотя Давенант уклонился от предложений широко разветвленной, могущественной организации, контрабандисты уважали его и были даже привязаны к нему, так как он часто позволял им совещаться в своей гостинице. Итак, Давенант встретил новых лиц и, пройдя в маленькую каюту шкипера Тергенса, скоро увидел себя окруженным слушателями. Петвек вкратце рассказал дело, но они желали узнать подробности. Их отношение к Давенанту было того рода благожелательно-снисходительным отношением, какое выказывают люди к стоящему выше их, если тот действует с ними в равных условиях и одинаковом положении. При отсутствии симпатии здесь недалеко до усмешки; в данном же случае контрабандисты признавали бегство Гравелота более удивительным, чем серьезным делом. Не скрывая сочувствия к нему, они всячески ободряли его и шутили; их забавляло, что Гравелот обошелся с Ван-Конетом, как с пьяным извозчиком.

– Однако, – сказал Тергенс, – Гравелот не улетел по воздуху, пограничники это знают, они обшарят весь берег, и, я думаю, нам пора тащить якорь на борт.

– Как же быть с Никльсом? – спросил боцман Гетрах.

Речь шла о контрабандисте, ушедшем в село к возлюбленной на срок до шести часов утра. В семь «Медведица» должна была начать плавание, но теперь возник другой план. Тергенс боялся оставаться, так как пограничники, выехав на паровом боте вдоль скал, легко могли арестовать «Медведицу» с ее грузом, состоявшим из красок, хорьковых кистей, духов и пуговиц.

– Не думал нынче плыть на «Медведице», – сказал Петвек боцману. – Раз я здесь, я поеду. Мне надоело торчать в Латре. На этой неделе больших дел не предвидится. Там есть Блэк и Зуав, их двух хватит, в случае чего. Гетрах, пишите Никльсу записку, я возьму шляпку, свезу записку в дупло. Никльс прочтет, успокоится.

Взяв записку, Петвек ушел, после чего остальные контрабандисты мало-помалу очистили каюту, служившую одновременно столовой. Гетрах спал на столе, Тергенс – на скамье. Пока Петвек ездил к берегу, Тергенс открыл внутренний трюмовый люк и со свечой прошел туда, чтобы указать Давенанту место его ночлега. Перевернув около основания мачты ряд кип и ящи-

ков, Тергенс устроил постель из тюков, на нее шкипер бросил подушку и одеяло.

– Не курите здесь, – предупредил Тергенс беглеца, – пожар в море – дело печальное. Впрочем, я вам принесу тарелку для окурков.

Он притащил оловянную тарелку, глухой фонарик, бутылку водки. Давенант опустился на ложе и принял полусидящее положение. Уходя, Петвек дал ему шесть сигар, так что он был обеспечен для комфортабельного ночлега в плавании. Хлебнув водки, Давенант закурил сигару, стряхивая пепел в тарелку, которую держал на коленях сверху одеяла. Мальчик еще крепко сидел в опытном, выдавшем виды хозяине гостиницы; ему нравился запах трюма – сыроватый, смолистый; полусвет фонаря среди товаров и бег возбужденной мысли в раме из бортов и снастей, где-то между мысом «Монаха» и отмелями Гринленда. Между тем слышался голос возвратившегося Петвека и стук кабестана, тащившего якорь наверх. Заскрипели блоки устанавливаемых парусов; верхние реи поднялись, парусина отяготилась ветром, и все разбрелись спать, кроме Гетраха, ставшего к рулю, да Тергенса и Петвека, влезших из каюты в трюм, чтобы потолковать перед сном. Гости уселись на ящиках и приложились к бутылке, после чего Петвек сказал:

– Никак нельзя было спрятать вашу лодку на берегу. Пограничники могли ее найти и узнать нашу стоянку. А тут хорошее сообщение с нашей базой. Я отвел лодку за камни и пустил ее по ветру. Что делать!

Давенант спокойно махнул рукой.

– Если я буду жив, – лодка будет, – сказал он фаталистически. – А если меня убьют, то не будет ни лодки, ни меня. Так мы уж плывем, Тергенс?

– О да. Если ветер будет устойчив – зюйд-зюйд-ост, – то послезавтра к рассвету придем в Покет.

– Не в гавань, надеюсь?

– Ха-ха! Нет, не в гавань. Там в миле от города есть так называемая Толковая бухта. В ней выгрузимся.

– Знаю. Я бывал там „, когда бегал еще босиком, – сказал Давенант.

– Вы родились в Покете? – вскричал Петвек.

– Нет, – ответил из осторожности Давенант, – я был проездом, с родителями.

– Станный вы человек, – сказал Тергенс. – Идете вы, как и мы, без огней, сигналов. – Никто не знает, кто вы такой.

– Вы были бы разочарованы, если бы узнали, что я – сын мелкого адвоката,

– ответил Давенант, смеясь над испытующим и заинтересованным выражением лиц бывших своих клиентов, – а потому я вам сообщаю, что я незаконный сын Эдисона и принцессы Аустерлиц-Ганноверской.

– Нет, в самом деле?! – сказал Петвек.

– Ну, оставь, – заметил Тергенс, – дело не наше. Так вы думали, что Ван-Конет будет с вами драться?

– Он должен был драться, – серьезно сказал Давенант. – Я не знал, какой это подлец. Ведь есть же смелые подлецы!

– Интересно узнать, кто этот тип, который оставил вам ящики, – сказал Петвек. – Каков он собой?

Давенант тщательно описал внешность мошенника, но контрабандисты никого не могли подобрать к его описанию из тех, кого знали.

– Что же... Подавать в суд? Да вас немедленно арестуют, – сказал Тергенс.

– Это верно, – подтвердил Давенант.

– Ну, так как вы поступите?

– Знаете, шкипер, – с волнением ответил Давенант, – когда я доберусь до Покета, я, может быть, найду и заступников и способы предать дело широкой огласке.

– Если так... Конечно.

Тергенс и Петвек сидели с Давенантом, пока не dokonчили всю бутылку. Затем Тергенс отправился сменять Гетраха, а Петвек – к матросам, играть в карты. Давенант скоро после того

уснул, иногда поворачиваясь, если ребра тюков очень жали бока.

Почти весь следующий день он провел в лежачем положении. Он лежал в каюте на скамье, тут же обедал и завтракал. «Медведица» шла по ровной волне, с попутным ветром, держась, на всякий худой случай, близко к берегу, чтобы экипаж мог бежать после того, как дозорное судно или миноносец сигнализируют остановиться. Однако, кроме одного пакетбота и двух грузовых шхун, «Медведица» не встретила судов за этот день. Уже стало темнеть, когда на траверсе заблестели огни Покета, и «Медведица» удалилась от берега в открытый океан, во избежание сложных встреч.

Когда наступила ночь, судно, обогнув зону порта, двинулось опять к берегу, и незначительная качка позволила экипажу играть в «ласточку». Давенант принял участие в этой забаве. Играли все, не исключая Тергенса. На шканце установили пустой ящик с круглым отверстием, проделанным в его доске; каждый игрок получил три гвоздя с отпиленными шляпками; выигрывал тот, кто мог из трех раз один бросить гвоздь сквозь узенькое отверстие в ящике на расстоянии четырех шагов. Это трудное упражнение имело своих рекордсменов. Так, Петвек попадал чаще других и с довольным видом клал ставки в карман.

Чем ближе «Медведица» подходила к берегу, тем озабоченнее становились лица контрабандистов. Никогда они не могли уверенно сказать, какая встреча ждет их на месте выгрузки. Как бы хорошо и обдуманно ни был избран береговой пункт, какие бы надежные люди ни прятались среди скал, ожидая прибытия судна, чтобы выгрузить контрабанду и увезти ее на подводах к отлично оборудованным тайным складам, риск был всегда. Причины опасности коренились в отношениях с береговой стражей и изменениях в ее составе. Поэтому, как только исчез за мысом Покетский маяк, игра прекратилась и все одиннадцать человек, бывшие на борту «Медведицы», осмотрели свои револьверы. Тергенс положил на трюмовый люк восемь винтовок и роздал патроны.

– Не беспокойтесь, – сказал он Давенанту, вопросительно взглянувшему на него, – такая история у нас привычное дело. Надо быть всегда готовым. Но редко приходится стрелять, разве лишь в крайнем случае. За стрельбу могут повесить. Однако у вас есть револьвер? Лучше не связывайтесь, а то при вашей меткости не миновать вам каторжной ссылки, если не хуже чего. Вы просто наш пассажир.

– Это так, – сказал Давенант. – Однако у меня нет бесчестного намерения отсиживаться за вашей спиной.

– Как знаете, – заметил Тергенс с виду равнодушно, хотя тут же пошел и сказал боцману о словах Граве-лота. Гетрах спросил:

– Да?

Они одобрительно усмехнулись, больше не говоря ничего, но остались с приятным чувством. В воображении им приходилось сражаться чаще, чем на деле.

Между тем несколько бутылок с водкой переходило из рук в руки: готовясь к высадке, контрабандисты накачивались для храбрости, вернее – для спокойствия, так как все они были далеко не трусы. Только теперь стало всем отчетливо ощутительно, что груз стоимостью в двадцать тысяч фунтов обещает всем солидный заработок. «Медведица» повернула к берегу, невидимому, но слышному по шороху прибоя; ветер упал. Матросы убрали паруса; судно на одном кливере подтянулось к смутным холмам с едва различимой перед ними пенистой линией песка. Всплеснул тихо отданный якорь; кливер упал, и на воду осела с талей шлюпка. В нее сели четверо: Давенант, Гетрах, Петвек и шестидесятилетний седой контрабандист Утлендер. Как только подгребли к берегу, стало ясно, что на берегу никого нет, хотя должны были встретить свои.

– Ну, что же вам делать теперь? – сказал Петвек Давенанту, выскакивая на песок вместе с ним. – Мы тут останемся. Я пойду искать наших ребят, которые, верно, заснули неподалеку в одном доме, а вам дорога известная: через холмы и направо, никак не собьетесь, прямо выйдете на шоссе.

Контрабандист был уже озабочен своими делами. Гетрах нетерпеливо поджидал его, чтобы идти. Давенант, чрезвычайно довольный благополучным исходом плавания, тоже хотел уходить, даже пошел, – как он и все другие остановились, услышав плеск весел между берегом и «Медве-

дицей». Подумав, что оставшийся в лодке Утлендер зачем-то направился к судну, так укрытому тьмой, что можно было различить лишь, да и то с трудом, верхушку его матч, Петвек крикнул:

– Эй, старый Ут! Ты куда?

Одновременно закричал Утлендер, хотя его испуганные слова не относились к Петвеку.

– Тергенс, удирай! – вопил он и, поднеся к губам свисток, свистнул коротко три раза, чего было довольно, чтобы на палубе загредел переполох.

Таможенная шлюпка, набитая пограничниками, стала между берегом и «Медведицей», другая напала с открытой стороны моря, из-за холмов раздались выстрелы – и стало некуда ни плыть, ни идти. Пока обе таможенные шлюпки абординовали «Медведицу», темные фигуры таможенных, показавшись из береговой засады, кричали:

– Сдавайтесь, купцы!

Давенант быстро осмотрелся. Заметив большой камень с глубокими трещинами, он сунул в одну из трещин бумажник с деньгами и письмами, а также своего оленя, и успел засыпать все это галькой. Затем он подбежал к Утлендеру, готовый на все.

– Отбивайтесь! – кричал Тергенс с палубы в то время, как момент растерянности уже прошел и все, словно хлестнуло их горячим по ногам, начали, без особого толку, сопротивляться. Трудно было знать, сколько здесь солдат. Ничего лучшего не найдя, Петвек, Гетрах и Давенант бросились в шлюпку Утлендера, где, по крайней мере, суматоха могла выручить их, дав как-нибудь ускользнуть к недалеким скалам, а за их прикрытием – в море. Так случилось, таково было согласное настроение всех, что началась усердная пальба ради спасения ценного груза и еще более от внезапности всего дела, хотя, может быть, уже некоторые раскаивались, зная, как дорого поплатятся за стрельбу оставшиеся в живых. Отойдя от берега, шлюпка качалась на волнах, и в нее уже стреляли с берега. Пули свистели, пронзая воду или колотя в борт зловещим щелчком. Тьма мешала прицелу. Утлендер, дрожа от возбуждения, встал и стоя стрелял на берег, Петвек и Гетрах старались повалить таможенников, сидевших в шлюпке, приставшей к борту «Медведицы». Давенант схватил револьвер, более опасный в его руках, чем винтовка в руках солдата, и прикончил одного неприятеля.

– Вы то.. чего? – крикнул Гетрах, но уже забыл о Давенанте, сам паля в кусты, где менялись очертания тьмы.

Между тем на палубе судна зазвучали сабли, тем указывая рукопашную. Там же был начальник отряда; задыхаясь, он твердил:

– Берите их! Берите!

Протяжно вскрикнув, командир изменившимся голосом сказал:

– Теперь все равно. Бейте их беспощадно!

– Ага! Дрянь! – крикнул Тергенс.

«Если я брошусь на берег, – думал Давенант со странной осторожностью и вниманием ко всему, что звучало и виднелось вокруг, – если я скажу, кто я, почему я с контрабандистами и ради чего преследую я Ван-Конетом, разве это поможет? Так же будут издеваться таможенники, как и Ван-Конет. Все это маленькие Ван-Конеты. Да. Это они!» – сказал он еще раз и на слове «они» пустил пулю в одну из темных фигур, бегавших по песку. Солдат закружился и упал в воду лицом.

Между тем на «Медведице» перестали стрелять; там опустошенно и тайно лежала тьма, как если бы задохнулась от драки.

– Связаны! Связаны! – крикнул Тергенс. – Бросайте, Гетрах, к черту винтовки и удирайте, если можете!

Но уже трудно было остановить Петвека и Утлендера. Таможенные шлюпки, освободясь после «Медведицы», напали на контрабандистов с правого и левого борта.

– Гибель наша! – сказал Утлендер, стреляя в близко подошедшую шлюпку.

Он уронил ружье и оперся рукой о борт. Пуля пробила ему грудь.

– Меня просверлили, – сказал Утлендер и упал к ногам Гетраха, тоже раненного, но легко, в шею.

Однако Гетрах стрелял, а Давенант безостановочно отдавал пули телам таможенников, ле-

жа за прикрытием борта. Шлюпки качались друг против друга, ныряя и поворачиваясь без всякого управления, так как солдаты были чрезвычайно озлоблены и тоже увлеклись дракой. Давенант стрелял на берег и в лодки. Выпустив все патроны револьвера, он поднял ружье Утлендера, а Петвек сунул ему горсть патронов, сжав вместе с ними руку Давенанта так сильно, что выразил вполне свои чувства и повредил тому ноготь. Довольно было Давенанту колебания во тьме ночной тени, чтобы он разил самую середину ее. Хотя убил он уже многих и сам получил рану возле колена, он оставался спокоен, лишь над бровями и в висках давил пульс.

– Петвек! – сказал Давенант зачем-то, но Петвек уже лежал рядом с Утлендером; он только разевал рот и двигал рукой.

– Захватите этого! – кричали таможенники. Однако Давенант не отнес крик к себе, – пока что он не понимал слов. Наконец у него не осталось патронов, когда Тергенс громко сказал:

– Бросьте, Гравелот, вас убьют!

Стрелять ему было нечем, и он, поняв, сказал:

– Уже бросил.

С тем действительно Давенант бросил ружье в воду и дал схватить себя налетевшему с двух сторон неприятелю, чувствуя, что чем-то оправдал воспоминание красно-желтой гостиной и отстоял с честью свет солнечного луча на ярком ковре со скачущими золотыми кошками, хотя бы не знал об этом никто, кроме него.

– Кончилось? – спросил связанный Тергенс, сидевший на люке трюма, когда под дулом ружья Давенант взобрался на палубу, чтобы, в свою очередь, испытать хватку наручников.

– Кончилось, – ответил Давенант среди общего шума, полного солдатской брани.

– Если буду жив, – сказал Тергенс, – я ваш» телом и душой, знайте это.

– Я ранен, – сказал Давенант, протягивая руку сержанту, который скрепил вокруг его кистей тонкую сталь.

– Да, что это было? – вздохнул Тергенс. – Мы все прямо как будто с ума сошли. Не бойтесь, – процедил он сквозь зубы. – Постараемся. Будет видно.

Давенант сел. Солдаты начали поднимать на борт и складывать трупы. Утлендер еще стоял, но был без сознания. Остальные плыли к могиле.

Таможенники, забрав шлюпки на буксир, подняли паруса, чтобы вести свой трофей в Покет. Было их пятьдесят человек, осталось двадцать шесть.

Полная трупов и драгоценного товара, «Медведица» с рассветом пришла в Покет, и репортеры получили сенсационный материал, тотчас рассовав его по наборным машинам.

Пока плыли, Давенант тайно уговорился с Тергенсом, что контрабандисты скроют причины его появления на борту «Медведицы».

Глава V

Сногден встретил Ван-Конета в своей квартире и говорил с ним как человек, взявший на себя обязанность провидения. Окружив словесным гарниром свои нехитрые, хотя вполне преступные действия, результат которых уже известен читателю, придумав много препятствий к осуществлению их, Сногден представил дело трудным распутыванием свалывшегося клубка и особенно напирал на то, каких трудов будто бы стоило ему уговорить мастера вывесок Баркета. О Баркете мы будем иметь возможность узнать впоследствии, но основное было не только измышлением Сногдена: Баркет, практический человек, дал Сногдену обещание молчать о скандале, а его дочь, за которую так горячо вступился Тиррей, сначала расплакалась, затем по достоинству оценила красноречивый узор банковых билетов, переданных Сногденом ее отцу. Сногден дал Баркету триста фунтов с веселой прямоотой дележа неожиданной находки, и когда тот, сказав: «Я беру деньги потому, чтобы вы были спокойны», – принял дар Ван-Конета, пришедшийся, между прочим, кстати, по обстоятельствам неважных дел его мастерской, Сногден попросил дать расписку на пятьсот фунтов. «Это для того, – сказал Сногден, смотря прямо в глаза ремесленнику, – чтобы фиктивные двести фунтов приблизительно через месяц стали действительно вашими, когда все обойдется благополучно».

Не возражая на этот ход, чувствуя даже себя легче, так как сравнился с Сногденом в подлости, Баркет кивнул и выдал расписку.

Когда он ушел. Марта долго молчала, задумчиво перебирая лежащие на столе деньги, и грустно произнесла:

– Скверно мы поступили. Как говорится, подторговали душой.

– Деньги нужны, черт возьми! – воскликнул Баркет. – Ну, а если бы я не взял их, – что изменится?

– Так-то так...

– Слушай, разумная дочь, – нам не тягаться в вопросах чести с аристократией. А этот гордец Гравелот, по-моему, тянется быть каким-то особенным человеком. Трактирщик вызвал на дуэль Георга Ван-Конета! Хохотать можно над такой историей, если подумать.

– Гравелот вступился за меня, – заявила Марта, утирая слезы стыда, – и я никогда не была так оскорблена, как сегодня.

– Хорошо. Он поступил благородно – я не спорю.. Но дуэли не будет. Тут что-то задумано против Гравелота, если, едва мы приехали, Сногден пришел просить нас молчать и, собственно говоря, насильно заставил взять эти триста фунтов.

– Я не хотела... – сказала Марта, крепко сжав губы, – хотя что сделано, то сделано. Я никогда не прощу себе.

– Отсчитай-ка сейчас же. Марта, восемьдесят семь фунтов, я оплачу вексель Томсону. Остальные надо перевести Платтеру на заказ эмалевых досок. Но это завтра.

– Оставь мне двадцать пять фунтов.

– Это зачем?

– Затем... – сказала Марта, улыбаясь и застенчиво взглядывая на отца. – Догадайся. Впрочем, я скажу: мне надо шить, готовиться: ведь скоро придет мой жених.

– Да, – ответил Баркет и прибавил уже о другом: – Самый ход дела отомстил за тебя: Ван-Конет трусит, замазывает скандал, боится газет, всего, тратится. Видишь, как он наказан!

Если Сногден не мог рассказать эту сцену Ван-Коне-ту, зато он представил и разработал в естественном диалоге несговорчивость, возмущение Баркета и его дочери; в конце Сногден показал счет, вычислявший расход денег, самые большие деньги, по его объяснению, пришлось заплатить мнимому Готлибу Вагнеру, темному лицу, согласному на многое ради многого. Затем, как бы припомнив несущественное, но интересное, Сногден сказал, что обстоятельства заставили его иметь объяснение с отцом Ван-Конета, чье вмешательство единственно могло погубить Гравелота, согласно тем незначительным уликам, какие подсылались в «Сушу и море» под видом ящиков старых книг.

Не ожидавший такого признания, Ван-Конет с трудом удерживался от резкой брани, так как ему предстояло терпкое объяснение с отцом, человеком двужильной нравственности и тем не менее выше всего ставящим показное достоинство своего имени.

– Однако, если на то пошло, – в бешенстве закричал Ван-Конет, – таким-то путем и я мог бы уладить все не хуже вас!

– Нет! – Сногден резко схватил приятеля за руку, которую тот хотя вырвал немедленно, однако стал слушать. – Нет, Георг, нет и нет, – я вам говорю. Лишь я мог представить отцу вашему дело в том его значении, о котором мы говорили, в котором уверены, которое нужно рассудить холодно и тонко. Со мной ваш отец вынужден был говорить сдержанно, так как и он многим обязан мне. Дело касается не только ареста Гравелота, а главное, – как поступить с ним после ареста. Судебное разбирательство немыслимо, и я нашел выход, я дал совет, как прекратить все дело, но уже когда пройдет не меньше месяца и вы с женой будете в Покете. До сих пор я еще нажимаю все пружины, чтобы скорее состоялось ваше назначение директором акционерного общества сельскохозяйственных предприятий в Покете. Я работаю головой и языком, и вы, так страстно стремящийся получить это место, не можете отрицать...

– Я не могу отрицать, – перебил Ван-Конет, – что вы зарвались. Повторяю – я сам мог уладить дело через отца.

Он умолк, потому что отлично сознавал, как много сделал Сногден, как неизбежно его отец

должен был обратиться к тому же Сногдену, чтобы осуществить эту интригу, при всей ее сложности требующую особых знакомств. Ван-Конету предстоял отвратительный разговор с отцом.

– Уверены вы, по крайней мере, что эта глупая история окончена?

– Да, уверен, – ответил Сногден совершенно спокойно. – А, Вилли, дорогой мой! Что хочешь сказать?

Вбежал мальчик лет семи, в бархатной курточке и темных локонах, милый и нежный, как девочка. Увидев Ван-Конета, он смутился и, нагнувшись, стал поправлять чулок; затем бросил на Сногдена выразительный взгляд и принялся водить пальцем по губам, не решаясь заговорить.

Сын губернатора с досадой и размышлением смотрел на мальчика; настроение Ван-Конета было нарушено этой сценой, и он с усмешкой взглянул на лицо Сногдена, выразившее непривычно мягкое для него движение сердца.

– Вилли, надо говорить, что случилось, или уйти, – сказал Сногден.

– Хорошо! – вдруг заявил мальчик, подбегая к нему. – Скажите, что такое «интри... гланы» – «интриганы»? – поправился Вилли.

Бровь Сногдена слегка дрогнула, и он хотел отослать мальчика с обещанием впоследствии объяснить это слово, но ироническое мычание Ван-Конета вызвало в его душе желание остаться самим собой, и у него хватило мужества побороть ложный стыд.

– Как ты узнал это слово? – спросил Сногден, бесясь, что его руки дрожат от смущения.

– Я прочитал в книге, – сказал мальчик, осторожно осматривая Ван-Конета и, видимо, стесняясь его. – Там написано: «Интри... ганы окружили короля Карла, и рыцарь Альфред.. и рыцарь Альфред... – быстро заговорил Вилли в надежде, что с разбега перескочит сопротивление памяти. – И ры... Альфред...» Я не помню, – сокрушенно вздохнул он и начал толкать изнутри щеку языком. – А «интри... ганы» – я не понимаю.

– Сногдену задача, – не удержался Ван-Конет, зло присматриваясь к внутренне потерявшемуся приятелю.

Прямой взгляд мальчика помог Сногдену открыть заветный угол своей души. Нисколько не задумываясь, он ответил воспитаннику:

– Интриган, Вилли, – это человек, который ради своей выгоды губит других людей. А подробнее я тебе объясню потом. Ты понял?

– О да! – сказал Вилли. – Теперь я пойду снова читать.

Он хмуро взглянул на сапоги Ван-Конета, медленно направился к двери и вдруг убежал.

– Однако... – заметил Ван-Конет, потешаясь смущением Сногдена, лицо которого, утратив острую собранность, прыгало каждым мускулом. – Однако у вас есть мужество» или нахальство. Вы так всегда объясняете мальчику?

– Всегда, – нервно рассмеявшись, неохотно сказал Сногден.

– А зачем?

– Так. Это мое дело, – ответил тот, уже овладевая собой и сжимая двумя пальцами нижнюю губу.

– Магдалина... – тихо процедил Ван-Конет.

– Поэтому, – начал Сногден, овладевая прежним тоном, уже начавшим звучать в быстрых, внушительных словах его, – ваш отец подготовлен. Этим все будет кончено.

Ван-Конет встал и, презрительно напевая, удалился из квартиры.

Он не любил толчков чувств, издавна отброшенных им, как цветы носком сапога, между тем Гравелот, Консуэло и Сногден толкнули его хорошими чувствами, каждый по-своему. Он мог отдохнуть на объяснении со своим отцом. В этом он был уверен.

Месть губернатора выразилась замкнутой улыбкой и любопытным выражением бескровного лица; его старые черные глаза смотрели так, как смотрит женщина с большим опытом на девицу, утратившую без особой нужды первую букву своего алфавита.

– Адский день! – сказал молодой Ван-Конет, уныло наблюдая отца. – Вы уже все знаете?

– Меньше всего я знаю вас, – ответил старик Ван-Конет. – Но бесполезно говорить с вами, так как вы способны наделать еще худших дел накануне свадьбы.

– Нет гарантии от нападения сумасшедшего.
– Не то, милый. Вы вели себя, как пройдоха.
– Счастье ваше, что вы мой отец... – начал Ван-Конет, бледнея и делая движение, чтобы встать.

– Счастье? – иронически перебил губернатор. – Думайте о своих словах.

– Отлично. Ругайтесь. Я буду сидеть и слушать.

– Я признаю трудность положения, – сказал отец с плохо скрываемым раздражением, – и, черт возьми, приходится иногда стерпеть даже пощечину, если она стоит того. Однако не надо было подсылать ко мне этого Сногдена. Вы должны были немедленно прийти ко мне, – я в некотором роде значу не меньше Сногдена.

– Кто подсылал Сногдена! – вскричал Георг. – Он явился к вам, ничего мне не говоря. Я только недавно узнал это!

– Так или не так, я провел несколько приятных минут, слушая повесть о кабаке и ударе.

– Дело произошло...

– Представьте, Сногден был до умиления искренен, так что вам нет надобности ни в какой иной версии. Ван-Конет покраснел.

– Думайте что хотите, – сказал он, нагло зевнув. – А также скорее выразите свое презрение мне, и кончим, ради бога, сцену нравоучения.

– Вы должны знать, как наши враги страстно желают расстроить ваш брак, – заговорил старый Ван-Конет. – Если Консуэло Хуарец ничего не говорит вам, то я отлично знаю зато, какие средства пускались в ход, чтобы ее смутить. Сплетни и анонимные письма – вещь обычная. Пытались подкупить вашу Лауру, чтобы она явилась к часу подписания брачного контракта и афишировала, во французском вкусе, ваше знакомство с ней. Но эта умная женщина была у меня и добила более положительных обещаний.

– Хорошо, что так, – усмехнулся жених.

– Хорошо и дорого, дорого и утомительно, – продолжал губернатор. – Вам нет смысла напоминать ей об этом. Получив деньги, она уедет. Такое было условие. Теперь выслушайте о другом. Умерьте, сократите вашу неистовую жажду разгула! Какой-нибудь месяц приличной жизни – смотрите на эту необходимость, как на жертву, если хотите, – и у вас будут в руках неограниченные возможности. Дайте мне разделаться с правительственным контролем, разбросать взятки, основать собственную газету, и вы тогда свободны делать, что вам заблагорассудится. Но если ваша свадьба сорвется, – не миновать ни мне, ни вам горьких минут! Берегите свадьбу, Георг! Вы своим нетерпением жить напоминаете кошку в мясной лавке. Amen.

– Все ли улажено? – вставая, хмуро спросил Георг.

– Все. Я надеюсь, что до послезавтра вы не успеете получить еще одну пощечину, как по малому времени. так и ради своего будущего.

– Так вы не сердитесь больше?

– Нет. Но чувства мне не подвластны. Несколько дней вы будете мне противны, затем это пройдет.

Ван-Конет вышел от отца с окончательно дурным настроением и провел остальной день в обществе Лауры Мульдвей, на ее квартире, куда вскоре явился Сногден, а через день в одиннадцать утра подвел к двери торжественно убранной залы губернаторского дома молодую девушку, которой обещал всю жизнь быть другом и мужем. С глубокой верой в силу любви шла с ним Консуэло, улыбаясь всем взглядам и поздравлениям. Она была так спокойна, как отражение зеленой травы в тихой воде. И, искусно притворяясь, что охвачен высоким чувством, серьезно, мягко смотрел на нее Ван-Конет, выглядевший еще красивее и благороднее от близости к нему великодушной девушки с белыми цветами на темной прическе.

Улыбка не покидала ее. Отвечая нотариусу, Консуэло произнесла «да» так важно и нежно, что, поддавшись очарованию ее существа, приглашенные гости и свидетели на несколько минут поверили в Георга Ван-Конета, хотя очень хорошо знали его.

Гражданский и церковный обряды прошли благополучно, без осложнений. Новобрачные провели три дня в имении Хуареца, отца Консуэло, а затем уехали в По-кет, где Ван-Конету

предстояли дела по назначению его директором сельскохозяйственной акционерной компании; он мог теперь приобрести необходимое количество акций.

Через неделю, по тайному уговору со своим любовником, туда же приехала Лаура Мульдвей, а затем явился и Сногден, без которого Ван-Конету было бы трудно продолжать жить согласно своим привычкам.

Глава VI

Захватом «Медведицы» таможня обязана была не Никльсу, как одно время думал Тергенс, имея на то свои соображения, а контрабандисту, чьи подкуп и имя стали скоро известны, так что он не успел выехать и был убит в одну из темных ночей под видимостью пьяной драки.

На первом допросе Давенант назвал «Гантрей», не желая интересовать кого-нибудь из старых знакомых ни именем «Тиррей Давенант», которое могло стать известно по газетной статье, ни именем «Гравелот», опасным благодаря Ван-Конету. Однако на «Медведице» Тергенс несколько раз случайно назвал его Гравелот, а потому в официальных бумагах он именовался двойко – Гантрей-Гравелот; так что по связи улик – бегства хозяина «Суши и моря», убийственной меткости человека, оказавшегося почему-то среди контрабандистов «Медведицы», его наружности и ясно начертанного, хотя и условного, имени Гравелот – Ван-Конет, зная от отца своего все, тотчас позаботился принять меры. Ему помогал губернатор, а потому дальнейший рассказ коснется этих предварительных замечаний подробнее – всем развитием действия.

Тюрьма Покета стояла на окраине города, где за последние годы возникло начало улицы, переходящее после нескольких зданий в холмистый пустырь с прилегающими к этому началу улицы началами двух переулков, заканчивающихся: один – оврагом, второй – шоссеиной насыпью, так что на плане города все, взятое вместе, напоминало отдельно торчащую ветку с боковыми прутиками. Ворота и передний фасад тюрьмы были обращены к лежащему напротив нее длинному одноэтажному зданию, заселенному тюремными служащими и конвойными; через дом от казармы ряд зданий замыкала бакалейная лавка с двумя окнами и дверью меж ними, имевшая клиентурой почти единственно узников и тюремщиков. Утром сторожа по особым спискам закупали в лавке на деньги арестованных, хранящиеся в конторе тюрьмы, различные продукты, дозволяемые тюремной инструкцией. Случалось, что в булке оказывался пакетик кокаина, опия, в хлебе – колода карт, в дыне – флакон спирта, но сторожа, обдумывавшие доставку этих запрещенных вещей, действовали согласно, а потому никто не тянул в суд ни хозяина лавки, ни надзирателей. Две камеры, отведенные для контрабандистов, были всегда полны. Эта публика, располагавшая приличными средствами, не отказывала себе в удовольствиях. Кроме того, контрабандные главари, составляющие нечто вроде несменяемого министерства, всегда имели среди надзирателей преданного человека, педанта тюремного режима в отношении всех заключенных, кроме своих. Если человек этот попадался при выносе писем или устройстве побега, – его немедленно заменяли другим, действуя как подкупом, так и шантажом или протекцией различных знакомств. Такая тайная жизнь тюрьмы ничем на взгляд не отражалась на официальной стороне дела; смена дежурств, караулов, часы прогулок, канцелярская отчетность и связь следственных властей с тюремной администрацией текли с отчетливостью военной службы, и арестант, лишенный полезных связей в тюрьме или вне ее, даже не подозревал, какие дела может вести человек, сидящий с ним рядом, в соседней камере.

Вид на тюрьму сверху представлял квадрат стен, посередине которого стоял меньший квадрат. Он был вдвое выше стены. Этот четырехэтажный корпус охватывал внутренний двор, куда были обращены окна всех камер. Снаружи корпуса, кроме окон канцелярии в нижнем этаже, не было по стенам здания ни окон и никаких отверстий. Тюрьма напоминала более форт, чем дом. К наружной стороне, справа от ворот, примыкало изнутри ограды одноэтажное здание лазарета; налево от ворот находился дом начальника тюрьмы, окруженный газоном, клумбами и тенистыми деревьями; кроме того, живая изгородь вьющихся роз украшала дом, делая его особым миром тихой семейной жизни на территории ада.

За то время, что «Медведица» шла в Покет, нога Давенанта распухла, и его после неслож-

ных формальностей заперли в лазарет. Остальных увели в корпус. Расставаясь с Гравелотом, контрабандисты так выразительно кивнули ему, что он понял их мнение о своей участи и желание его ободрить, – в их руках были возможности устроить ему если не побег, то связь с внешним миром. Было уже утро – десять часов. В амбулатории тюремный врач перевязал Давенанту ногу, простреленную насквозь, с контузией сухожилий, и он был помещен в одиночную камеру, где грубая больничная обстановка, бледно озаряемая покрашенным белой краской окном, пахла лекарствами. Решетка, толщиной годная для тигра, закрывала окно. Давенант, сбросив свою одежду, оделся в тюремный бушлат и лег; его мысли упали. Он был в самом сердце остановки движения жизни, в мертвой точке оси бешено вращающегося колеса бытия. Сторож принес молоко и хлеб. Курить было запрещено, однако на вопрос Давенанта о курении надзиратель сказал:

– Обождите немного, потом переговорим. От этих пустых слов, значащих, быть может, не больше, как разрешение курить, пуская дым в какую-нибудь отдушину, Давенант немного развесялился и при появлении военного следователя, ведающего делами контрабанды, уселся на койке, готовый бороться ответами против вопросов.

Войдя в камеру, следователь с любопытством взглянул на Давенанта, ожидая, согласно предварительным сведениям, увидеть свирепого, каторжного типа бойца, и был озадачен наружностью заключенного. Этот светло, задумчиво смотрящий на него человек менее всего подходил к стенам печального места. Однако за его располагающей внешностью стояло ночное дело, еще небывалое по количеству жертв. И так как оставшиеся в живых солдаты были изумлены его меткостью, забыв, что стрелял не он один, то главным образом обвиняли его. Следователь положил портфель на больничный стол и, придвинув табурет, сел, приготавливая механическое перо. Это был плотный, коренастый человек с ускользящим взглядом серых глаз, иногда полуприкрытых, иногда раскрытых широко, ярко и устремленных с вызывающей силой, рассчитанной на смущение. Таким приемом следователь как бы хотел сказать: «Запирательство бесполезно. Смотреть так, прямо и строго, могу только я, прозревающий всякое движение мысли». Среди утех, доставляемых себе специалистами разного рода, немалую роль играет прием позы – забава, нужная им как в целях самоуважения, так и из эстетических побуждений; все это большей частью невинно, однако в обстановке допроса для умного заключенного путем токов, излучаемых мелочами, дает часто указание, как надо себя вести.

Напряженный разговор звучит естественнее всего, если испытуемое лицо занято чем-либо посторонним допросу. Давенант взял кружку с молоком, стал есть хлеб и пить молоко, в то же время отвечая чиновнику.

– Приступим к допросу, – начал следователь, занося перо над бумагой и смотря на руку с кружкой. – Отвечайте, ничего не скрывая, не старайтесь замаять какое-нибудь обстоятельство. Если виновны, немедленно сознайтесь во всем, этим вы облегчите вашу участь. Как вас зовут?

– Джеймс Гантрей.

– Возраст?

– Двадцать шесть лет.

– Ваша профессия? Контрабандист?

– Вы ошибаетесь. Я не контрабандист. Следователь значительно посмотрел на Тиррея, схватил пальцами подбородок, напрягся и, неожиданно встав, приблизился к двери на носках. Затем он кивнул сам себе, успокоенно двинул рукой и вернулся с улыбкой.

– Никто не подслушивает, – сказал следователь, усаживаясь и приветливо взглядывая на удивленного Давенанта. – Не бойтесь меня. Я – член вашей организации. Изложите самым подробным образом историю стычки, чтобы я имел возможность взвесить улики, выдвигаемые таможней, и, вместе с вами, обсудить характер защиты.

– Откровенность за откровенность, – сказал Давенант. – Вы – не следователь, а я – не контрабандист; кроме того, у меня в руках даже не было оружия, когда пограничники захватили «Медведицу».

– Вы не стреляли?

– Конечно. Я не умею стрелять.

– Странно, что вы не верите моим словам, – сказал следователь. – Время идет, и Тергенс

прямо поручил мне помочь вам.

– Ладно, – печально рассмеялся Давенант, – забудем о плохой игре. Прошу вас, продолжайте допрос.

Следователь прищурился, усмехнувшись надменно и самолюбиво, как плохой артист, ставящий свое мнение о себе выше толпы, и переменял тон.

– Заключенный, именующий себя «Джемс Гантрей», вы обвиняетесь в вооруженном сопротивлении таможенному надзору, следствием чего было нанесение смертельных огнестрельных ранений следующим должностным лицам...

Он перечислил убитых, приводя имя каждого, затем продолжал:

– Кроме того, вы обвиняетесь в провозе контрабанды и в попытке реализовать груз на территории порта, состоящей под охраной и действием законов военного времени, что подлежит компетенции и разбирательству военного суда в городе Покете. Признаете ли вы себя виновным?

При упоминании о военном суде Давенант понял, что ему угрожает смертная казнь. Опасаясь Ван-Конета, он решил утаить истину и раскрыть ее только на суде, что, по его мнению, привело бы к пересмотру дела относительно него; теперь было преждевременно говорить о происшествиях в «Суше и море». Несколько подумав, Давенант ответил следователю так, чтобы заручиться расположением суда в свою пользу:

– Потребуется немного арифметики. Я не отрицаю, что стрелял, не отрицаю, что был на судне «Медведица», хотя по причинам, не относящимся к контрабанде. Я стрелял... У меня было семь патронов в револьвере и девять винтовочных патронов; я знаю это потому, что, взяв винтовку Утлендера, немедленно зарядил магазин, вмещающий, как вам известно, девять патронов, – их мне дал сосед по лодке. Итак, я помню, что бросил один оставшийся патрон в воду, – он мне мешал. Таким образом, девять и семь – ровно шестнадцать. Я могу взять на свою ответственность шестнадцать таможенников, но никак не двадцать четыре.

– По-видимому, вы хороший стрелок, – заметил следователь, оканчивая записывать показания. – Что было причиной вашего участия в вооруженном столкновении?

Давенант ничего не ответил.

– Теперь объясните, – сказал следователь, весьма довольный точностью ответа о стрельбе, – объясните, какие причины заставили вас присоединиться к контрабандистам?

– Об этом я скажу на суде.

Следователь попытался вывести причины отказа говорить, но Давенант решительно воспротивился и только прибавил:

– На суде станет известно, почему я не могу сказать ничего об этом теперь.

Чиновник окончил допрос. Давенант подписал свои признания, и следователь удалился, чрезвычайно заинтересованный личностью арестанта, так не похожего ни на контрабандиста, ни на преступника.

Надзиратель, выпустивший следователя, запер камеру, но через несколько минут опять вставил в замок ключ и, сунув Тиррею небольшой сверток, сказал:

– Курите в форточку.

Он поспешно вышел, отрицательно качая головой в знак, что некогда говорить. Тиррей увидел пять фунтов денег, трубку и горсть табаку. Спрятав под подушку табак, он отвинтил мундштук. В канале ствола была всунута записка от Тергенса: «Держитесь, начал осматриваться, сделаем, что будет возможно. Торг.»

Глава VII

С наступлением ночи лавочник закрыл дверь изнутри на болт, после чего вышел черным ходом через маленький двор, загромаженный пустыми ящиками и бочонками, и повесил на дверь снаружи замок, но не повернул ключа. К лавочнику подошел высокий человек в соломенной шляпе и накинутом на плечи коломьянковым пиджаке. Из-за кожаного пояса этого человека торчала медная рукоятка ножа. Человек был худой, рябой, с суровым взглядом и в отличном

расположении духа, так как выпил уже две бутылки местного желтого вина у инфернальной женщины по имени Катрин Рыжая, жившей неподалеку; теперь он хотел угостить Катрин на свой счет.

– Дядюшка Стомадор, – сказал контрабандист, нежно почесывая лавочника за ухом, а затем бесцеремонно кладя локоть ему на плечо и подбоченясь, как делал это в сценах с Катрин, – повремените считать кассу.

– От вас невыносимо пахнет луком, Ботредж. Отойдите без поцелуев.

– Что? А как мне быть, если я роковым образом люблю лук! – возразил Ботредж, однако освободил плечо Стомадора. – У вас найдется для меня лук и две бутылки перцовки? Луком я ее закусываю.

– А не пора ли спать? – в раздумье спросил лавочник. – Еще я думал переварить варенье, которое засахарилось.

– Нет, старый отравитель, спать вредно. Войдем, я выпью с вами. Клянусь этим зданием, что напротив вашей лавки, и душой бедняги Тергенса, – мне нравится ваше таинственное, широкое лицо.

Стомадор взглянул на Ботреджа, трогательно улыбнулся, как улыбаются люди, любящие выпить в компании, если подвернется случай, и решительно щелкнул ключом.

– Зайдем со двора, – сказал Стомадор. – Вас, верно, ждет Катрин?

– Подождет, – ответил Ботредж, следуя за Стомадором через проход среди ящиков к светящейся дверной щели. – У меня с Катрин прочные отношения. Приятно выпить с женщиной, особенно с таким умным человеком, как вы.

Они вошли под низкий потолок задней комнаты лавки, где Стомадор жил. В ногах кровати стоял стол, накрытый клеенкой; несколько тяжелых стульев, ружье на стене, мешки в углах, ящики с конфетами и макаронами у стены и старинная картина, изображающая охоту на тигра, составляли обстановку этого полусарая, неровно мощенного плитami желтого кирпича.

– Но только, – предупредил Стомадор, – луком закусывать я запрещаю: очень воняет. Найдем что-нибудь получше.

Лавочник пошел в темную лавку и вернулся оттуда, ударившись головой о притолоку, с двумя бутылками красной перцовки, коробкой сушеной рыбы и тминным хлебцем; затем, сложив принесенное на стол, вынул из стенного шкафчика нож, два узких стакана с толстым дном и сел против Ботреджа, дымя первосортной сигарой, каких много покупал за небольшие деньги у своих приятелей контрабандистов.

Красный с голубыми кружочками платок, которым Стомадор имел привычку обвязывать дома голову, одним углом свешивался на ухо, придавая широкому, бледному от духоты лицу старика розовый оттенок. Серые глаза, толстые, с лукавым выражением губы, круглый, двойной подбородок и тупой нос составляли, в общем, внешность дородного монаха, как на картинах, где монах сидит около бочки с кружкой пива. Передник, завязанный под мышками, засученные рукава серой блузы, короткие темные штаны и кожаные туфли – все было уместно на Стомадоре, все – кстати его лицу. Единственно огромные кулаки этого человека казались отдельными голыми существами, по причине своей величины. Стомадор говорил громко, чуть хрипловато, договаривая фразу до конца, как заклятие, и не путал слов.

Когда первые два стаканчика пролились в разинутые белозубые рты, Стомадор пожевал рыбку и заявил:

– Если бы вы знали, Ботредж, как я жалею, что не сделался контрабандистом! Такой промысел мне по душе, клянусь ростбифом и подливкой из шампиньонов!

– Да, у нас бывают удачные дни, – ответил, старательно очищая рыбку, Ботредж, – зато как пойдут несчастья, тогда дело дрянь. Вот хотя бы с «Медведицей». Семь человек убито, остальные сидят против вашей лавки и рассуждают сами с собой: родит в день суда жена военного прокурора или это дело затянется. Говорят, всякий такой счастливый отец ходит на цыпочках – добрый и всем шепчет: «Агу!» Я не знаю, я отцом не был.

– Действительно, с «Медведицей» у вас крах. Я слышал, что какой-то человек, который ехал на «Медведице» из Гертонa, перестрелял чуть ли не всю таможеню.

– Да, также и сам он ранен, но не опасно. Это – знаете кто? Чужой. Содержатель гостиницы на Тахенбакской дороге. Джемс Гравелот.

Стомадор от удивления повалился грудью на край стола. Стол двинулся и толкнул Ботреджа, который удивленно отставил свой стул.

– Как это вы красиво скакнули! – произнес Ботредж, придерживая закачавшуюся бутылку.

– Джемс Гравелот?! – вскричал Стомадор. – Бледный, лет семнадцати, похожий на серьезную девочку? Клянусь громом и ромом, ваш ответ нужен мне раньше, чем вы прожуете рыбку!

– Если бы я не знал Гравелота, – возразил опешивший Ботредж, – то я подумал бы, что у Гравелота есть сын. С какой стороны он похож на девочку? Можете вы мне сказать? Или не можете? Позвольте спросить: могут быть у девочки усы в четыре дюйма длины, цвета сырой пеньки?

– Вы правы! – закричал Стомадор. – Я забыл, что прошло девять лет. «Суша и море»?

– Да, ведь я в ней бывал.

– Ботредж, – сказал после напряженного раздумья взволнованный Стомадор, – хотя мы недавно знакомы, но если у вас есть память на кой-какие одолжения с моей стороны, вашей Катрин сегодня придется ждать вас дольше, чем всегда.

Он налил, в помощь соображению, по стакану перцовки себе и контрабандисту, который, отхлебнув, спросил:

– Вы тревожитесь?

– Я отдам лавку, отдам доход, какой получил с тюрьмы, сам, наконец, готов сесть в тюрьму, – сказал Стомадор, – если за эти мои жертвы Гравелот будет спасен. Как впутался он в ваши дела?

– Это мне неизвестно, а впрочем, можно узнать. Что вас подхлестнуло, отец?

– Я всегда ожидаю всяких таких вещей, – таинственно сказал Стомадор. – Я жду их. Я ждал их на Тахенбакской дороге и ждал здесь. Не думаете ли вы, что я купил эту лавчонку ради одной наживы?

– Как я могу думать что-нибудь, – дипломатично возразил заинтересованный Ботредж, – если всем давно известно, что вы Стомадор, – человек бывалый и, так сказать, высшего ума человек?!

– Вот это я и говорю. Есть высшие цели, – серьезно ответил Стомадор. – Я передал девять лет назад дрянную хижину юному бродяге. И он справился с этим делом. Вы думаете, я не знал, что в скором времени откроются рудники? Но я бросил гостиницу, так как имел другие планы.

Говоря так, Стомадор лгал: не только он, но и никто в окрестности не мог знать тогда, какое открытие будет сделано в горах случайной разведкой. Но, одолеваемый жаждой интриги, творящей чудак и героев, лавочник часто обращался с фактами по-дружески.

– Этот мальчик, – продолжал Стомадор, – ужасно тронул меня. Итак, начнем действовать. Что вы предлагаете?

– В каком роде?

– В смысле установления связи.

– Это не трудно, – сказал, подумав, Ботредж. – Однако вы должны крепко молчать о том, что узнаете от меня.

– Наверное, я побегу в тюремную канцелярию с подробным докладом.

– Бросьте, – нахмурился Ботредж, – дело серьезное. В таком случае я должен немедленно отправиться к Катрин и...

На этом месте речь Ботреджа перебил тихий стук в дверь, закончившийся громким хлопком ладони о доску.

– Ясно, это – она, – сказал Ботредж без особого восторга.

Стомадор отодвинул засов и увидел рыжую молодую женщину, в распахнутой белой кофте, с яркими пятнами на щеках.

– Так что же это? Я все одна, – сказала Катрин, шагнув к Ботреджу длинной ногой в стоптанном башмаке, – а ты тут расселся?!

– Кэт, дорогая, – примирительно заявил Ботредж, – я только что хотел идти к тебе по важ-

ному делу. Надо передать записку в гостиницу. Факрегед... Он как?

Катрин взглянула на Стомадора тем диким взглядом, который считался неотразимым среди сторожей тюрьмы и контрабандистов, но не с целью завлечь, а лишь чтобы уразуметь: не вышучивают ли ее Стомадор и Ботредж.

Значительно посмотрев на нее в упор большими глазами, Стомадор прямо опустил ей в руку два золотых, и красные пятна щек Катрин всползли до висков.

– Ага! – сказала она тотчас, деловито нахмурясь и закулив папироску, которая до того торчала у нее за ухом. – Так вот что! Ну, что ж Факрегед! Он сегодня свободен. Это не пойдет.

– Так думай! – вскричал Ботредж,

– Который час? – спросила Стомадора Катрин, сильно затягиваясь и пуская дым через ноздри.

– Без десяти полночь, – ответил тот, вытащив из кармана большие золотые часы.

– В полночь у наружных ворот станет Кравар, – вслух размышляла Катрин, беря невыпитый стакан Ботреджа. – У внутренних ворот станет Хуртэй. – Она выпила стакан и села на стул к стене, кривя губы и кусая их, со всеми признаками напряженных соображений. – Пишите записку.

Тотчас отстегнув фартук, Стомадор сбросил его, вытащил из кармана блузы записную книжку, карандаш и, низко склонясь над столом, принялся строчить записку. Время от времени Ботредж замечал:

– Пишите печатными буквами. Подпись не ставьте. Кому пишете, – то имя также не ставьте. Чтобы было все понятно ему и никому другому.

– Да, остерегитесь, – подтвердила Катрин. – Адрес передадим на словах.

Совместное обсуждение записки, которую Стомадор читал вслух, удовлетворило всех. Скатав записку в трубку, Катрин затолкала ее в волосы и направилась к двери.

– В лазарет, – медленно повторила она урок, – Джемс Гравелот. Не перепутали?

– Достоверно, – успокоил ее Ботредж, – что знаю, то знаю.

– Ждите, – кинула она, стреляя белой кофтой в темную ночь.

– Извилистая женщина, – сказал Ботредж. – Если она не сделает, то никто сегодня не сделает. Прошло девять дней, как они арестованы, через шесть дней дежурить по лазарету будет тот самый Факрегед... так ему накануне мы... Поняли?

Катрин вышла на улицу и, все время осматриваясь, ходом заячьей петли приблизилась к железной двери в сквозных железных воротах, ярко озаренных электрическим фонарем. За ними стоял плотный, коренастый Кравар. Его багровое лицо с седыми бровями показалось между железных прутьев. Узнав Катрин, сторож легонько свистнул от удивления.

– Как вы поздно гуляете! – сказал Кравар нащупывающим тоном, а также в смутной надежде, что Катрин обратится к нему с какой-нибудь просьбой: никогда он не видел ее ночью перед тюрьмой.

Катрин остановилась в тени каменного столба тюремных ворот и приложила палец к губам.

– Что вы все вьетесь, что вьетесь? – нежно и глухо забормотал надзиратель, протягивая сквозь прутья руку, – схватить Катрин выше локтя. – Со мной не поговорили еще ни разу. Стар, да?

Кравар оглянулся на Хуртэя, стоявшего к нему спиной за внутренними воротами, и, дернув фуражку за козырек, поправил блестящий, лакированный ремень, туго охватывавший тучный живот.

– Не болтайте глупостей, – сказала Катрин, опираясь плечом о прут и улыбаясь разгоревшимся лицом так натурально, что Кравар начал сопеть. – Для меня, я вам скажу откровенно, все мужчины одинаковы.

– Будто бы? Так ли? – сказал Кравар, задумчиво прикладывая к губам бородку ключа. – Так вы идете со свидания с «одинаковым»? Или на свидание?

– Попробуйте угадать.

– Катрин, я пришел бы к тебе завтра? Честное слово. Вы знаете, что я положительный че-

ловек.

– А! Вы давно мне это говорите. Однако Римма уже получила от вас юбку и туфли, а для меня вам жалко пустого ореха.

– Кэт! – сказал надзиратель, схватив ее за обе руки выше локтей. – Так это потому, что вы меня презираете. Я дорого бы дал... да, но вы увлекаетесь именно преступным миром. Зачем пришли? Говорите!

Катрин высвободила руки и, отступив, достала из волос бумажную трубочку.

– Слушайте, Кравар, – шепнула искусительница, сжав горячей рукой потную кисть разволнованного сторожа, – если передадите записку, можете тогда мне тоже купить туфли.

– Так! Два удовольствия сразу: записку любовнику и еще туфли за это! Вы... хитрая гусыня, Кэт, ей-богу.

– Вот и видно, какой вы положительный человек. У меня нет любовника в тюрьме, клянусь чем хотите! Просто один старый приятель хочет известить своего знакомого.

– Ведь вы надуете, Кэт?

– В таких случаях не надуют. Кравар знал, что Катрин не врет. В подобных случаях правила игры соблюдаются очень строго.

– Боюсь я... – начал Кравар и умолк, всматриваясь в насторожившееся лицо женщины с ласковой подозрительностью. Он молчал, думал, наконец сказал: – Можно ли посмотреть, что написано?

– Конечно! Натe. Читайте, пожалуйста, ничего особенного там нет.

Кравар взял бумажку, оглянулся на внимательно смотрящего на него Хуртэя, кивнул ему и прочел следующее:

«Будь здоров, старина Джемс, помнишь нашу встречу девять лет тому назад на Тахенбакской дороге? Как здорово уничтожал ты пирог с репой и вино. Я слышал, что твои дела пошли хорошо. Сидел ты тогда с Том Адором. Да, было дело. Он кланяется тебе. Сообщи, не нужно ли тебе чего. Поправляйся. Твой Билль».

– Ну да, простая записка, – сказала Катрин, следя за выражением лица Кравара, который, понюхав, не пахнет ли бумага луковым соком, заменяющим симпатические чернила, еще, для верности, воспламенив спичку, погрел бумажку на огне, – там ничего нет. Я знаю.

Кравар выпятил нижнюю губу, решительно повернулся и подошел к Хуртэю. Они вдвоем долго рассматривали записку. Оставив ее у Хуртэя, Кравар повернулся к Катрин.

– Кому передать? – спросил Кравар.

– Джемсу Гравелоту, в лазарет. Пусть он сейчас пришлет мне ответ.

– Катрин, я тебя люблю, это верно, только сама понимаешь: если мы с Хуртэем... это одно, а в лазарете не то. Деньги необходимы.

– Так возьмите, – она подала Кравару один золотой. – Деньги не мои, ясно.

– Мы тут все мудрецы, – ответил Кравар. – Я за шесть лет видел и знаю немало. Жди. Лучше пройдишь, только далеко не уходи. Я звякну ключом.

В это время Давенант спал и видел во сне темную воду, заливающую ночные поля. Его ноги было ни лучше, ни хуже, колено не сгибалось, а потому болезненно было подходить к форточке для курения, и он, сколько мог, воздерживался курить.

Надзиратель, дежурящий внутри лазарета при одиннадцати одиночных камерах, беззвучно открыл дверь и, войдя, резко тряхнул арестованного за плечо. Давенант перестал дышать и открыл глаза.

К его подбородку упала записка.

– Пишите ответ, – шепнул надзиратель, немедленно уходя и закрывая дверь с наружной стороны.

Замок тихо щелкнул.

Давенант оперся на локоть и прочел записку, мгновенно поняв странный текст по ассоциациям «девяти лет», «Том Адора» и «Тахенбакской дороги». Не зная, где Стомадор, Давенант видел, что ему пишет именно этот человек, все хорошо зная о нем.

Он испытал покорное чувство заботы, как будто грубая рука хмуро подоткнула вокруг него

тюремное одеяло.

Ему стало жарко и весело. Утишив глубоким вздохом стук сердца, заливаемого надеждой, Давенант вытащил из тюфяка маленький карандаш, присланный на днях Тергенсом, и ответил Стомадору на обороте записки то существенное, о чем упорно размышлял эти дни:

«Мне нужен Орт Галеран. Если он жив, о нем может сказать содержатель кафе Адам Кишлот; я забыл номер дома, где жил Галеран. Кафе было тогда на углу Пыльной и Проточной улиц. Надобно сказать Галерану, что его извещает о себе мальчик, с которым он ездил на мыс Бай лет девять назад и который дал ему золотой для игры».

Давенант не подписался из осторожности, но и без того эти строки едва вместились на обороте записки. Не жалея, от возбуждения, больной ноги, он захромал к двери, прислушался и легонько стукнул. Надзиратель был тут. Открыв дверь, он быстро схватил записку и снова запер Давенанта, севшего на кровать думать. Через несколько минут Кравар звякнул ключом о ворота, и Катрин вышла из тени.

– Берите скорей и уходите, Кэт, – сказал Кравар. – Начальник тюрьмы отправился проверять посты. Ну и женщина... – прибавил он ей вслед. – Смотрите же, я завтра приду!

Не обернувшись, Катрин молча кивнула и была в лавке, когда Стомадор и Ботредж уже изныли от ожидания, начав тупо молчать.

– Читайте! – сказала, запыхавшись, Катрин. – Вся почта в Покете не стоит одной моей головы.

Она бросила записку на стол и, хвастливо подбоченясь, налила себе стакан перцовки, которую выпила с жадностью.

– Как достигла? – спросил восхищенный Ботредж, хватая ее за талию и подвигая к себе, пока Стомадор трудился над прочтением неразборчивого почерка Давенанта. – Как ты достигла, я спрашиваю?

– Женские дела хитрее твоих, молодчик, – ответила Катрин. – Я дала золотой. Это за вами долг, Стомадор.

Продолжая читать, Стомадор рассеянно взглянул на нее и так же рассеянно подал ей три золотых.

– Что делать? Такая наша жизнь, – вздохнул Ботредж, ухмыляясь своим мыслям об этом случае у ворот. – Так все удачно, дядюшка Стомадор?

– Ах, милая Кэт, – сказал Стомадор, – ты так услужила мне, что я открываю тебе кредит на целый месяц и ты можешь брать, что захочешь. Поручено мне, понимаете, найти одного человека, а так как вы теперь должны забрать еще две бутылки перцовки и идти спать, я тут один буду составлять планы.

Глава VIII

На другой день, упросив Ботреджа торговать вместо себя, Стомадор отправился искать Галерана по указаниям записки Тиррея и, надев городской костюм, явился прежде всего по адресу Кишлота, который давно уже закрыл свое «Отвращение». На людном месте Кишлот держал магазин готовой обуви. Дела его шли так успешно, что он собирался открыть еще два таких магазина. Не употребляя более ни противоестественной, ни сколько-нибудь оригинальной рекламы, Кишлот попал на «жилу», как обещал это в припадке зависти Давенанту; секрет обогащения Кишлота заключался в покупке больших партий бракованного товара за полцены и продаже его по стоимости нормальной обуви. Незначительный брак, очевидный специалисту, сходил у простого покупателя, если он замечал его, за случайность; при жалобах Кишлот охотно обменивал бракованное изделие на безупречное, но жалоб было мало, а товару много.

Кишлот располнел, выучился играть на механическом пианино и сватался к одной веселой вдове, имеющей собственный дом.

– Орт Галеран? – спросил Кишлот Стомадора, когда узнал о цели визита. – Его адрес известен в кафе «Понч». Там я встретился с ним, но ко мне он уж давненько не заходил.

– Главное было мне – найти вас, – сказал Стомадор. – Я провел на Пыльной улице часа два,

расспрашивая в домах и на углах, я устал, сел в пивной и взял газету. Тут я увидел, как я глуп. Среди объявлений на видном месте означен ваш магазин: «Лучший магазин готовой обуви „Крылья Меркурия“ – Адам Кишлот». Итак, я пойду в «Понч».

– Мы помещаем объявления два раза в неделю, – добродушно сказал Кишлот. Он помолчал. – Вы знаете Галерана?

– Нет. Но один человек, мой друг, знает его и хочет разыскать.

Поблагодарив, Стомадор оставил Кишлота и приказал шоферу таксомотора ехать в кафе «Понч».

Вскоре вошел он в прохладное помещение со столиками из малахита, отделанное красным деревом. Среди газет и дамских шляп Стомадор пробрался к буфету, где первый же служащий на его вопрос о Галеране, лишь чуть поискав глазами, указал высокого человека с белой головой, который сидел около зеркала. Брови Галерана были еще черны, но шея сделалась жилистой, волосы на голове поседел, а в глазах и складках рта светилось терпеливое доживание жизни, свойственное одиноким под старость людям. Галеран пил черный кофе и читал книгу. Возле его столика был свободный стул.

Стомадор отвесил медленный поклон и попросил разрешения занять стул. Галеран молча кивнул ему. Стомадор сел и начал пристально смотреть на соседа по столику, который, пожав плечами, возобновил чтение. Чувствуя взгляд, он поднял голову и, заметив, что грузный незнакомец смотрит на него, таинственно и выжидательно улыбаясь, спросил:

– Вы что-нибудь мне сказали?

– Еще нет, но скажу, – тихо заговорил Стомадор. – Вы ли – Орт Галеран?

– Без сомнения.

– Так слушайте: в здешней тюрьме сидит Джемс Гравелот, которому, когда он был еще мальчиком, девять лет назад, я подарил гиблую, за худостью дел, гостиницу на Тахенбакской дороге, милях в сорока от Гертона. Правильнее говоря, я бросил ее. Гравелот удержался. Ему помогло открытие рудников. Не знаю, как и почему, только он недавно плыл в Покет на шхуне контрабандистов и был захвачен после драки со всеми, кто остался в живых. Сегодня ночью удалось достать от него записку, которую извольте прочесть.

Галеран с сомнением поднес бумажку к глазам, но лишь прочел о золотой монете, взятой на игру у Да-венанта, как страшно оживился, даже покраснел от волнения.

– Боже мой! Да ведь это Тиррей! – сказал он самому себе. – Кто вы, дорогой друг?

– Том Стомадор, к вашим услугам. У меня лавка против тюрьмы.

– Черт возьми! Рассказывайте подробно! Когда-то я очень хорошо знал Дав... Гравелота.

Стомадор немного мог прибавить к первоначальному объяснению; он рассказал встречу с юношей, описал его отрепанный вид, наружность, но было видно, что он навсегда запомнил то соединение простоты, решительности и незащитности, каким являлся Тиррей, также памятный Галерану, в особенности после его исчезновения, причины которого скоро выяснились, как только Франк Давенант явился к Кишлоту и стал ораторствовать в циническом духе, жалуясь, что сын бросил его. Пока Давенант мучился, пытаясь утолить жадность отца, Галеран в эти дни выиграл в Лиссе, при никогда не бывалом, исключительном везении, пятнадцать тысяч фунтов, и четвертая часть этой суммы приходилась на долю мальчика, ушедшего пешком от нечистоты, так неожиданно замаравшей светлую дверь, уже приоткрывшуюся его жадной душе.

Разъяснив Галерану, что подробные сведения о своих обстоятельствах Гравелот может дать лишь через несколько дней, когда надзиратель Факрегед примет суточное дежурство по лазарету, Стомадор отправился домой, записав адрес Галерана, который уже семь лет владел белым одноэтажным домом в десяти милях от Покета. Дом начинал собой ряд береговых дач, разбросанных по уступам скал среди пропастей и садов. Эти гнезда солнечно-морской тишины имели сообщение с городом посредством дорог – шоссейной и одноколейной железной. В доме Галерана жили, кроме него, шофер Груббе и девушка Тирса, сестра шофера, исполняющая обязанности прислуги и экономки.

Галеран жил в четырех комнатах, обставленных так просто, как это умеют делать любители отчетливой линии в рисунке и мелодии в музыке. Тонкое белье, электрические лампы с зеле-

ными колпаками, фаянс с синим узором, гнутая мебель, прекрасное собрание цветных гравюр, а также обилие многолетних цветущих растений и, общий для всех комнат, тонкий французский ковер, голубой узор которого отражался в стеклах книжных шкафов, – вот все, что, озаренное солнцем через большие окна, тихо блестело в доме. Галерана никто не посещал. К пятидесяти годам его натура выработала своеобразный антитоксин, мешающий приближаться к нему иначе, как только в нейтральных местах, каковы – улица, кафе, клуб. Он не презирал, не ненавидел людей, но любил их как людей в книгах. Тиррей был исключением. Тревожно и горячо вспомнил о нем Галеран. В нем он узнавал свою молодость; но его спасал холодок, подобный холодку мятой лепешки, нагоняющий размышление.

Галеран неделями сидел дома, разводя пчел, читая или занимаясь рыбной ловлей с парусной лодки, и неделями жил в покетской гостинице «Роза и слива», играя поочередно то на бильярде, то в карты.

Выигрыш Тиррея – три с половиной тысячи фунтов, положенные на текущий счет, образовали сумму в шесть тысяч, и ни разу Галеран не коснулся этих денег.

Он ждал, что мальчик придет и поблагодарит его.

Тиррей пришел. Теперь следовало ему помочь.

Глава IX

Меж тем ноге Давенанта стало хуже; после временного облегчения коленный сустав распух, нога отяжелела, и больной мог только садиться, хотя ему это было запрещено. Если же он изредка вставал, чтобы курить, то сильно рискуя, против запрещений врача. Врач Добль, которому безотчетно нравился Давенант, никак не был склонен торопить суд и, устроив подходящий консилиум, дал условное заключение о возможности предстать раненому перед лицом суда лишь через две недели, то есть, считая день свидания Стомадора и Галерана отправным пунктом, – на одиннадцатый после того день.

За это время губернатору Гертону было уже все известно о Гравелоте. Сын и отец, чрезвычайно довольные оборотом дела, приняли путем старых связей нужные меры против оглашения позорной истории, почему заранее было решено в отношении Давенанта – вынести ему заочный приговор, в силу его прямого признания. Отсрочка судебного разбирательства из-за болезни главного преступника была, таким образом, лишь проявлением необходимой корректности. Если бы его ноге стало действительно лучше, председатель военного суда, майор Стегельсон, после совещания с прокурором решил в таком случае назначить суд, не ожидая выздоровления Гравелота. Эти внутренние отношения чиновников и военных, среди худшей их части, представляли закрытый ящик, хорошо знакомый каждому специалисту. При защите общего тайного интереса все это возмутительно только со стороны, внутри же – просто и почти мирно.

Со своей стороны, Давенант был совершенно уверен, что Георг Ван-Конет прекрасно осведомлен о последствиях его бегства и не упустит случая заранее исказить факты или замять их, если арестованный приступит к разоблачению. Не зная, что ожидать от столь решительного поведения властных лиц в том случае, если он отправит следователю письменное показание, в котором вдобавок было бы невозможно доказать связь поступка Готлиба Вагнера с участием в этом преступлении Ван-Конета, – Давенант ждал суда. Сомнения были и здесь, так как битва «Медведицы» с таможенной стражей никак не относилась к безобразиям Ван-Конета за столом «Суши и моря», но ничего другого Давенант придумать не мог, разве лишь Галеран, если он жив, способен был ему помочь. Положение молодого хозяина гостиницы ухудшалось еще страстным тоном местных газет, находивших случай с «Медведицей» исключительным по дерзости и свирепости сопротивления контрабандистов. Два репортера пытались выхлопотать интервью с Тергенсом и Гравелотом, но им было отказано.

Визит следователя повторился. На этот раз чиновник пришел за подтверждением добытых им сведений о настоящем, втором имени Давенанта и о бегстве его из своей гостиницы, когда таможенный отряд обнаружил два ящика дорогих сигар. Давенант не стал лгать: признавши, что все это так, он рассказал следователю о проделках Готлиба Вагнера, вперед зная, что следова-

тель ему не поверит. Но ни слова о Ван-Конете, опасаясь неизвестных ходов злой силы, уже показавшей свое могущество, он не проронил и, стерпев насмешливую критику следователя в отношении таинственного Вагнера, подписал показание в том виде, в каком это оказание дал. Хотя теперь у суда были основания считать его контрабандистом и притондержателем, он, как сказано, для всего главного решил ожидать суда.

Существование пленника омрачали жестокие боли, какие приходилось ему терпеть в часы перевязок. Хотя после перевязки Давенант чувствовал некоторое облегчение, но промывание раны и возня с ней были всегда очень мучительны. Врач появлялся в сопровождении надзирателя, следившего за соблюдением правил одиночного заключения. Морщась от болезненных ощущений, но и улыбаясь в то же время, Давенант обыкновенно принимался шутить или рассказывал те смешные истории, каких наслушался довольно за девять лет среди разных людей. Тюремные служащие отлично видели, что Гравелот не контрабандист. Через Тергенса уже шли по тюрьме слухи о ссоре Гравелота с каким-то очень важным лицом высшей администрации, причем, разумеется, играла роль светская дама, но слухи эти, не принимая ни окончательной, ни достоверной формы, породили к Гравелоту симпатию, и, лишь боясь потерять место, врач не делал узнику тех существенных одолжений, одно из которых пало на долю Катрин Рыжей.

Несколько раз в камеру Давенанта являлся начальник тюрьмы, мрачный седой человек с острым лицом. Тщательно осмотрев камеру, окно, нехотя пробормотав:

«Имеет ли заключенный претензии?» – начальник продолжительно взглядывал последний раз на замкнуто следящие за его движениями серые глаза Давенанта и уходил. Однажды, с целью испытать этого человека, Давенант сказал ему, что желает вызвать следователя для весьма существенных показаний. Беглое соображение, мелькнувшее в глазах начальника тюрьмы, выразилось вопросом:

– Какого рода сведения?

– Одно лицо, – сказал Давенант, – лицо очень известное, получило от меня удар в гостинице...

– Относительно всего, что прямо не относится к делу, – перебил, поворачиваясь, чтобы уйти, начальник, – вы должны подать письменное объяснение.

С этим он ушел, но Давенант догадался, что хитрый администратор действует заодно с судом и всякое письменное изложение причин мрачной истории отправит непосредственно губернатору или же уничтожит.

Жар и томление раны вынуждали Давенанта с нетерпением ожидать ночи, когда сон уводил его из тюрьмы в страну грез. Он старался спать днем, чтобы меньше хотелось курить, так как за стояние у форточки приходилось ему платить возобновлением острой боли в колене. Без других собеседников, кроме книг тюремной библиотеки, в отвратительно светлой пустоте камеры, где отсутствовало хотя бы что-нибудь лишнее, так необходимое зрению человека, Давенант отдавался воображению. Иногда он видел Кишлота и красные зонтики девочек, смеющихся так, что все смеялось вокруг. Он бродил с пьяным отцом, искал в темном саду ключ и шел по неизвестной дороге, стремясь обогнуть гору, закрывающую ярко озаренный театр. Но меньше всего он хотел, чтобы те девушки, от которых у него осталось странное впечатление – нежности и любви к жизни, – узнали, где он находится. Тогда они должны были вспомнить его отца. И в простоте сердечной Давенант надеялся, что они уже давно забыли о нем.

Через несколько дней после того, как записка Сто-мадора была получена Давенантом, начавшим с той ночи напряженно ожидать дальнейших событий, на исходе двенадцатого часа полудня произошла обычная смена дежурств. Новый надзиратель обошел по порядку все одиночные камеры лазарета и последней открыл дверь Тиррея. Это был Факрегед, молодой человек лет тридцати, с нездоровым цветом лица и черными усиками. Его черные небольшие глаза слегка улыбнулись и, тихо прикрыв дверь, чтобы надзиратель общего отделения лазарета случайно не подслушал беседу, он присел на кровать в ногах Давенанта, кивая ему в знак соблюдения спокойствия и доверия. Чувствуя начало событий, но из осторожности только молча и выжидательно улыбаясь, Давенант взял от Факрегеда записку Тергенса, почерк которого ему был уже известен.

Тергенс писал:

«Доверьтесь подателю безусловно. Он не сможет достать только птичьего молока. Т.»

– Давайте ее обратно, – шепнул Факрегед и спрятал записку за подкладку фуражки, – я ее потом уничтожу. Теперь слушайте: все, что нужно передать кому бы то ни было, можете мне сказать на словах, так безопаснее, но, если необходимо писать, тогда приготовьте письмо к вечеру и засуньте его в остаток хлеба, какой получаете на ужин, хлеб можно бросить в миску. Хотя мне и доверяют, но осторожность никогда не мешает. У вас карандаш есть? Так. Возьмите бумаги.

Факрегед вынул из своей записной книжки заранее приготовленные листки, а Давенант спрятал их в прореху матраца.

– Я уже писал, – сказал он, так же торопясь все узнать, как Факрегед, видимо, торопился выйти. – Дошло ли письмо? Где Том Стомадор?

– Уже разыскали Галерана, – поспешно ответил Факрегед, вставая, отходя к двери и стоя к ней спиной. Его рука тянулась взяться за ручку двери. – Действовать будут вовсю. Стомадор торгует напротив тюрьмы. У него лавка.

Вне себя от такого количества важных и поразительных сообщений, Давенант счастливо расхохотался. Крайнее возбуждение выразилось тем, что на его левой щеке проступило яркое красное пятно, захватившее угол глаза и висок; как бы мурашки бегали в щеке, и он бессознательно потерял ее.

– Вся щека у вас стала красная, – сказал Факрегед. – Что это такое?

– Я не знаю., нервен я стал в последние дни, – ответил удивленный Давенант. – Что же еще? Как Тергенс?

Факрегед прислушался к неопределенному звуку в коридоре, махнул рукой и выскочил, тотчас щелкнув ключом.

Эти известия отозвались на Давенанте почти как чувство внезапного освобождения, – как если бы уже подан был к тюрьме экипаж увезти его прочь от мрачной игры стен и ключей. «Стомадор против тюрьмы, – повторял Давенант.

– Галеран знает обо мне!» Диковинность человеческих встреч веселила его. Он лежал, тихо смеялся и прислушивался к изредка раздающимся звукам тюрьмы, напоминающим металлические взрывы, голос железа, шаги каменных статуй. Немедленно захотелось ему писать Галерану обо всем, подробно и точно. Воспоминания оживили образ этого человека, к которому он чувствовал уважение и благодарность. Дыша всей силой легких, теснящих оглушенное надеждами сердце, Давенант, презирая боль в ноге, даже находя ее приятной, как незначительное обстоятельство, бессильное повредить другим, более важным обстоятельствам, встал и долго курил у форточки. Наконец нервы его утихли, он сел писать Галерану, стараясь поместить как можно более слов на тех трех листиках, которые дал ему Факрегед. Кое о чем он не писал. Так, он хотел на словах рассказать надзирателю о деньгах и серебряном олене, запрятанных в трещине камня, также на словах передать все имена – от Ван-Конета до Фирса.

Пока он писал, Факрегед методически ходил по коридору, иногда открывая железные форточки дверей и осматривая камеры пытливым взглядом. Открыв форточку Давенанта, Факрегед встретился с ним глазами и, не удержавшись, по-детски усмехнулся той игре в сторожа и заключенного, которую они вели между собой.

Зная, что такой случай представится вновь не очень скоро, Давенант передал сжатыми выражениями, сокращая слова и избегая прилагательных, все существенное своей истории за девять лет, умолчав лишь о том, с какой целью ушел из Покета в Лисе. Не назвав по имени ни одно действующее лицо истории, завязавшейся в «Суше и море», он вечером осторожно постучал в дверь и передал Факрегеду нужные имена, тщательно объяснив, какое отношение к нему имеет тот или другой человек, а также как найти оленя и деньги. Когда Факрегед затвердил урок, что было не трудно для его изощренной в этих делах памяти, они расстались и больше не говорили друг с другом. Вечером Давенант затолкал свое письмо в недоеденный хлеб, и дежурный по лазарету арестант, под наблюдением отдельно приставленного для этой цели надзирателя, а также и Факрегеда, обошел камеры и забрал посуду. Эти посещения происходили всегда быстро, в

молчании, без лишних движений, но Факрегед легким наклоном головы дал знать узнику, чтобы он о дальнейшем не беспокоился. Действительно, на другой день письмо было у Стомадора, и он, прежде чем отнести его Галерану, ожидавшему соумышленника в назначенной для того пивной, недалеко от тюрьмы, старательно прочитал его, а затем на особой бумажке, чтобы не перепутать, записал все, что сказал ему Факрегед отдельно от письма Давенанта. Эти имена были: Георг Ван-Конет, Сногден, Вейс, Лаура Мульдвей, дочь и отец Баркеты, Петрония и Фирс.

Особенно интересовал Стомадора камень, в трещину которого Гравелот опустил деньги и серебряного оленя. Розыск этих вещей он брал на себя, зная, как много и без того предстоит Галерану различных хлопот. Кроме того, Стомадор не мог упустить редкий случай прямого участия, связанного воспоминанием о месте битвы с интимной стороной характера лавочника. Никогда и никому не говорил он о ней, мало думал о ней и сам, но эта сторона его характера единственно определяла поступки странного толстяка.

Есть род любителей живописного действия, интриги и волнующего секрета. Точно такой человек был Стомадор, неожиданный подарок которого Давенан-ту – в виде «Суши и моря» – вытекал лишь из того, что трактирщику надоело ждать в малопосещаемой местности появления кареты с персонажами пятого акта драмы: будь то похищение женщины или таинственное наследство – это было для него безразлично, но он тосковал о невозможности сражаться вместе с осаждаемым гостем против шпак и револьверов, громящих дверь, заваленную изнутри мебелью. Стомадор дельно догадывался об особой роли в жизни людей таких осиных гнезд всяческих положений и встреч, каковы гостиницы малолюдных мест, но желал он всего такого поспешно и ярко, как драгоценных игрушек, забывая, что действительность большей частью завязывает и развязывает узлы в длительном темпе, более работая карандашом и пером, чем яркими красками. И, как это всегда бывает с осуществлением представлений, мрачное несчастье Давенанта, вытекшее из естественной его склонности сопротивляться нечистоте, казалось Стомадору происшествием заурядным, а трещина в камне – осколком достодождливой интриги... Значит ли это, что представление сильнее события? Сказать трудно: видимо, как и с кем.

После многих блужданий и неудач Том Стомадор удовлетворял теперь свою жажду зрителя и участника живописного действия торговлей против тюрьмы, он вошел во вкус этого дела, так как постоянно был в курсе тюремных драм и тайных сношений с контрабандистами. Его увлекло ожидание редких или трагических случаев, а информаторов было достаточно, начиная родственниками заключенных и кончая теми же надзирателями, болтавшими иногда лишнее в задней комнате лавки, где, случалось, они играли и пили.

Накануне этого дня, еще с вечера получив тюремную ведомость относительно продуктов, какие надо было сегодня утром отпустить тюремным рассыльным, Стомадор приготовил товар заранее, работая часть ночи, – все развесил, завернул и уложил в корзины. Ботредж заменил его на остальную часть дня, а Катрин явилась помогать. На вопросы жен надзирателей, куда девался старик, контрабандисты отвечали, что Стомадор уехал проводить больную родственницу.

Накануне этого дня Галеран был у военного прокурора, полковника Херна, желая выяснить дело и добиться разрешения на свидание с заключенным. Рассматривая военное судопроизводство как лабораторную тайну, Херн весьма вежливо и выразительно дал понять Галерану, что он осуждает ходатайства посторонних лиц, хотя бы и симпатизирующих обвиняемому. Однако Херн не мог отказать себе в удовольствии привести статьи закона, по которым четыре человека – Гравелот, Тергенс и еще двое – должны были умереть на виселице. Поэтому разговор продолжался.

– Я не вижу причин, – сказал Херн, – почему обвинение должно быть сдержаннее в отношении Гравелота. Он защищал груз «Медведицы» с яростью собственника, его собственное признание говорит о шестнадцати жертвах, семьям которых таможенное управление должно теперь исхлопотать пенсию. Следствие установило, что мнимый Гантрей есть Джемс Гравелот, владелец гостиницы при одном из береговых пунктов, отчаянно зараженных контрабандой. Гравелот скрылся от обыска, давшего существенные доказательства его участия в контрабандных делах. Нет фактов более убедительных, как хотите.

– Вы правы, – согласился Галеран, не желая раздражать Херна сомнениями. – Мне остается

узнать, не возник ли у следствия вопрос о душевной нормальности Гравелота? Характер его ожесточенного сопротивления позволяет задуматься. Хранение контрабанды, если даже это доказано, не есть повод к отчаянию. Или Гравелот болезненно возбудим, или был вынужден почему-то сопротивляться до последней возможности.

Сказав это, Галеран не подозревал, что он коснулся тайной стороны дела, и Херн внимательно посмотрел на него. Губернатор мог сильно повредить прокурору, если бы Херн отказался потворствовать просьбе отца оказать сыну дружескую услугу: выгородить из принявшего неожиданный оборот дела имя Георга Ван-Конета. Эти слова Галерана были причиной того, что Херн категорически отказал ему в свидании с Давенантом. После окончания следствия навещать заключенных могли только ближайшие родственники.

Человек, не имеющий положения в обществе, ничем и никому не известный, основательно утомил Херна. Он встал.

– Свидание невозможно, – повторил Херн. – Относительно предполагаемой сложности характера вашего протеже я должен заметить, что военный суд лишен права углубляться в мирозерцание контрабандистов, как ни любопытен этот вопрос сам по себе.

На том Галеран ушел. Письмо Тиррея просветило его. Но ясность, которой он ожидал, была так сложна по смыслу предстоящего ему действия, что он только махнул рукой, откидывая серьезное размышление на дорожные часы. Ехать прежде всего следовало в Гертон.

– Прочитав письмо, – важно заявил Стомадор, – я понял, что эта история охватывает три момента: семейный момент, личный момент и уголовный момент. Что касается спрятанных в камне денег и других вещей, то, я думаю, лучше будет этим заняться мне, я знаю окрестности. Остальное в ваших руках.

– Да, ступайте и разыщите деньги, – сказал Галеран, – мне же предстоит видеться со всеми людьми, имена которых вы записали. Гравелот нажил безобидных и ничтожных врагов: губернаторскую семью. Острота дела – в трудности доказать связь между таинственным поступком Вагнера и действиями Ван-Конета. Даже доказав это, мы создадим новое, отдельное дело, едва ли помогающее Гравелоту.

– Чрезвычайные затруднения! – озабоченно и торжественно провозгласил Стомадор. – Только ваша голова может одолеть возникающие препятствия, но не моя.

– Гравелот ударил Ван-Конета за оскорбление женщины, – продолжал Галеран,

– и если я допускаю, что сигары были подброшены с намерением избежать компрометации, возможной после того, как побитый уклонился от дуэли, то любой юрист вправе толковать это как совпадение. Короче говоря, улик нет против Ван-Конета, и, повторяю, если бы они нашлись, – новое дело против Ван-Конета не оправдает Гравелота по делу «Медведицы». Однако ничего другого не остается, как пригрозить сыну губернатора оглаской скандала, чтобы тот пустил в ход все свое влияние ради смягчения участи Гравелота. А для этого я должен заручиться показаниями Баркета, его дочери и Петронии; быть может, нелишне потолковать со Сногденом и Лаурой Мульдвей. В отношении этих лиц нельзя заранее ничего сказать.

– Правильно! – вскричал Стомадор. – Вы рассуждаете, как министр.

– Увы! Как шантажист. Я предпринимаю шантаж, это вам скажет простой судейский рассыльный.

– Рискованная вещь бить сына губернатора по лицу, да еще при свидетелях!

– заметил Стомадор, все еще озадаченный поступком Гравелота. – Никак не решусь сказать, мог ли бы я сделать то же на его месте. Вопрос, как хотите, щекотливый!

– Он хорошо поступил, – сказал Галеран. – Это был скромный и добрый юноша. Видимо, создалось положение, когда молчание равно пощечине самому себе.

До этой минуты Стомадор сомневался в разумности действий Гравелота, но искренний тон Галерана отогнал тень условности, мешавшей лавочнику оценить столкновение по существу.

– Действительно, – сказал Стомадор, – я с вами согласен. Это так, хотя и плохо, но так. Признаюсь, когда я читал письмо, то подумал, что малый рехнулся. Он вскипел, а мы вот сидим и ломаем головы, как его теперь выручить. Что заставляет о нем думать? – разрешите задачу. Ведь Гравелот мне даже не родственник. Я вижу его во сне каждую ночь.

– Значит, он нам нужен – мне и вам.

Подумав, Галеран решил добавить:

– Я был бы очень огорчен смертью Кунсгерри, хотя я никогда не видал его.

– Ого! Что же, вы хотите самостоятельно расправиться с ним?

– Пустое! – расхохотался Галеран. – Кунсгерри живет в Шотландии, где нам, верно, не придется бывать. Я прочел в газете, что артист одного театра, Кунсгерри, отказался играть главную роль в новой пьесе. Она ему не понравилась. Он ушел со сцены в конце первого акта. Другой актер, по ходу действия, обернулся к двери, воскликнув: «А! Вот, наконец, этот негодяй Гард! Он торопится! Я слышу его шаги!» Но дверь стояла пустая, и Гард, то есть Кунсгерри, не приходил. Актер повторил, что «Гард торопится». Никто не торопился. Представление оборвалось, и Кунсгерри уплатил крупную неустойку. Так вот, – сказал Галеран, вставая и тщательно пряча письмо Давенанта, – не знаю, понятно ли это вам, но Давенант – как Кунсгерри; он не может уступить в главном, и поэтому я должен его спасти.

– Рассчитывайте на меня, как хотите, – объявил Стомадор, восхищенный необычайным для него оттенком, какой придавал всему делу его образованный соучастник, – я в вашем распоряжении. Возвратясь, зайдите ночью ко мне, буду я спать или нет, – тихий тройной стук известит меня о вашем прибытии.

На том они расстались. Лавочник уехал в трамвае к Старому Форту, откуда пешком должен был идти разыскивать камень, а Галеран на автомобиле, управляемом его шофером Груббе, отправился в Тахенбак, прежде всего стремясь расспросить слуг гостиницы, брошенной Давенантом. Кроме того, любопытно было ему увидеть, как жил Тиррей, наружность которого через девять лет он представлял смутно. Галеран все еще помнил его безусым. Эта внушительно и мрачно развивающаяся судьба щемила сердце Галерана, как вид заброшенного красивого дома.

Был пятый час дня. Дорога – та самая, по которой мчался Давенант в Лисе,

– даже минуты не оставалось пустой; легкие и грузовые автомобили обгоняли путешественника, виднеясь потом из-за холмов, на отдаленных участках шоссе, подобно пылящим, черным шарам; лязгали, дребезжа, повозки, управляемые хмельными фермерами; фрукты, мешки с орехами и маисом, тюки табаку, мебель и утварь переезжающих из одного поселка в другой двигались все время навстречу Галерану. Знойное безветрие при чистом небе сообщало пейзажу законченную чистоту линий. Бурая трава, сожженная солнцем, переходила с холма на холм оттенками золы, усеянной пятнами камней, глины и колючих кустов. Иным людям движение помогает рассуждать; для Галерана движение было всегда рассеянным состоянием, подобием насыщенного раствора, прикосновение к которому внешней силы образует кристаллы самой разнообразной формы. Он увидел красивую птицу в голубых пятнах по белому оперению, медленно перелетевшую холм, заинтересовался ею и спросил Груббе – не знает ли он, как называется эта птица?

Груббе пожал плечами. Он никогда не думал о птицах.

Галеран видел оранжевые цветы на колючих стеблях, недоступных разящей силе лучей солнца. В мире было много птиц и растений, им никогда не виденных. «Как монотонно и как не любопытно я жил». – размышлял Галеран, испытывая беспокойство, зависть к неузнанному, что бы оно ни было, сожаление о пороге старости и несколько смешное желание жить вторую, ко всему жадную жизнь. Это был для его возраста краткий психоз, но ему вдруг безумно захотелось увидеть все вещи во всех домах мира и проплыть по всем рекам.

К закату солнца путешественники низверглись с плоскогорья, миновав тихие городки южного берега. Было восемь часов вечера, когда экипаж остановился у ресторана «Марк Татанер» в Лиссе. Наскоро пообедав здесь, Галеран продолжал путь.

С рассветом обозначился Тахенбак. Не останавливаясь более, Галеран проехал рудничный городок, прибыв к «Суше и морю» без десяти минут десять часов утра. Усталый, охрипший Груббе остановил машину у деревянной лестницы.

Отсидевший все члены тела за эти восемнадцать часов ускоренного движения, Галеран вышел и осмотрелся, думая, что кто-нибудь появится из гостиницы. Но только теперь заметил он, что на входной двери повешен замок, ставни закрыты изнутри, у правого крыла дома разбита

палатка и там стоит человек, вглядываясь в приезжих с самонадеянностью торговца, лишённого конкуренции. Это был обросший черными волосами человек с желтым лицом – итальянец смешанной крови. В своей палатке он устроил прилавок, наставил табуреты, и дым от его жаровни, поджаривающей ломти свинины, разносил запах еды. Прилавок был уставлен бутылками и сифонами.

– Есть ли кто-нибудь в гостинице? – спросил Галеран, поднимаясь на откос к палатке. – Я хочу видеть служащих Гравелота – Петронию и Фирса. Почему дверь на замке?

Торговец прищурился и вытер о передник сальные руки.

– Все местные жители знают эту историю, – сказал он, – но вы, должно быть, издалека?

– Хотя я издалека, – ответил Галеран, с удовольствием усаживаясь на табурет и знаком приглашая подошедшего Груббе сесть рядом с ним, чтобы восстановить силы вином и жареным мясом, – хотя я издалека, – я знаю, почему исчез хозяин. Тут должны оставаться два человека.

– Так вот.... подождите, – начал объяснять торговец, не любивший торопиться. – Хотите выпить виски? А! Хорошо, я вам все расскажу. Гравелот скрылся от обыска, оставив хозяйство Фирсу. Фирс держал гостиницу открытой четыре дня, после того он с женщиной тайно исчезли, да еще захватили белье, лошадь, повозку и много других вещей, а потому полиция заперла гостиницу. Я согласился ее сторожить. Место глухое.

Конечно, торговать я имею право. Ко мне заходят, потому что дело Гравелота погибло или замерло на время; неизвестно, что будет с гостиницей, но пища и напитки всегда найдутся в моей палатке. Меня зовут Арум Пакко – к вашим услугам. Котлеты, если хотите, придется подождать, есть горячая свинина, колбаса, консервы.

Действительно, так это и было, как рассказал Пакко: деньги, оставленные Давенантом Фирсу, и случайные деньги Петронии расположили этих людей друг к другу скорее, чем затяжное ухаживание. Тяготясь тем, что на руках у них осталось исправное заведение, по делам которого им, может быть, пришлось бы дать отчет Гравелоту, Петрония с Фирсом, забрав вещи поценнее, скрылись и уехали на пароходе в Лисе, намереваясь открыть там табачную лавку.

Груббе ничего не знал о планах Галерана, и это заурядное мошенничество рассмешило его, но, взглянув на озадаченного хозяина, он понял, что тот отнесся к делу серьезнее. Перестав смеяться, Груббе заметил:

– Экие прохвосты!

– Да, Груббе, это – прохвосты, но они были мне очень нужны, – сказал Галеран, – искать их, разумеется бесполезно.

Пакко, слыша этот разговор, начал стараться выведать цели путешественников, но Галеран уклонился от объяснений. Пока он с Груббе ел и пил, умолкший Пакко стоял к ним спиной у входа палатки и, засунув руки в карманы, насвистывал, разглядывая машину, как отвергнутый посторонний, имеющий право судить все, а о выводах умолчать. Эти выводы свелись, впрочем, к импровизированной надбавке платы за водку и кушанье.

Отдохнув, Галеран уехал, и Груббе через пятнадцать минут доставил его в Гертон, по адресу Баркета. Хозяина мастерской не было дома. Тогда Галеран попросил приказчика сообщить дочери Баркета, Марте, что приехавший из Покета Орт Галеран желает говорить с ней по делу ее отца.

– Если у вас неотложное дело, – сказала Марта, появляясь в мастерской и расположенная внешне Галерана к обходительности, всегда руководящей промышленниками, когда, по их мнению, посещение обещает выгоду, – я проведу вас в нашу контору. Отец должен вернуться через двадцать минут, он отправился принимать заказы на электрическую рекламу.

Конторой Марта называла в известных случаях часть прохода из мастерской в квартиру, где находились телефон и письменный стол Баркета. Несколько медных, фаянсовых и эмалевых досок были прибиты к стене, привлекая внимание выразительной бессмыслицей случайного подбора этих образцов ремесла Баркета. Единственно удачно висели рядом: «Родовспомогательная лечебница Грандиссона» и «Бюро похоронных процессий Байера».

Оглушенный долгой ездой, не спав ночь, Галеран сел на предложенный ему стул и удержал Марту, хотевшую выйти.

– Пока ваш отец не вернулся, – сказал он, заключая по внешности девушки, что теперь будет положено начало борьбы за Давенанта, – мне хочется сказать о цели моего визита вам.

– Хорошо, – ответила Марта, поспешно садясь и что-то предчувствуя, отчего ей стало неловко дышать. Галеран назвал себя.

– Ваша помощь необходима, – заговорил он. – Я сразу объясню дело. Джемс Гравелот заключен в тюрьму по обвинению в хранении контрабанды и сопротивлении береговой охране. Нет сомнения, что ему был подкинут запрещенный товар – сообразите сами – как раз вечером того дня, когда вы и отец ваш были свидетелями скандала в гостинице Гравелота.

Марта вспыхнула, затем опустила голову. Ее руки дрожали. Подняв лицо, она глядела на Галерана так беспомощно, что он отнес эти знаки волнения на счет ее сочувствия пострадавшему.

– Я.. – сказала Марта.

Галеран, помедлив и видя, что она умолкла, продолжал:

– Да, ваши чувства я понимаю. Размышляя так и этак, я вывел заключение, что спасти Гравелота можно лишь через Ван-Конетов, дав им выбирать или огласку пощечины, а также всех безобразных выходок Георга Ван-Конета, или же деятельное участие этих влиятельных лиц в спасении невинно запутавшегося Гравелота. Но, чтобы иметь успех, нужны свидетели. Я уверен, что вы не откажетесь свидетельствовать против негодя. Гравелот, в сущности, заступался за вас. Я прошу о том вас и намерен просить вашего отца.

Марта успела подавить замешательство. Взяв со стола линейку, она притронулась ее концом к нижней губе и, не отнимая линейку, смотрела на Галерана круглыми, очень светлыми глазами.

– Вот что... – сказала она. – Вы меня страшно удивили. Ни о каком скандале мы ничего не знаем. Я, право, не знаю, что подумать. К тому же вы говорите, что Гравелот арестован. Вот ужас! Мы знаем Гравелота. Уверяю вас, все это – сплошное недоразумение.

Опустив взгляд, она прикусила конец линейки и с силой выдернула ее из зубов, затем, робко взглянув на Галерана, медленно положила линейку и выпрямилась.

– Вы испугали меня, – сказала Марта. – Как понять? Галеран откинулся, болезненно переводя замкнувшееся дыхание. Сердце его начало стучать и тяжело.

– Вы должны это сделать.

– Но я ничего не могу, я ничего, ничего не знаю! Вы, может быть, спутали! Идет отец! – облегченно воскликнула девушка, стремясь удалиться.

Толкнув стеклянную дверь, вошел раскрасневшийся от жары Баркет с готовой любезной улыбкой, обращенной к посетителю.

Вид дочери осадил его.

– Ты что? – быстро спросил он.

– Отец, вот.. – Марта взглянула на Галерана, – вот это к тебе, о Гравелоте, – добавила она, запоздало пожав плечом и тотчас уходя в комнаты.

Баркет медленно, думающим движением снял шляпу и посмотрел на Галерана светло раскрытым, напряженным взглядом лжеца.

– Да, да, – забормотал он, – как же! Я Гравелота знаю очень хорошо. Должно быть, месяц назад я заезжал к нему с Мартой последний раз.

Галеран вторично назвал себя и объяснил:

– Я – друг Гравелота. Баркет, вы были у него в тот день, когда он ударил Ван-Конета за издевательство над вашей дочерью.

Баркет увел голову в плечи и вытаращил глаза.

– Да что вы! – вскричал он. – О чем вы говорите? Объясните, ради бога, я страшно встревожился!

– Гравелот не будет лгать, – сказал Галеран. – Неужели это так трудно: сказать правду ради хотя бы спасения человека, которому вы прямо обязаны?

– Если вы объясните, в чем дело... Поймите, что я поражен! Не однажды я останавливался в «Суше и море», но я не могу понять, о чем речь!

В течение по крайней мере минуты оба они молчали. Баркет выдерживал красноречивый взгляд Галерана с трудом и наконец опустил глаза.

– Если вы засвидетельствуете столкновение. Граве-лот будет спасен. Он арестован. Подробности я уже рассказал вашей дочери. Она вам передаст их. Мне тяжело их повторять.

– Уверяю вас, что вы поддались какой-то сплетне., – заговорил Баркет, но Галеран его перебил:

– Так вы настойчиво отрицаете?

– Отрицаю. Это мое последнее слово. Но я бы хотел все-таки...

Галеран не дослушал его. Покачав головой, он взял шляпу и вышел, бросив на ходу:

– Стыдно, Баркет.

Он уселся в автомобиль, несколько не упрекая себя за так кратко и решительно оборванный разговор. Бесполезно было далее убеждать этих что-то обдумавших и решивших людей в низости их молчания. Галеран еще не отчаивался. У него возникла мысль говорить с Лаурой Мульдвей и Сногденом. По характеру событий, как они были кратко выражены Тирреем в его письме, Галеран отчасти представлял этих людей, их роль около Ван-Конета; он знал, что даже человек резко порочный, если к нему обращаются в надежде на проявление его лучших чувств, скорее может проговориться или изменить себе, чем Баркеты. Однако точного плана не было. Только случайность или минутное настроение – род благородной слабости – могли помочь Галерану в его неблагодарном труде – вырвать из естественно развившегося заговора клочок шерсти таинственного животного, именуемого уликой. Отбросив размышления относительно еще не создавшихся сцен, веря в наитие и надеясь лишь на не оставлявшую его силу надежды, Галеран поехал в гостиницу, где занял большой номер. Не зная, что будет дальше, он хотел иметь помещение для приема и сна.

– Будьте наготове, – сказал Галеран Груббе, – я должен говорить в телефон и, может быть, тотчас опять поеду. Если же этого не случится, вы займете номер 304-й, как я условился с управляющим гостиницей, а машину отведете в гараж. Я вас извещу.

Терпеливый, безмерно усталый, но преданный Галерану человек, видя, что его хозяин расстроен, молча кивнул и вытащил из ящика для инструментов бутылку виски. Выпив столько, чтобы согнать болезненное отупение бессонной ночи, Груббе облокотился на дверцу и стал рассматривать прохожих. Было жарко. Он ослабел, склонился и задремал.

Как сказано ранее, Лаура Мульдвей и Сногден отправились в Покет, продолжая давние отношения с Ван-Конетом, и скоро Галеран узнал, что его хлопоты безрезультатно оканчивались. По-видимому, ничего другого ему не оставалось, как возвратиться. Он был отчасти рад, что эти лица в Покете, на месте действия; не поздно было попытаться, так или этак, говорить с ними по возвращении. Внутренне остановясь, Галеран сел в кресло и принялся курить, задерживая трубку в зубах, если размышление бессодержательно повторялось, или вынимая ее, когда мелькали черты возможного действия. Хотя самые важные свидетели отошли, он пересматривал заново группу людей, чья память хранила драгоценные для него сведения, и ждал намека, могущего образовывать трещину в сопротивляющемся материале несчастья. Решение задачи не приходило. Единственный человек, к которому мог еще обратиться Галеран, не покидая Гертон, был Август Ван-Конет. Ничего не зная ни о нем, ни об отношении его к сыну, Галеран думал о его существовании как о факте, и только. Однако эта мысль возвращалась. При умении представить дело так, как если бы свидетели налицо и готовы развязать языки, попытка могла кое-что дать. Галеран выколотил из трубки пепел и вызвал телефонную станцию – соединить его с канцелярией Ван-Конета.

Должно быть, телефонные служащие работали усерднее, если им называли номера небольших цифр, но только утомленный глухой голос очень скоро произнес в ухо Галерана:

– Да. Кто?

Август Ван-Конет был один, измучен ночным припадком подагры, в одном из тех рассеянных и пустых состояний, когда старики чувствуют хрип тела, напоминающий о холоде склепа. Ван-Конет осматривал минувшие десятилетия, спрашивая себя: «Ради чего?» В таком состоянии упадка задумавшийся губернатор, не вызывая из соседней комнаты секретаря, сам взял трубку

телефона. Эта краткая прихоть выражала смирение.

Разговор начался его словами: «Да. Кто?»

– За недостатком времени, – сказал Галеран, – имея на руках очень важное и грустное дело, прошу сообщить, может ли губернатор сегодня меня принять? Я

– Элиас Фергюсон из Покета.

– Губернатор у телефона, – мягко сообщил Ван-Конет, все еще охваченный желанием простоты и доступности. – Не можете ли вы коротко передать суть вашего обращения?

– Милорд, – сказал Галеран, поддавшись смутному чувству, вызванному терпеливым роковым печально звучащего голоса, – одному человеку в Покетской тюрьме угрожает военный суд и смертная казнь. Ваше милостивое вмешательство могло бы облегчить его участь.

– Кто он?

– Джеймс Гравелот, хозяин гостиницы на Тахенбакской дороге.

Ван-Конет понял, что слух кинулся стороной, вызвав неожиданное вмешательство человека, говорящего теперь с губернатором тем бесстрастно почтительным голосом, какой подчеркивает боязнь случайных интонаций, могущих оскорбить слушающего. Но состояние прострации еще не покинуло Ван-Конета, и ехидный смешок при мысли о незавидной истории сына, вырвавшийся из желтых зубов старика, был в этот день последней данью его подагрической философии.

– Дело «Медведицы», – сказал Ван-Конет. – Я хорошо знаю это дело, и может быть...

«Не все ли равно?» – подумал он, одновременно решая, как закончить обнадеживающую фразу, и дополняя мысль о «все равно» равнодушием к судьбе всех людей. «Не все ли равно – умрет этот Гравелот теперь или лет через двадцать?» Легкая ненормальность минуты тянула губернатора сделать что-нибудь для Фергюсона. «Жизнь состоит из жилища, одежды, еды, женщин, лошадей и сигар. Это глупо».

Он повторил:

– Может быть, я... Но я хочу говорить с вами подробно. Итак...

Внезапно появившийся секретарь сказал:

– Извините мое проворство: акции Сахарной компании проданы по семьсот шесть и реализованная сумма – двадцать семь тысяч фунтов – переведена банкам Рамона Барроха.

Это означало, что Август Ван-Конет мог сделать теперь выбор среди трех молодых женщин, давно пленявших его, и дать годовой банкет без участия ростовщиков. Вискам Ван-Конета стало тепло, упадок прошел, осмеянная жизнь приблизилась с пением и тамбуринами, дело Гравелота сверкнуло угрозой, и губернатор отдал секретарю трубку телефона, сказав обычным резким тоном:

– Сообщите просителю Фергюсону, что мотивы и существо его обращения он может заявить в канцелярии по установленной форме.

Секретарь сказал Галерану:

– За отъездом господина губернатора в Сан-Фуэго я, личный секретарь, имею передать вам, что ходатайства всякого рода, начиная с первого числа текущего месяца, должны быть изложены письменно и переданы в личную канцелярию.

– Хорошо, – сказал Галеран, все поняв и не решаясь даже малейшим проявлением настойчивости колебать шаткие обстоятельства Давенанта.

Но разговор этот внушил ему сознание необходимости торопиться.

Галеран сошел вниз, заплатил конторщику суточную цену номера и разыскал глазами автомобиль.

Груббе спал, потный и застывший в забвении. Его голова упиралась лбом о сгиб локтя. Галеран, сев рядом, толкнул Груббе, но шофер помраченно спал. Тогда Галеран сам вывел автомобиль из города на шоссе и покотил с быстротой ветра. Вдруг Груббе проснулся.

– Держи вора! – закричал он, хватая Галерана, без всякого соображения о том, где и почему неизвестный человек похищает автомобиль.

– Груббе, очнитесь, – сказал Галеран, – и быстро следуйте по этой дороге: она ведет обратно, в Покет.

Глава X

Поздно вечером следующего дня Стомадор ждал Галерана, играя сам с собой в «палочки» – тюремную игру, род бирюлек.

Весь день Галеран спал. Очнувшись в тяжелом состоянии, он выпил несколько чашек крепкого кофе и отправился на окраину города. Около тюрьмы он задержался, всматриваясь в ее массив с сомнением и решимостью. Денег у него было довольно. Оставалось придумать, как дать им наиболее разумное употребление.

Спотыкаясь о ящики в маленьком дворе лавки, Галеран разыскал заднюю дверь, постучав именно три раза. Мелочам тайных дел он придавал значение дисциплины, отлично зная, что пустяковая неосторожность начала может увести далеко от благополучного конца, как расхождение линий угла.

Стомадор бросил игру и открыл дверь.

– Вернувшись на рассвете, – сказал Галеран, – я так устал, что сразу лег спать. Ничего дельного не дала эта поездка. Нет даже скважины, которую можно было бы расширить, все наглухо закрыто со всех сторон. Гостиница на замке, люди Гравелота обокрали его и исчезли. Баркет с дочерью отказались – они твердят, что не были в «Суше и море». Имеете ли вы сведения?

– Никаких, кроме того, что ноге Гравелота легче. Гравелот, Тергенс и другие ждут со дня на день обвинительного акта. Я вынул из камня деньги. Бедный Джемс! Даже слуги общипали его. Что касается меня, я обыскал все камни. Их было одиннадцать, таких, которые подходили к описанию. Уже смеркалось, зловеще шумел прибой... И вдруг моя рука нащупала в глубине боковой трещины самого большого камня нечто острое! Я вытащил серебряного оленя. Буря и выстрел! Остальное было там же. Вот оно, все тут, считайте.

Внимательно посмотрев на Стомадора, Галеран сдержал улыбку и рассмотрел находку лавочника. Пересчитав деньги, он отдал половину их Стомадору, говоря:

– В дальнейшем у вас будут расходы. Они могут быть значительными, а потому спрячьте деньги эти у себя.

Серебряный олень стоял возле руки Галерана. Взяв вещицу, Стомадор повертел ее:

– Да, это что такое, по вашему мнению? Я, признаюсь, долго ломал голову над вопросом – зачем Джемс таскал эту штуку с собой? Стоит она немного.

– Вероятно, память о чем-то или подарок, – ответил Галеран, рассматривая оленя. – Олень, видимо, дорог ему. Тогда сохраним его и мы. Спрячьте оленя, он, может быть, стоит дороже денег.

Лавочник убрал деньги и фигурку в стенной шкаф, откуда, кстати, вытащил бутылку портвейна.

– О нет! – сказал Галеран, видя его гостеприимные движения с стаканчиками и темной бутылкой.

Забрав счета Давенанта, квитанции и записную книжку в свой карман, Галеран продолжал:

– Я выпью с вами, но только по окончании важного разговора. Голова должна быть свежа.

– А! Хорошо... Но бутылка может стоять на столе, я думаю, – осведомился Стомадор. – Так как-то живописнее. Мы все-таки сидим «за бутылкой».

– Безусловно. Итак, сядьте, Стомадор. Может ли кто-нибудь нам помешать?

– Нет, я никого не жду и никому не назначил прийти в этот вечер. Я знаю, о чем хотите вы говорить.

– Если так, ваша проницательность окажется вообще полезной.

– Бегство?

– Да.

Достаточно помолчав, чтобы ожидаемое мнение прозвучало авторитетно, Стомадор пожал плечами и начал катать ладонью на столе круглые палочки.

– Это невозможно, – сказал он медленно и уныло, как человек вполне убежденный. – Два

года назад бежали через стену, обращенную к пустырю, шесть воров. Они проломали стену нижнего этажа и вылезли из двора по веревочной лестнице, которую закинули им снаружи их доброхоты. После этого – а это был пятый случай в году, хотя все случаи разного рода, – гребень стены обведен тройным рядом проволоки электрической сигнализации; вокруг тюрьмы, с трех ее сторон, значит – по пустырю и двум переулкам, дежурит надзиратель, расхаживающий от конца до конца своего маршрута. Что касается четвертой стены – там наблюдает дежурный у ворот; ему хорошо видно влево и вправо. А так как стены освещены электричеством, как это вы видели, пробираясь ко мне, то побег возможен двумя способами: отбить арестанта у конвоиров автомобиля, когда увозят в суд, или научить арестанта перелетать стену наподобие петуха. Но и петуху не взлететь, потому что стена будет ему не по зубам: она шести метров высоты, как хотите, так и думайте. А от вооруженного нападения нам, я думаю лучше воздержаться.

– Да, я тоже так думаю. Однако ваши слова меня не обескуражили.

Стомадор, наморщив лоб и выпятив губы, размышлял. Ничего дельного он придумать не мог.

– Так близко от нас Гравелот, – сказал Галеран, указывая рукой к тюрьме,

– что, если идти к нему по прямой линии, надо будет сделать не более тридцати шагов.

– Да. А между тем все равно, что от Земли до Луны.

– Так и не так, – ответил Галеран. – Скорее – не так, чем так. Вам очень дорога ваша лавка?

– Что вы задумали? Моя лавка... – Стомадор прикинул в уме. – За передачу ее мне я уплатил четыре месяца назад прежнему хозяину сто фунтов. Годовая прибыль составила бы триста фунтов, а наличный товар оцениваю в сто пятьдесят фунтов. Однако тюремная администрация хлопочет устроить собственную лавку, и, если это случится, я брошу дело. Прибыль дает одна тюрьма. Сторонних покупателей мало.

– Полторы тысячи фунтов, – сказал Галеран. – Они ваши, лавка моя. Хотите?

– Или я поглупел, или вы сказали неясно, понять не могу.

– Было бы несправедливо, – объяснил Галеран, – требовать от вас такой жертвы, как отдать лавку бесплатно для устройства подкупа. Подкуп – единственный путь спасения. Я покупаю лавку и устраиваю подкуп. Ту же ночь, как все будет сделано, вы уедете, чтобы не занять место Гравелота. Хотите ли вы поступить так? Мои соображения...

– Остановитесь, дайте подумать! – закричал Стомадор, ухватив Гравелота за пальцы лежащей на столе руки и крепко зажмуриваясь. – Не говорите ничего. Дайте сосредоточиться. Один момент. Я, должно быть, сам хочу чего-нибудь в этом роде. Лавка в вашем распоряжении. Берите ее. Также хороши полторы тысячи. Я говорю это не из корысти. О них сказано к месту, – Увы! – Я – необразованный человек, – заключил он, открывая глаза и колыхаясь на стуле от разгоревшейся в нем страсти к подкupu. – Я не могу выразить... но то, как мы сидим... и о чем говорим..., свет лампы, тени... и бутылка вина! Да, вы

– министр! Министр заговора!

Уже рука лавочника тянулась к бутылке, чему Галеран теперь не препятствовал. Возбужденные замыслом, они должны были утишить его пленительный гул, обаяние первых его минут действием и вином. За первой бутылкой скоро последовала другая, но вино не опьянило ни Галерана, ни Стомадора, лишь увереннее стал их азарт, требующий начать.

– Вполне возможное дело, – сказал Галеран, кончая курить. – Теперь выйдем, осмотрим поле битвы; хотя вам давно известна топография этого участка города, я должен согласовать свои впечатления с вашими и кое о чем столкнуться.

Они вышли, но не в калитку лавочного двора, а в узкий проход между лавкой от ворот тюрьмы стеной двора. Этот закоулок был почти доверху завален пустыми бочонками. Встав на них так, что видна была мостовая, Стомадор указал Галерану часть тюремной стены против себя.

– Там лазарет, – сказал Стомадор. – Однако его точное расположение мне неизвестно. Пока это и не требуется, я думаю. Но он тут, за стеной, я знаю, потому что однажды помогал надзирателю тащить корзины с провизией и видел внутри двора, направо от ворот, узкий одноэтажный корпус. Ботредж сидел в тюрьме, он знает, что это здание – лазарет. Теперь надо его расспросить подробно.

– Мы расспросим Ботреджа.

Галеран переводил взгляд от ограды лавки к противоположной стене тюрьмы, определяя на глаз длину подземного хода. Для этого он употребил прием некоторых охотников, когда им сомнительно, достигнет ли заряд дроби определенную цель. Он представил ширину улицы ощутительно большей действительности – двадцать метров, а затем также ощутительно меньшей – десять метров; двадцать плюс десять, деленные пополам, указали приблизительную длину подкопа от лавки до тюремной стены. Следовало установить толщину этой стены, прикинув треть метра для выходного отверстия, и толщину ограды лавки, за которой думал он начать рыть внутренний ход к Давенанту.

– Не лучше ли, – возразил на его объяснения Стомадор, – снять часть кирпичного пола в моей комнате и выйти к лазарету под лавкой?

– При такой нелегкой задаче четыре-пять лишних метров – страшное дело.

– Жаль, что вы правы моя комната – самое скрытое место для работы.

– Чем вы закроете вертикальную шахту? Не кирпичами, конечно, а деревянный щит может быть замечен нежелательным посетителем. Тогда будут ходить справляться из тюремной канцелярии, как двигается наша затея. Нет лучше этого закоулка. Ночью безлюдно. Когда мы пройдем метра полтора-два горизонтального направления на достаточной глубине, – сверху не будет ничего слышно. К утру над вертикальной шахтой невинно лежат ящики и солома. Землю будем убирать в сарай. Он пуст?

– Там есть товар, но его можно перетащить под брезент в угол двора. – Стомадор прыгнул с бочонка и поддержал Галерана, оставившего наблюдательный пункт. – Ну, я вам скажу, что если эта штука пройдет, начальник тюрьмы сядет в яму и, как Иов древний какой-нибудь, высыплет себе на голову тонну золы или песку, не знаю точно, что употребляется в таких случаях. Вы допустили ошибку на треть метра. Нет нужды проходить за тюремную стену даже на дюйм – рыть прямо под фундамент. Как упремся – чуть в сторону, и ход сделан.

– Это верно, – согласился, подумав, Галеран. – И вот почему хорошо такие вещи обсуждать вместе. Верно; однако при условии, что не ошибемся расстоянием, когда начнем копать выход вверх.

– Место, где будем находиться, мы определим очень точно: просверлим свод катакомбы длинным сверлом. Вышедший наружу конец укажет, надо ли двигаться еще дальше или все уже сделано.

Так они совещались вполголоса перед дверью лавки и увидели длинную фигуру Ботреджа, спотыкающегося в темноте об ящики.

– Кстати, кстати, Ботредж. За перцовой? Вы не уйдете, так как обсудите с нами одно важное дело.

– Стоит сюда зайти, как задержишься, – сказал Ботредж простуженным голосом, стараясь рассмотреть Галерана.

– Надо вам познакомиться, – обратился Стомадор к Галерану, который, со своей стороны, наблюдал, – каков Ботредж и можно ли ему верить.

Из осторожности Галеран сказал вымышленное имя – Орт Сидней, – а Ботредж так и остался Ботреджем.

Заговорщики вошли в комнату. Недоумевая, о каком важном деле предстоит разговор, и жалуясь, что всю прошлую ночь дрожал от холода на шлюпке, далеко от берега, в ожидании судна с кокаином, не явившегося по неизвестной причине, а потому простудился, Ботредж сел против Галерана. Стомадор вытащил из шкафа литровую бутылку перцовки и банку с консервами. После того лавочник сел на свое место за середину стола.

– Не бойтесь, Ботредж, – сказал Стомадор. – Господин Сидней не наш, но свой», вот видите – вышел каламбур.

– Я не боюсь, – быстро ответил контрабандист, взглядывая на Галерана с вежливой улыбкой, при этом в его лице сверкнула бессознательная смелая черта, и Галеран поверил в него.

– Что же, будем пить? – осведомился Стомадор у Галерана, который утвердительно кивнул, пояснив:

– Теперь можно пить, главное решено.

– Ботредж, – начал Стомадор, – если я появлюсь за тюремной стеной как раз против моей лавки, что очутится передо мной? Какого рода картина?

– Так надо знать, куда вы гнете и к чему. Ясно, что можно попасть в несколько разных мест.

– Вы правы, – сказал Галеран. – Дело в том, что предстоит рыть подкоп из двора этой лавки к лазарету и освободить Гравелота. Иным образом ему спастись невозможно. Надо знать, в каком месте за стеной тюрьмы выгоднее рыть выходное отверстие.

Ботредж ничем не выдал своего изумления, но хитро поглядел на Стомадора.

– Вы уже пили перцовку? – спросил он, не зная – шутить или отвечать серьезно.

– Когда шутили в моем доме такими вещами?

– Ну, дядя Стомадор, это я так. Судите сами, а я расскажу устройство двора за той стеной, которая против нас, с воротами. Налево от прохода между воротами примыкают к нему квартиры начальника и его помощника, а направо, то есть в нашу сторону, к проходу примыкает цейхгауз. Его продолжение вдоль стены есть тот самый лазарет. На правом его крыле садик из кустов, куда днем водят больных, если разрешает доктор. Только в этот садик вы и можете попасть. Я выпью, – сказал Ботредж, помолчав, – и потом буду вместе с вами соображать. Дело дерзкое, что говорить, однако возможное.

– Почему же это ты выпьешь? Мы тоже выпьем. – Стомадор наполнил стаканчики и подвинул каждому вилку – брать из жестянки мясо. Сам он выпил последним и, голодный, начал основательно есть.

– Кто стряпает вам? – захотел узнать Галеран.

– Никто, представьте. Я питаюсь своими товарами, так привык, от горячего я сонлив.

– Вот только как выйти из лазарета? – сказал Ботредж. – Дверь хотя и с правого крыла на конце здания, но она расположена по фасаду, ее видит часовая внутренних ворот. Он сидит там на скамье, у своей будки, или ходит взад-вперед.

Все призадумались.

– Вот видите, – сказал Стомадор Галерану, – обстоятельство это не пустяковое.

– Эта дверь куда открывается? – Галеран пояснил свою мысль движением руки от себя и к себе. – Иначе говоря, если человек выходит из лазарета, то дверь распахивается налево, к воротам, или направо?

– На... лево, – сказал, подумав, с уверенностью Ботредж. – Да, налево, так как я работал в садике и видел ее. А мой глаз, как – положительно – фотография.

– Это очень важно, чтобы дверь, открываясь, закрывала собой идущего человека со стороны часового. – Галеран снова принялся думать. – Ну, теперь скажите, можете вы помочь рыть?

– Пожалуйста, я могу.

– Он силен, – сказал Стомадор, – только на вид костляв.

Тогда Ботредж поинтересовался общим составом плана, и Галеран рассказал ему все предположения, какие были обсуждены уже с лавочником. Все это было только начало. Более важные вопросы – о распределении дежурств в решительную ночь побега, о том, кто будет работать, куда складывать выбранную из подкопа землю, – возникли сами собой. Без Факрегеда ночью в лазарете не обойтись – таково было общее мнение, переданное для разведки и разработки Ботреджу, при помощи Катрин Рыжей и Кра-вара, начавшего под ее влиянием оказывать контрабандистам все более важные услуги. Галеран хотел еще измерить емкость сарая, пустых ящиков и бочек, загромождавших маленький двор лавки. Сделав бумажный метр из старой газеты, Галеран удалился, сказав:

– Чем больше мы разузнаем за эту ночь, тем легче будет потом.

Когда Галеран вышел, Стомадор и Ботредж опорожнили по стакану перцовки. Увидев навощенные палочки, Ботредж собрал их в кулак, поставил снопом и сразу разжал руку. Палочки упали друг на друга, как горсть макарон.

– Отец? – спросил он, давая знак начинать игру.

– Такой же, как я.

Стомадор низко нагнулся над столом, высматривая свободно лежавшую палочку или упавшую так, чтобы снять ее можно было, не шевельнув ни одной другой. Если палочка, прикасающаяся к снимаемой, хотя чуть трогалась, игрок уступал очередь, а выигравшим считался тот, кто больше снял палочек. Это была бо́льшая, воровская игра, требующая совершенного расчета движений.

Вначале Стомадор убрал из кучки, где откатывая, где нажимая один конец, чтобы вскинулся вверх другой, пять штук, затем ему предстала задача разделить две палочки, прильнувшие параллельно одна к другой. Он потянул ближайшую к себе за середину концом пальца, но не сумел резко отдернуть ее, и вторая палочка шевельнулась.

– Играй ты. Слушай, нам нужен третий, двое не могут рыть и поднимать грунт вверх. Переговори с Даном Тергенсом.

– Лучшего работника не сыскать, – ответил, таща палочку, Ботредж. – Но только Дану будет обидно, что его брата повесят.

– Вы, Ботредж, должны знать, – возразил Стомадор, для которого смена «ты» на «вы» заменяла интонацию, – что, если Гравелот убежит, будет поднято скандальное дело против Ван-Конета, и тогда всех пощадят. Сидней богат, адвокаты и газетчики начнут ему помогать. Теперь же ничего сделать нельзя, ходы заперты.

– Я поговорю, – Ботредж снял восьмую палочку, а на девятой ошибся. – Но главное все-таки не в том, – вздохнул он. – Стоп, вы тронули!

– Ничего не двинулось, что ты врешь!

– Я не слепой.

– Играйте, если вы так упрямы, – сказал с досадой лавочник. – Это у вас глаза качаются. На что мы играем?

– На пачку папирос, дядя Том. Главное, я говорю, заключается в Факрегеде. Единственно, если он будет дежурным по лазарету.

– Придется подумать.

– Думать должен он, а вы хлопчите теперь, чтобы как-нибудь поспать днем. Днем рыть не придется.

Галеран вернулся очень довольный исчислениями. Хотя это был расчет грубый, он все-таки убедился, что сарай легко вместит двадцать кубических метров разрыхленного грунта. Считая горизонтальные и вертикальные ходы подкопа общей длиной девятнадцать, даже двадцать метров, при высоте один с четвертью метр на один метр ширины, получалось около двадцати пяти кубических метров плотной массы; разрыхленная, она увеличивалась в объеме. Эти тридцать пять – сорок кубических метров отработанной почвы можно было уложить в сарай, а излишек разместить по бочкам и ящикам.

Таким образом, план подкопа начал принимать реальные очертания, и его основные линии проступили довольно явственно. Рассказав о своих вычислениях, Галеран поднял вопрос о приобретении инструментов. Как только заговорили об инструментах, Галерану и Ботреджу одновременно пришла весьма существенная мысль – обстоятельство, о котором, странным образом, не подумали вначале, хотя, не решив его, трудно было надеяться на успех: что представляет собою почва между тюрьмой и лавкой?

– Дядя Стомадор, – воскликнул Ботредж, – мы собираемся долбить камень. Неужели вы и я забыли об этом? Под нами известняк.

– Быть не может! – сказал Галеран, вопрос которого о свойствах почвы так неожиданно предупредил Ботредж.

Стомадор, значительно поведя глазами, поднялся и вышел, захватив нож. Галеран, сцепив пальцы, тревожно молчал. Ботредж, широко раскрыв глаза, смотрел на него и, сильно затягиваясь, курил.

Подрыв ножом небольшое углубление, Стомадор возвратился и бросил на стол беловато-желтый кусок.

– Рыхлый травертин, – облегченно заявил он, вытирая вспотевший лоб. – Можно резать ножом.

Галеран внимательно осмотрел камень. Действительно, это был пористый раковинный известняк мягкой формации, неправильно именуемый каменщиками «травертин», плотностью чуть крепче штукатурки.

Щели ставен начали бледнеть; приближался рассвет первого дня упорной борьбы за жизнь Тиррея. Ботредж ушел, а Галеран сел писать заключенному о надеждах и затруднениях. Это была его первая записка узнику.

Из осторожности он подписался «Г», а все тайное просил Стомадора передать на словах через Факрегеда, когда тому представится случай.

Глава XI

Никогда Давенант не думал, что его судьба обесобразится одним из самых тяжелых мучений – лишением свободы. Он старался, как мог, твердо переносить тройное свое несчастье: заключение, болезнь и угрозу сурового наказания, совершенно неизбежного, если не произойдет какого-нибудь внезапного спасительного события. Даже его мысль не могла быть свободна, так как, о чем ни думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем, от них он не мог уйти, не мог забыть о них. Сон, единственная отрада пленника, часто напоминал о тюрьме видениями чудесного бегства; тогда пробуждение ночью при свете затененной электрической лампы над дверью было еще мучительнее. Сон повторялся, бегство разнообразилось и, счастливо оканчиваясь, уводило его в сады, соединяющие над водой прекрасные острова, или Давенанта ловили. Он во сне видел себя в тюрьме, думая: «Это сон...» – и просыпался в тюрьме.

Однажды снилось ему, что голос его обладает чудесными свойствами, – звук голоса заставляет повиноваться. Давенант постучал в дверь. «Откройте», – сказал он надзирателю, и тот послушно открыл дверь. Давенант вышел из лазарета и подошел к воротам, зная, что никто не осмелится сопротивляться голосу, звучащему как тайное желание самого повинующегося этим его приказанием. Ворота открылись, и он вышел на солнечную улицу. Это была та улица, где жил Футроз. Вскоре Давенант увидел знакомый дом, и сердце его забило. Его отец, посмеиваясь, открыл ему дверь, говоря: «Что, Тири, пришел все-таки?» Давенант побежал к гостиной. Она была дивно освещена. Роэна и Элли сидели там несколько не старше, чем девять лет назад, о чем-то советуясь между собой; они рассеянно кивнули ему. Что-то тяжелое, серое привязано было к спине каждой девочки. «Это я, – сказал им Давенант, – будем стрелять в цель». – «Теперь нельзя», – сказала Рой, и Элли тоже сказала: «Нельзя, мы должны носить камни, и, пока правильно не уложим их, не будет у нас никакой игры». – «Бросьте камни, – сказал Тиррей, – я – голос, и вы должны слушаться. Бросьте!» – крикнул он так громко, что проснулся, и, ломая, калеча видение, проникла в него тюрьма.

С первого же дня этой погребенной в стенах жизни Давенант начал думать о побеге. Он был в городе, где родился и вырос. Воспоминание знакомых мест, домов, улиц, которые находились вблизи него, но оказывались недоступными, деятельно толкало его ум к размышлению о возможности бежать.

Едва ли чья фантазия так изощряется в комбинациях и абсурдно-логических построениях, как фантазия узника одиночной камеры. Одиночество еще более воспламеняет фантазию. Заключенные общих камер имеют хотя бы возможность делиться своими соображениями: один знает то, другой – это, взаимное обсуждение шансов делает даже невыполнимый замысел предметом, доступным логическому исправлению, дополнению; критика и оптимизм создают иллюзию действия; но одиночный арестант всегда только сам с собой, его заблуждения и ошибки в расчетах исправлять некому. Линия наименьшего сопротивления иногда представляется ему труднейшим способом, а трудное – легким. Его материал – лишь то, что он видит перед собой, и смутные представления обо всем остальном.

В мечтах о бегстве первым и далеко не всегда оправдывающим себя магнитом служит окно камеры – естественный, казалось бы, выход, хотя и загражденный решеткой. Квадратное окно камеры Давенанта, обращенное на двор, нижним краем приходилось ему по плечи, так что, пользуясь разрешением тайно курить, за что платил, он должен был приставлять к окну табурет и

пускать дым в колпак форточки. Стекла, вымазанные белой краской, скрывали двор; окно никогда не открывалось, а двойная решетка требовала для побега стальной пилы; но, если бы Давенант даже имел пилу, отверстие в двери, через которое днем и ночью посматривал в камеру надзиратель, решительно отстраняло такой способ освобождения. Допуская, что окно раскрылось само, узник мог выйти на двор, в лапы надзирателя, караулящего внутренние ворота. По всему тому версии побега, измышляемые Тирреем, сводились к устранению надзора и изготовлению веревки с якорем на конце, зацепив который за гребень стены он мог бы подтянуться на руках и спрыгнуть на другую сторону. Забывая о больной ноге, он устранял надзирателя разными способами – от соглашения с ним до нападения на него, когда тот входил в камеру, осматривая помещение после проверки числа арестантов в девять часов вечера. Он размышлял о проломе той стены лазарета, которая была также частью наружной стены двора, о бегстве через окно и крышу, но в какие хитроумно-сказочные формы ни облекались эти витания среди материальных преград, неизменно его обессиленное воображение слышало при конце усилий своих окрик больной ноги. Иногда ему было хуже, иногда лучше; рана не закрывалась, и опухоль колена отзывалась болезненно при каждом серьезном усилии. Давенант старался лежать на спине. Когда же мечты об освобождении или живые чувства, непозволительные для арестанта, сильно волновали его, – потребность курить становилась нервной жаждой. Пренебрегая ногой, Давенант ковылял к окну и там курил трубку за трубкой. После таких движений его нога делалась тяжелой, как железо, она горела и ныла; утром при перевязке врач качал головой, твердя, что нужно не шевелиться, так как рана сустава требует неподвижности.

В шесть часов утра дверь камеры открывалась, дежурный арестант под наблюдением надзирателя ставил на стол у койки молоко, хлеб, яйцо всмятку или молочную рисовую кашу, затем, быстро подметя бетонный пол щеткой, сгребал сор в ящик и удалялся к другой камере, а дверь запиралась. Через день после того, как Галеран ночью советовался с Ботреджем и лавочником, дежурный арестант с проворством и точностью движений обезьяны бросил в кожаную туфлю Тиррея туго свернутую бумажку; надзиратель не заметил его проделки. Когда оба они ушли, Давенант раскрыл книгу, выданную из тюремной библиотеки, и под ее прикрытием стал читать записку Галерана, утешившую и обрадовавшую его, как свидание. Впервые писал ему Галеран, писал сжато и твердо. Самый тон записки должен был ободрить заключенного.

«Дорогой Тиррей, – писал Галеран, оставивший слово „ты“ как напоминание прошлого, – я принял меры к облегчению твоей участи. Гостиница закрыта и заперта местной полицией, твои работники исчезли, захватив деньги, данные тобой Фирсу. Моя поездка в Гертон оказалась безрезультатной. Баркеты изменили тебе. Их не было у тебя в тот день. Существенные меры, какие я имею ввиду, могут все изменить к лучшему. Будь спокоен и жди. Мне трудно представить тебя взрослым, а потому я как бы видел тебя только вчера. Г.»

Слезы потрясли Давенанта, когда он кончил чтение, – столь чудесной казалась ему эта верность отношения к нему чужого человека, различного с ним возрастом и опытом, который, может быть, ставил мысленно себя на место Тиррея по какому-то тайному сближению их судеб, по сочувствию к душевной линии, приведшей Тиррея в мир и стены страдания. Давенант не понимал, что означает выражение «существенные меры», но не стал размышлять о том до более спокойной минуты, хотя непроизвольно ему мерещились уже светлые, свободные улицы города.

В тот день он испытал еще одно потрясение, повод к которому был как бы глухим смехом в лицо смутных надежд: около десяти часов состоялось вручение обвинительного акта, переданного Давенанту под расписку в получении начальником тюрьмы. Это был лист отпечатанного на всех четырех страницах машинкой текста, сухо, но подробно излагающего существо дела с преданием обвиняемого военному суду, и означающий смерть.

Весь этот день Давенант курил, почти не отходя от окна, и разглядывал под уклоном железного колпака вентилятора слои облаков, перерезанные чертой телеграфного провода.

Глава XII

Не теряя времени, четыре заговорщика – Галеран, Ботредж, Стомадор и Дан Тергенс, чер-

новолосый, с круглым лицом, спокойный, как сыр, человек, – взялись за трудную работу соединения двора лавки с двором тюрьмы узкой траншеей. Галеран оставил свое намерение – попытаться узнать что-нибудь от Сногдена и Лауры Мульдвей; наведя справки, он убедился, что люди этого сорта не могут ничем помочь спасти Давенанта.

Вечером следующего дня, когда погасили огни в домах окраины, Дан Тергенс с Ботреджем принесли на двор Стомадора кирку, лом, мотыгу, бурав, пилу, стальные клинья, два фонаря, четыре пары войлочных туфель, ленту-рулетку, четыре смены парусиновой рабочей одежды коричневого цвета и сверток веревок. Тергенс и Ботредж пришли теперь со стороны пустыря, где между сараем и стеной существовал заложенный досками проход, чтобы надзиратель у ворот тюрьмы не задумался над их грузом. Впоследствии работающие проникали на двор Стомадора тем же путем, так что надзиратель не видел их; так же они и уходили.

Вскоре пришел Галеран. Он увидел, что закоулок между лавкой и оградой уже очищен от бочек и другого хлама. Все собрались тут, разговаривая шепотом. Опаснейшей частью дела было пробитие начальной отвесной шахты, – шум движения и удары инструментов могли привлечь внимание случайного прохожего, и, вздумай тот поглядеть через забор, увидел бы он, что почему-то ночью роют колодец. Различные мнения относительно глубины этого колодца затянули начало действия, однако Галерану удалось доказать необходимость двух с четвертью метров глубины, считая метр на высоту горизонтального прохода, а остальное – на толщину свода во избежание обвала при движении на мостовой тяжелых грузовиков, а также чтобы заглушить опасные в тишине ночи звуки работы.

– Переднюю стенку колодца, обращенную к тюрьме, – сказал Дан Тергенс, уже не выпускающий из рук кирки, – надо ровнять по отвесу, левую – тоже, от них придется взять направление.

- В колодце должно быть просторно для начала рытья горизонтального хода,
- прибавил Ботредж, – нельзя, чтобы локти и спина мешали размаху.
- Может ли залить водой? – спросил Галеран.
- Едва ли, – сказал Стомадор, – место возвышенное. Сырость, может быть, будет.
- Уйдите все, – решил Тергенс, – тут тесно. Я вас позову. Начинаю!

Он сгреб лопатой тонкий слой верхней земли и щебня, оставшегося от постройки, рассчитив квадрат метр на метр. Край лопаты стал белым от травертина, лопата скребла его легко, как засохшую грязь, отскакивали даже небольшие куски. Но все взволнованно ждали решительного проникновения кирки, чтобы убедиться в исполнимости замысла. Ударив киркой раза три, Тергенс засунул в дыру лом и легко выворотил пласт мягкого известняка величиной фута в два.

– Пойдет, – сказал он, тотчас закуривая трубку и смотря в углубление. – Терпеть и долбить, более ничего. А теперь все уйдите. Стойте, – шепнул он, когда другие собрались уходите – вот для начала. Говорят, это хорошая примета.

Он показал обломок подковы и спрятал его в карман.

– Смотрите, не ускачите, – сказал Стомадор, – вы теперь так подкованы...

Оставив Тергенса за его делом, немного ему знакомым, так как этот человек работал несколько лет назад в угольной шахте, заговорщики уселись вокруг стола у Стомадора. Ботредж начал играть с лавочником в «палочки», а Галеран налил себе вина и погрузился в раздумье. Сегодня ему сказал Ботредж, что Факрегед будет дежурным по лазарету завтра, но не знает, на какой день попадет его следующее дежурство на том же посту. Кроме того, подкоп ничего не стоил, если второй надзиратель – дежурный общего отделения лазарета – окажется неподатливым к соблазну крупной суммы, которую решил дать, если она понадобится, Галеран. Кто будет этот второй? В тюрьме служило тридцать надзирателей, а расписание дежурств составляла канцелярия. Каждый из надзирателей мог заболеть, получить отпуск; их посты менялись периодически, но неравномерно. Почти не поддавалась расчету комбинация надзирателей, тем более важная, что оба они должны были бежать вместе с Гравелотом. Однако Факрегед сообщил, что он примет все меры быть дежурным по лазарету, если серьезные причины вынудят устроителей побега самим назначить ночь освобождения узника. От Ботреджа Галеран узнал, как ловко ведет свои дела Факрегед он считался одним из самых примерных служащих. Это обстоятельство давало

Галерану надежду.

Прошел час, прошло еще полчаса, но не видно и не слышно было Тергенса; казалось, он ушел глубоко в землю и бродит там, рассматривая окаменелости. Вдруг дверь тихо открылась. Довольный собой, задышающийся Тергенс явился перед сидящими за столом; его ноги были по колено в белой пыли, известью захватаны рукава рубашки, а шея почернела от пота; он взял лежащую в углу парусину и начал переодеваться.

– Идите смотреть, – сказал Тергенс, обхлопывая штаны. – Травертин – милый друг и более ничего.

Ободренные его тоном, заговорщики поспешили к закоулку. У стены зияла квадратная яма глубиной по грудь человеку. Высокая куча известняка громоздилась перед ней; грунт был сух на ощупь и ломался в руках, как сухой хлеб.

– Иди, я тебя буду учить, – сказал Ботреджу Тергенс. – Тут надо приноровиться. Если трудно брать киркой, действуй буравом, потом бурав выдерни, засунь лом и раскачивай, толкай в одну сторону. Тогда кусок отойдет.

Сказав так, он умолк, потому что не любил лишних слов. Наступило время работы для всех. Приспособив два ящика, заговорщики ссыпали в них лопатой куски известняка и уносили в сарай. Между тем Ботредж, оказавшийся значительно сильнее Тергенса, могуче хрустел в колодце вырываемой почвой. Заменяв свою одежду купленной парусиновой, не отдыхая, лишь уходя изредка курить в комнату, четыре человека к пяти часам ночи убрали весь мусор, закончили вертикальный колодец и, завалив его бочками, разошлись, усталые до головокружения. Галерану не дали рыть. Зная сам, что не справится с этим, он не протестовал, но уносил грунт так же энергично и бодро, как все. Хуже других пришлось Стоматору, страдавшему короткорукостью и одышкой, но он не посрамил себя и только пыхтел.

Итак, они расстались, сойдясь снова вместе к полуночи. Работа была так тяжела, что Галеран, Ботредж и Тергенс спали весь день; лишенный отдыха Стоматор бродил по лавке, дремля на ходу, и его покупатели были довольны, так как он обвешивал и обмеривал себя чуть ли не при каждой покупке. В полдень явилась Рыжая Катрин и отчасти выручила его, взявшись торговать, а Стоматор проспал четыре часа. После тяжелого пробуждения ему пришлось лечиться перцовкой; тем же способом раскачались и остальные, каждый у себя дома. Галеран никуда не выходил; опустив занавеси окон, сидел он у себя в номере, а вечером принял теплую ванну.

Как наступила полночь, ночная прохлада восстановила энергию заговорщиков, и они приступили к пробиванию горизонтального хода, свод которого шел под углом, как односкатная крыша, во избежание обвала. Чтобы определить направление – поперек шахты, сверху, Галеран уложил деревянную рейку, направленную к тому месту тюремной стены, где оканчивалось здание лазарета. У стены была пометка в виде камня, оставленного там Ботреджем, причем он пользовался точными указаниями Факрегед. Направление глубины Тергенс установил другой, короткой рейкой, забитой в дальнюю от тюрьмы стенку шахты на самом ее дне, и уравнил ватерпасом параллельно верхней рейке. Этот несовершенный по методу, но достаточный при небольшом расстоянии способ удовлетворил всех. Итак, убрав верхнюю направляющую рейку, оставили до конца работы нижнюю, чтобы, натягивая от нее привязанный шнур, уверенно копать дальше.

Таким образом, дело наладилось, причем главная работа досталась Тергенсу и Ботреджу. Сменяясь каждый час, они шаг за шагом углублялись к тюрьме. Работать им приходилось главным образом острым ломом, сидя на земле, по причине малой высоты этой траншеи, или стоя на коленях. Привязав веревку к небольшому ящику, Галеран и Стоматор вытаскивали его время от времени полный извести и относили в сарай. Натоптано и засорено по дворику было ужасно. Кончив работу, они прибирали двор, тщательно мыли руки, очищая пальцы от набивавшейся под ногти извести, чтобы не вызвать вопросов у покупателей о причине странного вида пальцев. Ботредж и Тергенс, вылезая наверх выпить стакан вина, вытряхивали из-за воротника известковый мусор. Волосы и лица их стали белыми от пыли; мелкие осколки часто попадали в глаза, и они мучительно возились с удалением из-под века раздражающих микроскопических кусочков, опустив лицо в таз с водой и мигая там со стиснутыми от рези глазного яблока зубами, пока не уда-

ляли причину страдания. Даже плотная парусина пропускала едкую пыль, зудевшую тело. Однако увлечение работой и видимый уже ее успех держали работающих в состоянии чувства головокружительно опасной игры. Фонарь теперь горел внутри шахты, за спиной шахтера, освещая вертикальное поле борьбы, торчащее перед глазами неровным изломом. Тесно и глухо было внутри; духота, пот, усиленное дыхание заставляли часто пить воду; ведро с водой было поставлено там, чтобы не выходить без нужды; Тергенсу пришла удачная мысль поливать грунт водой. Как только это начали делать, пыль исчезла и дышать стало легче. Галеран спустился заглянуть, как идет дело, и ощутил своеобразный уют дико озаренной низкой и узкой пещеры, где тень бутылки, стоявшей на земле, придавала всему видению характер плаката. К наступлению утра Тергенс и Ботредж работали полуголые, сбросив блузы, в одних штанах; их спины, скользкие от пота, блестели, распространяя запах горячего тела и винных паров. Оба обвязали платками головы.

Ничего не зная о почвах, Стомадор тем временем ожидал открытия клада; заблудившийся между романом и лавкой ум его созерцал железные сундуки, полные золотых монет старинной чеканки. На худой конец он был бы рад черепу или заржавленному кинжалу как доказательствам тайн, скрываемых недрами земли. Однако выносимая им известковая порода мало развлекала его, лишь окаменевшие сучки, раковины и небольшие булыжники попадались среди беложелтой массы кусков. Все время чувствовал он себя на границе чрезвычайных событий, забывая, что они уже наступили. Такое скрытое возбуждение помогало ему бороться с одышкой и изнурением, но он заметно похудел к рассвету второго дня работы, и Ботредж ощупал его с сомнением, спрашивая, – хватит ли при такой быстрой утечке жира его жизни на шесть-семь дней.

– Теряя в весе, – ответил лавочник, – я молодею и легче бегаю по двору. А тебе что терять? Ты высох еще в чреве матери твоей, оттого что она мало пила.

На трех метрах работа была оставлена, двор прибран, и, съев окорок ветчины, залитый хорошим вином, заговорщики разошлись, едва не падая от усталости. Галеран высчитал, что через пять дней подкоп будет окончен, если не помешает какой-либо непредвиденный случай. В эту ночь Тергенс и Ботредж получили от него по десять фунтов. Умывшись, переодевшись, они несколько посвежели; тотчас отправясь играть в один из притонов, оба, разумеется, спустили все деньги и там же улеглись спать. Стомадор проспал три часа и проснулся от звона заведенного им будильника. Катрин больше не помогала ему, так как он, что называется, «обломался», вошел в темп. Следующей ночью заговорщики продвинулись вперед еще на три метра. Желая узнать, слышны ли наверху удары лома, Стомадор вышел на мостовую над тем местом, где внизу рыл Тергенс, но, как ни вслушивался, кроме слабых звуков, не имеющих направления и напоминающих падение меховой шапки, ничего не расслышал. Это очень важное обстоятельство позволило бы работать под землей даже днем, если бы не необходимость тотчас относить прочь вырытый известняк, который, в противном случае, забивал ход вертикальной шахты, таскать же землю можно было только ночью.

Работа шла как обычно и окончилась к пяти утра. Видя свои успехи, четыре человека так воодушевились, что смотрели на окончание затеи почти уверенно.

Два важных известия отметили наступающий день во двор пришел переодетый Факрегед, передав Галера-ну обвинительный акт, исписанный на полях карандашом и посланный Давенантом через арестанта-уборщика, сносящегося со шкипером Тергенсом.

Было воскресенье. Прочтя сообщение Тиррея и документ, составленный сухо и беспощадно, Галеран по малому сроку, остающемуся до суда, который назначался на понедельник, увидел, что медлить нельзя. Тщательно измеренное пространство между тюрьмой и лавкой указывало солидный остаток толщины грунта десять с четвертью метров, не считая работы над выходом.

Состоялся род военного совещания, на котором решили назначить день бегства, повинуюсь только необходимости. Чтобы Тергенс и Ботредж могли работать круглые сутки, Стомадор придумал дать им мешки, куда они должны были складывать известняк и приставлять их к выходу наверх, чтобы после закрытия лавки Галеран и лавочник снесли их в сарай.

– Если выдержим, – сказал Тергенс, – то утром в понедельник или же вечером в понедель-

ник дело окончится. Придется пить. Трезвому ничего не сделать. Но раз нужно, мы сделаем.

Второе важное сообщение касалось дежурства по лазарету: расписание дежурств на следующую неделю ставило Факрегеда с двенадцати дня понедельника до двенадцати вторника на внутренний пост в здании тюрьмы; если бы Мутас, назначаемый одним из дежурных по лазарету, не вышел, заменить невышедшего, согласно очереди, должен был Факрегед. Он брался устроить так, чтобы Мутас не вышел. Что касается второго дежурного по общему отделению лазарета, Факрегед прямо сказал, что ему нужно триста пятьдесят фунтов, но не билетами, а золотом.

– Придется рисковать, – сказал Факрегед. – Или он возьмет золото тут же на месте, когда наступит момент, или я его оглушу.

После долгого разговора с Факрегедом Галеран убедился, что имеет дело с умным и решительным человеком, на которого можно положиться. У Галерана не было золота, и он дал надзирателю ассигнации, чтобы тот сам разменял их. Галеран отлично понимал, какой эффект придумал Факрегед. Кроме того, они условились, как действовать в решительную ночь с понедельника на вторник. Если все сложится успешно, Факрегед должен был уведомить об этом, бросив через стену палку с одной зарубкой, а при неудаче – с двумя зарубками. Сигнал одной зарубкой означал: «Входите и уведите». Как условились – в четверть первого ночи Факрегед откроет камеру Давенанта; уйдут также оба надзирателя; Груббе с автомобилем должен был стоять за двором Стомадора на пустыре.

Такой вид приняли все вопросы освобождения.

Глава XIII

На полях обвинительного акта Давенант писал Галерану о суде, болезни и адвокате.

«Суд состоится в понедельник, в десять часов утра. Волнения вчерашнего дня ухудшили мое положение. Я не могу спокойно лежать, неизвестность и предчувствие ужасного конца вызвали столько печальных мыслей и тяжелых чувств, что овладеть ими мне не дано. С трудом волочу ногу к окну и, поднявшись на табурет выкуриваю трубку за трубкой. Иногда меня лихорадит, чему я бываю рад; в эти часы мрачные обстоятельства моего положения приобретают некую переливающуюся, стеклянную прозрачность, фантазии и надежды светятся, как яркие комнаты, где слышен веселый смех, или я становлюсь равнодушен, получая возможность отдаться воспоминаниям. У меня их немного, и они очень отчетливы.

Военный адвокат, назначенный судом, был у меня в камере и после тщательного обсуждения происшествий заключил, что мой единственный шанс спастись от виселицы состоит в молчании о столкновении с Ван-Ко-нетом. По некоторым его репликам я имею основание думать, что он мне не верит или же сам настолько хорошо знает об этом случае, что почему-то вынужден притворяться недоверчивым. Внутренним чувством я не ощутил с его стороны ко мне очень большой симпатии. Странно, что он рекомендовал мне взвалить на себя вину хранения контрабанды, мое же участие в вооруженной стычке – объяснить ранением ноги, вызвавшим гневное ослепление. На мой вопрос, буду ли я доставлен в суд, он вначале ответил уклончиво, а затем сказал, что это зависит от заключения тюремного врача. «Вы только выиграете, – прибавил он,

– если ваше дело разберут заочно, – суд настроен сурово к вам, и потому лучше, если судьи не видят лица, не слышат голоса подсудимого, заранее раздражившего их. Кроме того, при вашем характере вы можете начать говорить о Ван-Конете и вызовете сомнение в вашей прямоте, так ясно обнаруженной при допросах». Пообещав сделать все от него зависящее, он ушел, а я остался в еще большей тревоге. Я не понимаю защитника.

Дорогой Галеран, не знаю, чем вызвал я столько милости и заботы, но, раз они есть, исполните просьбу, которую, наверно, не удастся повторить. Если меня повесят или засадят на много лет, отдайте серебряного оленя детям Футроза, вероятно, очень взрослым теперь, и скажите им, что я помнил их очень хорошо и всегда. Чего я хотел? Вероятно, всего лучшего, что может пожелать человек. Я хотел так сильно, как, видимо, опасно желать. Так ли это? Девять лет я чувствовал оторопь и притворялся трактирщиком. Но я был спокоен. Однако чего-нибудь стою же я,

если шестнадцати лет я начал и создал живое дело. О Галеран, я много мог бы сделать, но в такой стране и среди таких людей, каких, может быть, нет!

Я и лихорадка исписали эти поля обвинительного акта. Все, что здесь лишнее, отнесите на лихорадку. Дописывая, я понял, что скоро увижу вас, но не могу объяснить, как это произойдет. Больше всего меня удивляет то, что вы не забыли обо мне.

Джемс – Тиррей».

Галеран очень устал, но усталость его прошла, когда он прочел этот призыв из-за тюремной стены. Он читал про себя, а затем вслух, но не все. Все поняли, что медлить нельзя.

– Гравелот поддержал наших, – сказал Ботредж, – а потому я буду рыть день и ночь.

– Работайте, – сказал Галеран контрабандистам, – я дам вам сотни фунтов.

– Заплатите, что следует, – ответил Тергенс, – тут дело не в одних деньгах. Смелому человеку всегда рады помочь.

– Когда я покину лавку, – заявил Стомадор, – берите весь мой товар и делите между собой. Двадцать лет я брожу по свету, принимаясь за одно, бросая другое, но никогда не находил такой дружной компании в необыкновенных обстоятельствах. Чем больше делаешь для человека, тем ближе он делается тебе. Итак, выпьем перцовки и съедим ветчину. Сегодня, как всегда по воскресеньям, лавка закрыта, спать можно здесь, а завтра вы все будете отдыхать под землей, туда же я подам вам завтрак, обед, ужин и то, что захотите съесть ночью, то есть «ночник».

Восстановив силы водкой, обильной едой, сигарами и трубкой, заговорщики спустились в подкоп. Они достигли такой степени азартного утомления, когда мысль о цели господствует над всеми остальными, создавая подвиг. Спирт действовал теперь только на мозг; сознание было освещено ярко, как светом магния. Засыпая, они видели во сне подкоп, просыпаясь – стремились немедленно продолжать работу. Пока не взошло солнце, дышать было легко, но после девяти утра духота стала так сильна, что Тергенс обливался потом, а чем дальше углублялся он к тюремной стене, тем труднее было дышать. Чтобы не путаться во время коротких передышек, заговорщики начали работать попарно: Галеран с Тергенсом, а Ботредж со Стомадором. Не имея возможности выпрямиться, все время согнувшись, сидя на коленях или в неудобном положении, они вынуждены были иногда ложиться на спину, чтобы, насильственно распрямляясь, утишить ломящую боль суставов. Трудно сказать, кому приходилось хуже – тому ли, кто оттаскивал тяжелые мешки к одной стороне прохода, лучше и сильнее зато дыша, так как был ближе к выходному отверстию, или тому, кто рыл, – то сидя боком, то полулежа или стоя согнувшись.

Работать приходилось всем, что было под рукой. Иногда Тергенс или Ботредж ввинчивали бурав, делая ряд скважин, и, расшатывая известняк ломом, вырывали его затем ударами кирки. Случалось, что их ободряли легко обламывающиеся пустоты, куда лом проваливался, как сквозь скорлупу, но попадались и упорные места, которые надо было долбить. Когда углубились уже за середину улицы, известняк начал отсыревать, что указывало близость источника, и до позднего вечера работа протекала под страхом воды, могущей залить ход. Но этого не случилось. До тюремной стены известняк оставался влажным – слева сильнее, чем справа, однако не в такой степени, чтобы образовалась жидкая грязь. Подкоп выдержал до конца. Когда набитые руками мешки вытянулись у стены хода, Стомадор и Ботредж подняли их наверх и высыпали в сарай, где уже возвышалась гора известняка. Товар был удален: в сарае едва хватало пространства, чтобы поместить остальной грунт. Утреннее движение началось, а потому стало опасно носить мешки через двор, так как возникло бы подозрение. Тогда решили рассыпать известняк вдоль всего хода, пробитого к одиннадцати часам еще на два метра, а ночью заняться уборкой грунта в сарай. К этому времени Стомадор едва держался на ногах. Тергенс сел у выхода и заснул, держа кирку в руках; Ботредж жадно пил воду. Никто не мог и не хотел есть. Прибегли к перцовке, единственно возвращающей осмысленный вид дергающимся небритым лицам с красными от пыли глазами. Разбудив Тергенса, Ботредж увел его в лавку, где все разделись, обмылись холодной водой и легли голые, лицом вверх, на разостланные по полу одеяла. Повесив у задней двери замок, Стомадор залез в лавку через дворовое окно и закрыл ставни. Он лег рядом с Ботреджем.

Распростертые тела четырех человек лежали, как трупы. Лишь пристально вглядываясь, можно было заметить, что они слабо дышат, а на шеях их вздуваются и опадают вены. Этот бо-

лезненный сон длился до пяти часов вечера. Воздушная ванна сделала свое дело – дыхание стало ровнее. Тергенс стонал во сне, Стомадор мудро и мирно храпел. Первым проснулся Галеран, все вспомнил и разбудил остальных, лишь мгновение лежавших с дико раскрытыми глазами. Они встали; одевшись – поели, чувствуя себя, как после долгого гула над головой. Теперь условились так: чтобы не показалось странным долгое отсутствие Стомадора, лавочник остается дома на случай появления клиентов или Факрегеда с известиями; остальные уходят под землю и пробудут там до наступления полуночи, после чего предполагалось вновь отдохнуть. Когда они спустились, лавочник закрыл выход ящиками, но так, чтобы не затруднить доступ воздуха.

За этот вечер были к нему три посещения обычного рода: жена надзирателя, купившая пачку табаку и колоду карт, пьяный разносчик газет, никак не рассчитывавший, что Стомадор охотно даст ему в долг вина, а потому хотевший излить свои чувства, но прогнанный очень решительно, и сосед-огородник, забывший, за чем пришел. Однако на этот раз Стомадор не угостил его, сказав, что «болит голова». Как стемнело, явилась Рыжая Катрин, закурила и села.

– Дядя Стомадор, Факрегед передает вам новости: его смена наладилась. Без бабы вам, видно, никак не обойтись.

– Говори скорей. Вот выпей, выкладывай и уходи; лучше, чтобы никто не видел тебя здесь. Мы теперь всего боимся.

– Значит, работа у вас налажена? Я думала, что стучат. Ничего не слышать.

– Стучит у меня в голове. Будешь ты говорить наконец?

– Факрегед дал мне обработать Мутаса, чтобы тот валялся больной завтра, к двенадцати дня, когда сменяются. Я это дело наладила. Мутаса подпоил Бархатный Ус и передал его мне. Он у меня. Вы видите, я подвыпивши. Мы нашли одного человека, который будто бы хлопочет поступить в надзиратели. Мутас расхвастался, а тот его поит, даже денег ему дал. И будет поить целые сутки. Утром я Мутасу дам порошок, чтобы проспал лишнее. Все в порядке, дядя Стомадор, а потому угостите меня.

– Ты не рыжая, ты – золотая, – объявил Стомадор, наливая ей коньяку. – Выпей и уходи. Ну, как твой Кравар?

– Так что же Кравар? Он ничего. Стал ходить и даже не совсем скуп. Нельзя сказать, что он скуп. Я удивилась. Теперь хочет жениться. Только он страшно ревнив.

– Возьми его, – сказал лавочник, – потом будешь жалеть.

– Видите ли „ дядя Том, я – честная девушка. Какая я жена?

Катрин ушла, а Стомадор вышел к подкопу и, отвалив бочки, увидел Галерана, стоявшего в колодце, уронив голову на руки, прижатые к отвесной стене. Он глубоко вздыхал. Ботредж валялся у его ног с мокрой тряпкой на голове. Тихо раздавались удары Тергенса, крошившего известняк.

– Очнитесь, – сказал лавочник Галерану, – выйдите все, надо пить кофе. Иначе вы умрете.

– Никогда! – Галеран бессмысленно посмотрел на него. – Что нового?

– Факрегед будет дежурить.

– Да? – отозвался Ботредж, приподнимаясь. – Сердце начинает работать.

Согнувшись, выглянул снизу Тергенс.

– Все выйдем, – заявил он. – Силы кончаются. Завалили весь ход. Отдохнув, начнем убирать.

Он сел рядом с Ботреджем, свесив голову и машинально отирая лоб тылом руки.

Стомадор расставил ноги пошире, нагнулся и начал помогать обессиленным труженикам выходить на двор.

Глава XIV

В понедельник весь день дул холодный ветер, и это обстоятельство значительно облегчило работу, превратившуюся в страдание. Ночь, вся потраченная на уборку лома из подкопа, так вымотала работающих, что их мысли временами мешались. Чем длиннее становился проход, тем мучительнее было снова везд и вперед, сгибаясь и волоча мешки с кусками известняка. Обо-

дранные колени, руки, черные от грязи и засыхающей крови, распухшие шеи и боль в крестце заставляли иногда то одного, то другого падать в полусознательном состоянии. Оставалось им пробить два с небольшим метра, но, выкопав целый коридор для карликов, они чувствовали эти два метра, как пытку. В противовес оглушенному сознанию и сплошь больному телу, их дух не уступал никаким препятствиям, напоминая таран. Иногда, оглядываясь при свете фонаря вперед и назад, Галеран испытывал восхищение: эти четырнадцать метров тоннеля, совершенно прямого, вызывали в нем гордость оправдывавшей себя настойчивости. Тергенс заметно сдавал. Он почти не говорил; глаза его обессиленно закрывались, и он, словно умирая, на мгновение делался неподвижен; Ботредж поддерживал силы яростной бранью против, тюрьмы, суда и известняка, а также вином. Вино и табак были теперь единственной пищей всех четверых.

В понедельник от часа дня и до шести вечера Тергенс, Галеран и Ботредж забылись тяжелым сном, сидя у выходного отверстия, и, как стемнело, проснулись, тотчас приложившись к бутылкам. Их разбудил Стомадор, который вынужден был весь день торговать, засыпая на ходу и отвечая покупателям не всегда вразумительно. Катрин посетила его, купив для вида жестянку кофе.

– Присуждены все к повешению, – сказала женщина, – Факрегед в лазарете. Ночью в пять часов приговоренных увезут в крепостную тюрьму, где есть такие же трое по другим делам, там будут казнить.

Ужас, понятый всякому, кто полюбил человека за то, что делает для него, отозвался в ногах лавочника дрожью отчаяния. Он пошел и разбудил Галерана, сказав о приговоре. Хотя надо было ожидать только такого приговора, известие это превзошло все искусственные способы подкрепления нервной системы. В молчании началась работа.

В десять часов вечера палка с одной зарубкой ударила о мостовую и легла неподалеку от лавки. Стомадор поднял ее.

Было бы бесцельной жестокостью описывать эти последние часы, представляющие ни бред, ни жизнь, полуобморочные усилия и страх умереть, если не хватит пульса. Единственно спирт спасал всех. К половине двенадцатого было вырвано у земли все определенное расчетами расстояние – и снизу вверх образовалась шахта, закупоренная над головой слоем в полтора фута. Груббе, получивший через Катрин известие, приехал окольной дорогой и стал на некотором отдалении на пустыре за сараем Стомадора. Наспех переодевшись в темные, простые костюмы, заменив туфли башмаками, взяв деньги, револьверы, заперев лавку и очистив проход от инструментов, так что отчетливость во всем была до конца, заговорщики приступили к освобождению Давенанта.

Оставив Тергенса у фонаря, среди прохода, Ботредж, Стомадор и Галеран подошли к последнему препятствию, висевшему над головой потолком из земли и корней. Стомадор держал лесенку наготове. Неимоверные усилия последних часов ошеломили всех. Дышать было почти нечем. Тергенс, рухнув у фонаря, сидел, опираясь стеной о стенку, и, протянув ноги, хрипло дышал, свесив голову. Ботредж тронул его за плечо, но тот только махнул рукой, сказав: «Водки!» Вынув из кармана бутылку, контрабандист сунул ее в колени приятеля и присоединился к Галерану.

Галеран и Стомадор, сжимаясь в тесноте, пропустили Ботреджа, самого высокого из них, нанести своду последние удары. Ботредж не мог действовать киркой вверх, он взял лом и ровно в пятнадцать минут первого, по часам Галерана, вонзил лом. Обрушился град земляных комьев. Шепнув: «Берегитесь», хотя стоявшим нагнувшись в горизонтальном проходе Галерану и лавочнику не угрожало ничто, Ботредж пошатал лом, еще глубже просунул его наверх и, действуя как рычагом, едва успел сам закрыться рукой: земля провалилась и засыпала его до колен. В дыру хлынул сквозняк; лунное небо, разделенное веткой куста, открылось высоко над запорошенным лицом контрабандиста. Торопливо подставив лесенку, Ботредж руками обвалил неровность краев, расширил отверстие и хлопнул себя по бокам.

– Ворвались! – шепнул Ботредж. – Ждите теперь! Отверстие пришлось на расстоянии двух шагов от стены. Торжество людей, хрипло дышавших воздухом тюремного двора, было высшей наградой за изнурение последнего ужасного дня. Даже обессиленный Тергенс тихо отозвался

издали: «Пью. Слышу... Превосходное дело!» Все трое толкались и теснились у отверстия, как рыбы у проруби, ожидая, что вот-вот затемнит свет луны тень Давенанта, выпущенного Факрегедом из камер.

Ничто не прошумело, не стукнуло; ни шагов, ни шороха наверху, и вдруг Галеран увидел Факрегеда, опустившегося над ямой на четвереньки. Их взгляды сцепились. Растерянное лицо Факрегеда поразило Галерана.

– Где он? – шепнул Галеран. – Давайте его. Прыгайте сами. Экипаж готов.

– Сорвалось, – сказал Факрегед, ломая ветку куста, царапающую лицо.

– Что случилось?

– Ему не выйти. Не сделать ни одного шага. Он в жару и в бреду, иногда только лепечет разумное. Сил у него нет. Я его хотел посадить, он обессилел и свалился. Весь день курил и ходил. К вечеру – как огонь, но доктора решили не звать, на что надеемся – сами не знаем. Бросив вам палку, я видел, что он плох, но думал – дойдет, а там его унесут. За последние два часа как громом поразило его.

Устранив Мутаса, Факрегед все же сильно боялся, что его дежурство окажется внутри тюрьмы, как назначалось по расписанию, а в лазарет отправится кто-нибудь другой. Факрегеда выручила его репутация неумолимого и зоркого стража, которую он поддерживал сознательно. Обстоятельства предстоящей трагедии склонили помощника начальника тюрьмы на сторону Факрегеда. Друг контрабандистов подкупил второго надзирателя по лазарету, Лекана, прямо и грубо раскрыв перед ним руки, полные золота. Прием оказался верен: никогда не выдававший столько денег и узнав, что бегство обеспечено, Лекан поддался очарованию и согласился участвовать в освобождении приговоренного.

Пятьдесят фунтов Факрегед взял себе.

Так нестерпимо, так ужасно прозвучало мрачное известие, что Галеран немедленно взобрался вверх и, задыхаясь от скорби, очутился в саду лазарета. Он оглянулся. За ним стоял Ботредж; Факрегед поддерживал вылезающего Стомадора.

– А вы куда? – спросил Галеран.

– Все вместе, – сказал Ботредж. – Ночь лунная, будем гулять.

В его глазах блеснул редко появляющийся у людей свет полного отречения.

– Для чего же я жил? – сказал Стомадор. – Теперь ничто не страшно.

Факрегед скользнул к углу здания, где открытая дверь заслоняла собой вид на ворота. Оттуда доносился негромкий разговор надзирателей.

– На волоске так на волоске, – прошептал он. – Идите тихо за мной.

Один за другим они проникли в ярко освещенный коридор общего отделения. Галеран увидел бледного, трясущегося Лекана, который, беспомощно взглянув на Факрегеда, получил в ответ:

– Готовьтесь ко всему, отступление обеспечено. Слыша тревожное движение в коридоре, некоторые арестанты общей палаты проснулись и лежали прислушиваясь, с возбуждением зрителей, толпящихся у дверей театра. «Что там?» – сказал один. «Увозят казнить», – ответил второй. «Кто-нибудь умер»,

– догадывался третий. Из одиннадцати бывших там больных только один почувствовал, в чем дело, и так как он был осужден на двадцать лет, то закрыл уши подушкой, чтобы не слышать растрavляющих звуков безумно-смелого действия.

Лекан остался, чтобы лгать арестантам, если бы они вздумали вызвать его, из любопытства, звонком, а остальные углубились в коридор одиночных камер и подошли к двери Тиррея. Услышав шаги, он отрешился от неясных фигур бреда, стиснул сознание и направил его к звукам ночи. «Идут за мной; как поздно и ненужно теперь, – думал он, – но как хорошо, что они пришли. Или мне все это кажется? Ведь все время казалось что-то, оно отлетает и забывается. Недолго мне осталось жить. Когда смерть близко, все не совсем верно. Но я не знаю». Я хочу, – вслух продолжал он, радостно и дико смотря на появившегося перед ним Галерана, – чтобы вы подошли ближе. Вы – Галеран. Орт Галеран, мой друг...»

Увидев воспаленное лицо Давенанта, Галеран стремительно подошел к нему.

– Неужели прокопали улицу поперек?

– Да, Тиррей, сделано, и мы пришли, – сказал Галеран, еще надеясь, что очевидность наступившего освобождения поднимет это исхудавшее тело. Он с трудом узнал того юношу, каким был Давенант. Странно и тягостно было такое свидание, когда сказать хочется много, но нельзя терять ни минуты.

Галеран сел в ноги Тиррея. Стомадор и Ботредж встали у столика.

– Джемс, я тут, – шепнул лавочник, – мы не оставим тебя.

– А это кто? Это Стомадор, – продолжал Давенант, которому в его состоянии ничуть не казалась удивительной сцена, представляющая сплошной риск. – Репный пирог, Стомадор, навеки соединил нас. Орт Галеран, мой друг. Вы совсем белый, да и я такой же – внутри.

– Мужайся, тебя спасут. Все готово. Встань, мы поедем ко мне, в загородный мой дом. Автомобиль ждет. Ты уедешь на пароходе в Сан-Риоль или Гель-Гью.

– Немыслимо, Галеран. Должно быть, вы самый милый человек из всех, кого я знал, а я, кажется, знал кого-то..

– Да встань же, глупый!

– Прикован. Окончился как ходок.

– Три раза я помещал в газетах объявление о тебе.

– Я не читал газет... Я долго не читал их, – сказал Давенант.

– Я вернулся через два дня после твоего исчезновения. У меня было много денег. Твоя доля – несколько тысяч. Она цела.

– Мне тогда нужно было только сто фунтов. Ах, как я искал вас!

Давенант любовно смотрел на него, желая одним взглядом передать все, о чем трудно было говорить. Наморщась, он приподнял руку и, вздохнув, уронил ее.

– Вот так и я, – сказал он, – еще меньше силы во мне.

Галеран откинул одеяло и тихо опустил его. Нога, надувшись, красновато блестела; Ступня, слившись с икрой, потеряла форму.

– Не берегся? – сказал ужаснувшийся Галеран. – Что же теперь?

– Как я мог беречься? – ясно, но с трудом говорил больной. – Беречься, тихо лежать с могильным песком на зубах! Да. – я не мог. Со мной поступили гнусно, мне обещали, что меня привезут в суд, однако все было решено без меня.

Факрегед заглянул в камеру. Бледный, весь сдвинутый на одну мысль, с искусанными от волнения губами, он осмотрел всех и подошел к койке, скребя лоб.

– Как пласт! – сказал Факрегед. – Что решаете? Не мучьте его.

– Все труды, все пропало, – сказал Стомадор. – Усились, Гравелот. Только выйти и спуститься! Там мы тебя унесем!

– Много ли осталось безопасного времени? – спросил Галеран.

– Что – время? – ответил Факрегед. – В нашем распоряжении верных два часа, пока там зашевелился, но, будь хоть десять, его все равно не вынести.

Действительно, унести Тиррея было нельзя. На узком повороте, прикрытом от глаз дворового надзирателя распахнутой створкой двери лазаретного входа, человек мог проскользнуть незаметным, только прижимаясь к стене и заглушая свои шаги. Галеран пошел к выходу, мысленно подтащил сюда Тиррея и увидел, что, если больной даже не вскрикнет, – все они будут мгновенно пойманы. Тащить тело втроем оказывалось таким действием, которое требовало еще одного метра скрытого от глаз надзирателя пространства, и то при условии, что гравий не хрустнет, а усиленное дыхание четырех человек не нарушит тишину тюремного двора. Возвратясь, Галеран с отчаянием посмотрел на Тиррея.

– Ну как-нибудь, Давенант!

Видя горе своих друзей, бесполезно рискующих жизнью, Давенант сосредоточил взгляд на одной точке стены, поднял голову и напрягся соскользнуть с койки. Две-три секунды, поддерживаемый Галераном, он дрожал на локтях и рухнул, закрыв глаза и сдержав стон боли таким неимоверным усилием, что жилы вздулись на лбу.

– Неужели не пощадят? – сказал Галеран. – Ведь он не может даже стоять.

– Повесят в лучшем виде, – отозвался Ботредж. – Бенни Смита вздернули после отравления мышьяком, без сознания, так он и не узнал, что случилось.

Глотая слезы, Стомадор схватил Галерана за плечо, твердя:

– Довольно... Хватит. Я больше не могу. Я буду стрелять. Мне теперь все равно.

– Уходите, – тихо произнес Давенант, – не мучайтесь. Мне хорошо, я спокоен. Я сейчас живу сильно и горячо. Мешает темная вода, она набегаёт на мои мысли, но я все понимаю.

– Напасть на ворота? – сказал Ботредж. Ему не ответили, и он тотчас забыл о своем предложении, хотя приготовился ко всему, как Стомадор и Галеран. Их состояние напоминало переключенные ключом замки.

Взяв руку приговоренного, Галеран стал ее гладить и улыбаться.

– Думай, что я слегка опоздал, – шепнул он. Мне тоже осталось немного жить. Делать нечего, мы уйдем. Все-таки прости жизнь, этим ты ее победишь. Нет озлобления?

– Нет. Немного горько, но это пройдет. Едва увиделись и должны расстаться! Ну, как вы жили?

Ботредж начал громко дышать и ушел к окну; его рука нервно погрузилась в карман. Он вернулся, протягивая Давенанту револьвер.

– Не промахнетесь даже с закрытыми глазами, – сказал Ботредж, – вы – человек твердый.

Давенант признательно взглянул на него, понимая смысл движений Ботреджа и радуясь всякому знаку внимания, как если бы не ужасную смерть от собственной руки дарили ему, а веселое торжество. Он взял и уронил его рядом с собой.

– Устроюсь, – сказал Давенант. – Я понимаю. Что же это? Стомадор! Не плачьте, большой такой, грузный!

– Что передать? – вскричал лавочник, махнув рукой на эти слова. – Есть ли у тебя мать, сестра или же та, которой ты обещался?

– Ее нет. Нет тех, о ком вы спрашиваете.

– Тиррей, – заговорил Галеран, – эта ночь дала тебе великую власть над нами. Спасти тебя мы не можем. Исполним любое твоё желание. Что сделать? Говори. Даже смерть не остановит меня.

– И меня, – заявил Стомадор. – Я могу остаться с тобой. Откроем пальбу. Никто не войдет сюда!

В этот момент полупомешанный от страха Лекан ворвался в камеру и, прошипев: «Уходите! Перестреляю!» – был обезоружен Факрегедом, подскочившим к Лекану сзади.

Факрегед вырвал у надзирателя револьвер и ударил его по голове.

– Уже пропал! – сказал он ему. – Опомнись! Смирись! На, выпей воды. Застегни кобуру, револьвер останется у меня. Эх, слякоть!

– Лекан, кажется, прав, – отозвался Тиррей. Оглушительные действия, брань и стакан воды образумили надзирателя. Чувствуя поддержку и крепкую связь всей группы, он вышел, бормоча:

– Мне показалось... на дворе... Скоро ли, наконец?

– Положись на меня, – сказал Факрегед, – не то еще бывало со мной.

– Решайте, – обратился Ботредж к Давенанту. – Все будет сделано на разрыв сердца!

– Не думайте, – вздохнул Давенант, – не думайте все вы так хорошо для одного, которому суждено пропасть.

Взгляд его был тих и красноречив, как это бывает в состоянии логического бреда.

– Должна прийти, – сказал он с глубоким убеждением, – одна женщина, узнавшая, что меня утром не будет в живых. Ей сказали. Неужели не лучшее из сердец способно решиться посетить мрачные стены, волнуемые страданием? Это сердце открылось, став на высоту великой милости, зная, что я никогда не испытал любящей руки, опущенной на горячую голову. Как мало! Как много! Неизвестно, как ее зовут, и я не вижу ее лица, но, когда вы уйдете, я увижу его. В этом – все. Проклят тот, кто не испытал такого привета.

– Мы увидим ее, милый Тиррей, – сказал Галеран, внимательно слушая речь, навеянную бредом и одиночеством. – Кто ей сказал?

– Как будто кто-то из вас, – встрепнулся Давенант, осматриваясь с усилием, – недавно вы-

ходил отсюда.

– Вышли и вернулись, – неожиданно произнес Стомадор, отвечая взглядом пристальному взгляду Галерана.

Ботредж тоже понял. Образы предсмертного возбуждения открылись им в той же простоте, с какой говорил Давенант. Ночь смертного приговора уравнила всех. На многое довольно было намека.

– Стомадор, – шепнул Галеран, отходя с лавочником к окну, – ведь вы готовы на все...

– Он готов, я с ним, – сказал Ботредж, – но... вы?

– Нет, я не гожусь, – грустно ответил Галеран. – Я – порченный. Вы сделаете лучше меня, если сделаете.

Слушавший у двери Факрегед мрачно кивнул головой, когда Галеран глазами спросил его.

– Да, – сказал Факрегед, – все мы решились на все, по крайней мере о нас будут говорить с уважением. Пусть идут, только недолго, через час станет опасно.

– О чем вы говорите? – спросил Давенант. – Как длинна эта ночь! Но я не жалею, я никогда не жаловался. Галеран, сядьте на койку, вы уйдете последний.

Между тем Ботредж и Стомадор, крадучись, проникли в отверстие за стеной лазарета и поползли к Тергенсу; он, догадываясь уже о скверном исходе, молча смотрел на приятелей, которые, ухватив друг друга за плечи, спорили, стоя на коленях. Тергенсу Стомадор сделал знак не мешать.

– Вы слушайте, – говорил Ботредж, тряся плечи лавочника, – я проворнее вас и могу сказать все быстрее. Я знаю, что делать.

– При чем проворство? Пустите, отцепитесь, ты все погубишь! – возражал Стомадор, сам не выпуская плеча Ботреджа. – За тобой прибежит толпа...

– Не упрямитесь, времени у нас мало, – перебил Ботредж, – ведь это не то, что привести священника. Душа его мучится. Понимаешь ли ты?

– Я все понимаю лучше вас. Сойди с дороги, говорят тебе. Ты не можешь выразить, как нужно, от тебя разбегутся все. У меня есть опыт на эти вещи! Я изучаю психологические подходы и имею верность глаза! Как можешь ты меня заменить? Это нахальство!

– Бросьте. Я сбегая за угол к одной вдове, она добрая душа и не труслива. Она сразу пойдет. Ее сын тоже сидит в тюрьме, только не здесь.

– Да понимаешь ли ты, чего хочет он перед смертью? – зашипел Стомадор. – Даже мне этого не сказать, хотя в такую сумасшедшую ночь мои мысли проснулись на всю жизнь! Он хочет вздохнуть – слышишь? – вздохнуть всем сердцем, вздохнуть навсегда! Молчи! Молчи! Это я приведу последнего, неизвестного друга, такого же, как его светлый бред! – в исступлении шептал Стомадор, утирая слезы и чувствуя силы разбудить целый город. – О ночь, – сказал он, стремясь освободиться от переполнивших его чувств, – создай существо из лучей и улыбок, из милосердия и заботы, потому что такова душа несчастного, готового умереть от руки нечестивых! Что мы будем болтать. Стой у тюремного выхода и стреляй, если понадобится!

Ботредж хотел возражать, но Тергенс взял его за ворот блузы и оттащил от лавочника, кинувшегося, ударяясь головой о свод, к выходу на двор.

– Сидите, – сказал Тергенс, – лавочник говорит дело. Перескочив из двора на пустырь сзади сарая где сильно волнующийся Груббе сидел, не выпуская из рук рулевого колеса, лавочник только махнул ему рукой, давая тем знак стоять и ждать, сам же обогнул квартал со стороны пустыря, выбежав на Тюремный переулок ниже тюрьмы.

Сухой, знойный ветер обвевал его задыхающуюся фигуру. С обнаженной головой, чувствуя все время безмолвный призыв сзади себя, Стомадор оглядывался в ночной пустоте. Он то шел, то бежал.

Луна таилась за облаками, обнажив светящееся плечо. Бесстрастный ночной свет охватывал тени домов. Не добегая моста в низине, соединяющего предместья с городом, Стомадор увидел двух девушек, торопливо возвращающихся домой. Он кинулся к ним с глубокой верой в одушевляющую его силу, но, замерев от неожиданности, эти девушки при первом его слове: «Помогите умирающему..» – разделились и бросились бежать, испуганные диким видом растре-

панного грузного человека. Не останавливаясь, не смущаясь, Стомадор пробежал короткий квартал, соединяющий мост со ступенями северного выхода Центрального бульвара, почти пересекающего город прямой линией.

Густая листва низких пальм шумела и колыхалась от горячего ветра, далеко играл оркестр мавританской ротонды; его звуки отдалялись ветром, иногда лишь звуча явственно и тревожно, как слова, бросаемые в дверь человеком, уходящим навсегда, далеко. Почти не было прохожих в этот час ночи; на конце бульвара одна явственная женская фигура в черной мантилье приближалась к ступеням; как звезды, блеснули ее глаза.

– Жизнь, остановись ради смерти! – крикнул Стомадор, бросаясь к ней. – Кто бы вы ни были, выслушайте голос самого отчаяния! Дело идет о приговоренном к смерти. Я не пьян, не безумен, и я сразу поверил в вас. Не обманите меня!

Глава XV

Даже первый месяц брака не дал счастья молодой женщине, так горячо любившей своего мужа, что она не замечала его обдуманых действий, подготовляющих разрыв. Лишь первые дни брака Ван-Конет был внимателен к своей жене; с переездом в Покет он перестал стесняться и начал вести ту обычную для него жизнь, к которой привык. Он был рассеян, резок и насмешлив, как взрослый, быстро разочаровавшийся в игрушке, взятой им из прихоти для недолгой забавы. В этот день Консуэло была грубо оскорблена Ван-Конетом, попрекнувшим жену ее незнатным происхождением. Чтобы хотя немного рассеяться, молодая женщина отправилась на концерт одна, где, слушая взволновавшую и еще более расстроившую ее музыку, в задумчивости покинула концертный зал. Впервые так тяжело не совпадали выраженные высоким искусством чувства с ее горьким наивным опытом. Грустная, чувствуя желание остаться одной, она, мало зная город, медленно шла по бульвару не в ту сторону, куда надо было идти, и ее остановил Стомадор.

Мельком взглянув на него, Консуэло проронила несколько испанских слов и хотела пройти дальше, но Стомадор так бережно, хотя пылко, схватил ее руку, что она остановилась, не решаясь сердиться.

– Не уходите, не выслушав, – говорил Стомадор, растопырив руки, как будто ловил ее. – Сеньора, приговорен к смертной казни лучший мой друг, Джемс Гравелот, и на рассвете его повесят. Сеньора, помогите мне сказать такие слова, которые убедят вас! Идите к нему со мной, выслушайте и проводите его! Ваше сердце поймет это последнее желание, для которого слишком недостоин и груб мой язык, чтобы я мог его выразить!

Чувствуя серьезность нападения, видя расстроенное лицо, беспорядочную одежду, уже слегка зараженная неистовым волнением старого человека, Консуэло произнесла:

– Да простит бог его грешную душу, если это так, как вы говорите, добрый человек. Куда же вы зовете меня?

– В тюрьму, сеньора. Это не преступник, хотя и обвинен в перестрелке с таможней. Никто не верит в его преступность, так как его погубил Ван-Конет, сын губернатора. Гравелот ударил этого негодяя за подлый поступок. Мсть, страх потерять выгодную невесту сгубили Гравелота. Но нет времени рассказывать все. Я вижу, вы сжалились, и ваша прекрасная душа бледнеет, как ваше лицо, слыша о преступлении. Вот его последнее желание, и судите, может ли так сказать черная душа: «Стомадор, обратись к первой женщине, которую встретишь. Если она стара, она будет мне мать, если молода, – станет сестрой, если ребенок, – станет моей дочерью». Судите же, чего не получил умирающий и как жестоко отказать ему, потому что он болен, неподвижен и готовится умереть!

Эта речь, полная безыскусственного страдания, страшное обвинение ее мужа, отчего дрогнуло уже нечто непоправимое в душе тоскующей молодой женщины, отвели все колебания Консуэло. Она решилась.

– Я не откажу вам, – сказала Консуэло. – Есть причина для этого, и она довольно мрачна, чтоб я пыталась ее объяснить. Идемте. Ведите меня. Как мы пройдем?

– О, извините! Только через подкоп. Бегство не удалось, – ответил ликующий Стомадор,

готовый из благодарности нести на руках это милое существо, так отважно решающееся подвергнуть себя опасности. – Верьте или нет, как хотите, но, по крайней мере, двадцать обращений было с моей стороны, и все они не имели успеха. И я не жалею, – прибавил он, – так как мне суждено было... Вы понимаете, что это правда, сеньора.

Несмотря на душевный мрак, более напоминающий смерть, чем лихорадочное возбуждение Давенанта, Консуэло не могла удержаться от улыбки, слушая наивную лесть и многое другое, что, поспешно шагая рядом с ней, говорил Стомадор, пока минут через пятнадцать они не проскользнули в дверь лавочного двора. Добросовестность Стомадора была теперь вполне ясна Консуэло, поэтому, хотя и с стеснением, вызываемым необычностью опасного происшествия, она все же храбро заглянула в слабо освещенную фонарем узкую шахту, сказав:

– Я вся перемажусь. Дайте мне завернуться во что-нибудь.

За то время, что они шли, из разговора со Стомадором стало ей вполне грубо и мерзко ясно сердце ее мужа, как будто открылись больные внутренности цветущего на вид тела, полные язв. И она хотела выслушать приговор свой от приговоренного, неведомо для себя распутавшего грязную ложь.

Быстрее кошки, уносящей скачком мышь, Стомадор кинулся в свою комнату, возвратясь с простыней, довольно чистой. Закутавшись с головой, Консуэло увидела выглянувшее снизу лицо Тергенса. Ее охватил глубокий интерес к предприятию, мрачность и трепет которого чем-то отвечали ее страданию.

– Еще все тихо, – с облегчением прошептал Стомадор. – Ночь милостива к Джемсу... Но обдуманно же все действительно блестяще!

Молоденькая женщина с лицом самой совести казалась Стомадору доверчивой девочкой. Он парил около нее, бережно поддерживая при спуске.

– Клянусь терновым венцом! Вы – настоящие мужчины! – произнесла Консуэло, заглянув в жуткий тоннель, мрачно озаренный звездой фонаря. Действительно, можно было восхититься этой работой. – Хоть это утешение мне, – добавила она, оставив лавочника в недоумении насчет смысла своего замечания.

Между тем само положение тюрьмы против закоулка двора указывало истину слов ее расстроенного проводника. Теперь Консуэло считала прямой обязанностью своей заглядывать чем-нибудь зло, нанесенное ее мужем; она торопилась и пробиралась согнувшись. Ботредж, пораженный ее видом, молчал, прижавшись к стене прохода, чтобы пропустить женщину. Она наступила ему на руку, но он даже не пошевелился. Тергенс пополз вперед и сел у второго выхода, протянув ноги. Консуэло и лавочник перешагнули через его ноги с большим удобством, чем минуя длинное туловище Ботреджа. На счастье всех действующих лиц тюремной драмы, ветер дул им в лицо. Карабкаясь по ступенькам деревянной лестницы, Консуэло выбралась наверх. Бросив простыню в отверстие, она неслышно прошла за Стомадором те десять шагов, которые отделяли подкоп от двери лазарета, и, прижимаясь к стене угла, скользнула в яркое помещение. Из всех манипуляций прохода к двери и обратно эти два шага под прикрытием узкой дверной плоскости были острейшим испытанием риска. Грузный Стомадор, как и первый раз, лег у двери на бок, подтянувшись затем на руках. Консуэло прижималась к стене спиной, расставив руки и откинув голову. Такие же предосторожности принимались всеми, не исключая Факрегеда, и если принять во внимание, что за время действия было всего тринадцать следования разных людей из дверей и в двери лазарета, причем никто не зашумел, не споткнулся, то станет ясным, какое напряжение потрачено было на этом крошечном участке тайной борьбы.

К моменту ее появления Давенант уже забыл, кто может придти. Его бессвязная речь, коснувшись отца, бегства, Ван-Конета, странной тактики адвоката, становилась затрудненной. Когда он умолкал, Галеран говорил с ним, укрепляя его, как мог, соображениями о возможности отсрочки исполнения приговора. Уже он хотел проститься и уйти, не веря в поиски Стомадора и сознавая, что опасность растет, как Давенант сказал:

– Отдайте серебряного оленя Розне и Элли Футроз. Не знаю, когда это было

– сейчас или в прошлую ночь, казалось мне, что я видел на столе свечу, горящую днем. В окно врвался ветер, но пламя свечи не шевелилось, не гасло, лишь быстро таяла эта свеча...

Факрегед открыл дверь, пропустив Стомадора и молодую женщину, с ужасом взглянувшую на распростертого человека. Его измученное и ясное лицо еще не успело потерять свое, далекое всему, выражение. Лекан, которого Стомадор огорошил при входе заявлением: «Это племянница начальника тюрьмы!» – силой тащил теперь за рукав Факрегеда, чтобы получить объяснение происходящего и отпроситься бежать. Они удалились.

– Это я... это я, – твердил Стомадор. – Я нашел эту фею „, а не Ботредж... это божество... это утешение, этого рыцаря-девочку. Она девочка. Я, может быть, раз тридцать останавливал всяких подходящих особ!

Упавшее было настроение Галерана поднялось на небывалую высоту. В эту ночь все лучшее человеческих сердец раскрывалось перед ним и невозможное становилось простым.

– Вы подвергаетесь величайшей опасности, – сказал Галеран молодой женщине, догадываясь о ее положении в жизни с одного взгляда на нее. – Если нас всех накроют, не миновать боя, и, хотя мы вас не дадим тронуть, риск все же огромен.

– Для меня это не так страшно, – ответила Консуэло, с гордым видом человека, знающего себя. – Могут быть только неприятности, но я на это пошла.

«Кто же она?» – думали все, чувствуя, что Консуэло не бодрится, а говорит правду. В камере повеяло неясной надеждой. Давенант глубоко вздохнул. Темная вода временно ушла из его сознания, и, безмерно счастливый тем высшим, что выпало на его долю среди мучений и страха, он оживился.

– Сознание мое прояснилось, – заговорил Давенант. – Мой бред привел вас сюда; это был не совсем бред, – прибавил он, уже жалея существо, несущее так много отрады одним звуком своего голоса, такое настоящее – то самое, такое удивительное и прекрасное, как будто бы он сам придумал его. – О, – сказал Давенант, – я спокоен, я равен теперь самым живым среди живых. Уходите! Простите и уходите.

– Но постойте. Я еще не опомнилась, а вы меня уже гоните. Вы приговорены к смерти, несчастный человек?

– Видя вас, хочется сказать, что я приговорен к жизни. Тронутая благородным тоном этой тоскливой шутки, Консуэло заставила себя отрешиться от собственного страдания и, став у койки, склонилась, положив руку на грудь Тиррея.

– В этот момент я не совсем чужой вам человек. Вы будете жить. Правда ли все то, что рассказал мне мой проводник о вашем столкновении с Ван-Конетом?

– Да – сказал Давенант, восхищенный и удивленный ее решительным и милым лицом. – Но каждый поступил бы так, как поступил я. В присутствии своей любовницы, приятелей, проезжая с попойки к ничего не подозревающей о его похождениях невесте, о чем похвалялся, публично унижая ее, тут же за столом этот человек захотел оскорбить и грубо оскорбил одну проезжавшую женщину. Немало досталось от него и мне. Я ударил его во имя любви.

Консуэло всплеснула руками и закрыла лицо. Не удержав слезы, она опустила голову, плача громко и горько, как избитый ребенок.

– Не сожалейте, не страдайте так сильно! – сказал Давенант. – Зачем я рассказал вам все это?

– Так было необходимо, – вздохнула несчастная, поднимаясь с табурета, на который села, когда Давенант начал с ней говорить. – Но я ничего не знала! Я

– Консуэло Ван-Конет, жена Георга Ван-Конета, которая вас спасет. Я уйду. Верьте мне. Скорее проводите меня.

От ее слов стало тихо, и все оцепенели. Произошла та суматоха молчания, когда оглушение событием превосходит силой возможность немедленно отозваться на него разумным словом. Давенант громко сказал:

– Я спасен. А вы? Чем я вас утешу? Не проклинайте меня!

Все неясное, вызванное поведением Консуэло, стало на свое место, и Стомадор испугался.

– Простите... – бормотал он, – умоляю вас, не раскрывайте никому, что так стряслось, не погубите нас всех!

Консуэло только улыбнулась ему. Бросив приговоренному теплый взгляд, она торопливо

вышла, провожаемая Стомадором и паническим взглядом Лекана. Давенант не смог больше ничего сказать женщине, так тяжело подвернувшейся под удар. Галеран вытащил из-под его подушки револьвер и махнул ему рукой, шепнув:

– Жди, а через полчаса потребуй врача.

Камера опустела.

Донельзя обрадованный Лекан бормотал:

– Скорей, скорей!

И, как только три человека, один за другим, исчезли в подкопе, шепнул вслед Стомадору:

– Ящик... Два ящика, подставить к этой дыре, мы засыплем ее.

Слова Лекана услышал Тергенс. Сообразив все значение такого предложения, он, когда проход опустел, приволок два ящика и поставил их один на другой так, что доска верхнего закрыла снизу отверстие.

– Что же это такое? – сказал Ботредж Тергенсу.

– Молчи. Происходит то, о чем иногда думаешь ночью, если не спишь. Тогда все меняется.

– Ты бредишь? – сказал Ботредж понурясь.

– Ну нет. Выйдем. Все там, в лавке.

С яростью, вызванной ощущением почти миновавшей опасности, Факрегед и Лекан забросали дыру землей с клумб и притоптали ее. К утру разразился проливной дождь, отчего это место меж двух кустов приняло естественный вид.

Обессилевший Факрегед вошел в камеру Давенанта, который долго смотрел на него, затем улыбнулся.

– Я спасен, – тихо произнес он.

– Что? Эта женщина спасет вас?

– Нет. Не знаю. Я спасен так, как вы понимаете, но не хотите сказать.

Он затих и начал бредить. Факрегед вымыл руки, запер Тиррея, тщательно подмел коридор и взглянул на часы. Они показывали четверть третьего.

– Как будто вся жизнь прошла, – пробормотал Факрегед.

Пока два контрабандиста устраивали заслон из ящиков, а надзиратели маскировали отверстие, Галеран, Консуэло и Стомадор сошлись в задней комнате лавки.

– Спасите его, – сказал Галеран заплаканной молодой женщине. – Не время углубляться в происшествие. Сядьте в мой автомобиль.

– Поймите, что я чувствую, сеньора! – проговорил Стомадор. – Я так потрясен, что уже не могу стать таким бойким, как когда встретил вас.

Молча пожав ему руку, Консуэло записала адрес Галерана, и он проводил ее на пустырь, где Груббе уже изнемог, ожидая конца.

– Груббе, – сказал Галеран, – опасность для меня миновала, но не миновала для Давенанта. Помни, что ты теперь повезешь его спасение.

– Кто он? – спросила Консуэло, усаживаясь в автомобиль.

– Все будет вам известно, – сказал Галеран, – пока я только назову вам его имя Тиррей Давенант. Один из самых лучших людей. Пожалуйста, известите меня.

Консуэло мгновенно подумала.

– Все решится до рассвета, – сказала она и, кивнув на прощание, дала Груббе свой адрес.

Шофер должен был ждать у гостиницы ее появления и привезти ее обратно к лавке или доставить от нее известие. Галеран проводил взглядом автомобиль и вернулся в комнату Стомадора.

– Так вот что произошло, – сказал Тергенс, задумчиво покусывая усы. – Не видать брату моему нового дня. Не пойдет жена против мужа, это уж так.

Ни у кого не было сил отвечать ему. Еле двигаясь, Стомадор принес несколько бутылок перцовки. Не откупоривая, отбив горла бутылок ударами одна о другую, каждый выпил, сколько хватило дыхания.

– Вставайте, – сказал Ботредж. – Теперь опасно оставаться здесь. Будем сидеть и ждать за углом стены двора. Если подкоп откроется, – убежим.

Глава XVI

Дом, купленный Ван-Конетом в Покете, еще заканчивался отделкой и меблировкой Супруги занимали три роскошных номера гостиницы «Сан-Риоль», соединенных в одно помещение с отдельным выходом.

Георг Ван-Конет вернулся с частного делового совещания около часу ночи. Утверждение его председателем Акционерного общества должно было состояться на днях.

Слуги сказали ему, что Консуэло еще не возвратилась домой. Скорее заинтересованный, чем встревоженный таким долгим отсутствием жены, зевая и бормоча:

«Ей пора завести любовника и объявить о том мне», – Ван-Конет уселся в гостиной, очень довольный движением дела с председательским веслом, стал курить и вспоминать Лауру Мульдвей, сказавшую вчера, что изумрудный браслет стоимостью пять тысяч фунтов у ювелира Гаррика нравится ей «до сумасшествия».

Небрежная, улыбающаяся холодность этой женщины с всегда ясным лицом раздражала и пленяла Ван-Конета, уставшего от любви жены, не знающей ничего, кроме преданности, чести и искренности.

Ван-Конет был стеснен в деньгах. Приданое Консуэло почти целиком разошлось на приобретение акций, уплату карточных долгов, подарки Лауре, Сногдену; солидная его часть покрыла растраты отца, а также выкуп заложенного имения.

Он задумался, задумался светло, покойно, как баловень жизни, уверенный, что удача не оставит его.

«Исчезла жена», – подумал, усмехаясь, Ван-Конет, когда часы пробили два часа ночи.

В это время за дверью полуосвещенной соседней комнаты послышались легкие, быстрые, – такие быстрые шаги, что муж с беспокойством взглянул по направлению звуков. Консуэло вошла как была – в черных кружевах. Ее вид, утомление, бледность, заплаканное, осунувшееся лицо предвещали несчастье или удар.

– Что с вами? – сказал Ван-Конет невольно значительнее, чем хотел.

Он встал. Еще яснее почувствовал он беду.

– Георг, – тихо ответила Консуэло, смотря на него со страхом, подавляя вздох приложенной к сердцу рукой и вся трепеща от боли, – идите, спасите человека, в этом и ваше спасение.

– Что произошло? Откуда вы? Где вы были?

– Каждая минута дорога. Ответьте: месяц назад гостиница «Суша и море» ничем не врезалась в вашу память?

Ван-Конет испуганно взглянул на жену, повел бровью и бросился в кресло, рассматривая близко поднесенные к глазам концы пальцев.

– Я не посещаю трактиров, – сказал он. – Прежде чем я узнаю причину вашего поведения, я должен объяснить вам, что моя жена не должна исчезать, как горничная, без экипажа, маскарадным приемом.

– Не браните меня. Вы знаете, как я расстроилась сегодня от ваших жестоких слов. Я была на концерте, чтобы развеселиться. И вот что ждало меня: произошла встреча, после которой мне уже не жить с вами. Спасайте себя, Георг. Спасайте прежде всего вашу жертву. Утром должны казнить человека, имя которого Джеймс Гравелот... Что же... Ведь я вижу ваше лицо. Так это все – правда?

– Что правда? – крикнул обозлившийся Ван-Конет. – Дал ли я зуботычину трактирщику? Да, я дал ее. Еще что принесли вы с концерта?

– Ну, вот как я скажу, – ответила Консуэло, у которой уже не осталось ни малейших сомнений. – Спорить и кричать я не буду. В тот день, когда вы были у меня такой мрачный, я вас так сильно любила и жалела, вы оказались подлецом и преступником. Я не жена вам теперь.

– Хорошо ли вы сделали, играя роль сыщика? Подумайте, как вы поступили! Как вы узнали?

– Никогда не скажу. Я ставлю условие: если немедленно вы не отправитесь к генералу

Фельтону, от которого зависит отмена приговора, и не признаетесь во всем, если надо, умоляя его на коленях о пощаде, – завтра весь Покет и Гертон будет знать, почему я бросила вас. Вам будут плевать в лицо.

Ван-Конет вскочил, подняв сжатые кулаки. Его ноги ныли от страха.

– Не позже четырех часов, – сказала Консуэло, улыбаясь ему с мертвым лицом.

Ван-Конет опустил руки, закрыл глаза и оцепенел. Хорошо зная жену, он не сомневался, что она сделает так, как говорит. Ничего другого, кроме встречи Консуэло с каким-то человеком, все рассказавшим ей, Ван-Конет придумать не мог, и его нельзя за это обвинить в слабоумии, так как догадаться о сообщении с тюрьмой через подкоп мог бы разве лишь ясновидящий.

– Не напрасно я ждал от вас чего-нибудь в этом роде, – сказал Ван-Конет, глядя на жену с такой ненавистью, что она отвернулась. – Я все время ждал.

– Почему?

– В вас всегда был неприятный оттенок бестактной резвости, объясняемый вашим происхождением не очень высокого рода.

– Низким происхождением?! Я была ваша жена. Нет ближе родства, чем это. Разве любовь не равняет всех? Низкой души тот, кто говорит так, как вы. Меня нельзя оскорбить происхождением, я – человек, женщина, я могу любить и умереть от любви. Но вы – ничтожны. Вы – корыстный трус, мучитель и убийца. Вы – первостатейный подлец. Мне стыдно, что я обнимала вас!

Ван-Конет растерялся. Его внутреннее сопротивление гневу и горю жены было сломлено этой так пылко брошенной правдой о себе, чему не может противостоять никто. Он стал перед ней и схватил ее руки.

– Консуэло! Опомнитесь! Ведь вы любили меня!

– Да, я вас любила, – сказала молодая женщина, отнимая руки. – Вы это знаете. Однако сразу после свадьбы вы стали холодны, нетерпеливы со мной, и я часто горевала, сидя одна у себя. Вы взяли тон покровительства и вынужденного терпения. Вот! Я не люблю покровительства. Знайте: просто говорится в гневе, но тяжело на сердце, когда любовь вырвана так страшно.

Она, мертвая, в крови и грязи у ног ваших. Мне было двадцать лет, стало тридцать. Со знайте во всем. Имейте мужество сказать правду.

– Если хотите, – да, это все правда.

– Ну, вот... Не знаю, откуда еще берутся силы говорить с вами.

– Так как мы расходимся, – продолжал Ван-Конет, ослепляемый жаждой мести за оскорбления и желавший кончить все сразу, – я могу сделать вам остальные признания. Я вас никогда не любил. Я продолжаю отношения с Лаурой Мульдвей, и я рад, что развязываюсь с вами так скоро. Довольны ли вы?

– Довольна?... О, довольно! Ни слова больше об этом!

– Я могу также...

– Нет, прошу вас! Что же это со мной? Должно быть, я очень грешна. Так ступайте. Я не пощажу вас.

– Да. Я вынужден, – сказал Ван-Конет. – Я буду спасать себя. Ждите меня.

– Торопитесь, этот человек опасно болен.

О! Мы вылечим его, и я надеюсь получить вашу благодарность, моя милая.

Несмотря на охвативший его страх, Ван-Конет очень хорошо знал, что делать. Спасти он мог только отчаянным припадком раскаяния перед Фельтоном, сосредоточившим в своих руках высшую военную власть округа. Он не раскаивался, но мог притвориться очень искусно помешавшимся от отчаяния и раскаяния. Медлить ему даже не приходило на ум, тем более не помышлял он обмануть жену, зная, что будет опозорен навсегда, если не выполнит поставленного ему условия. Сказав: «Ждите. Я начинаю действовать», – сын губернатора бросился в свой кабинет и соединил телефон с тюрьмой.

Уже осветились окна квартиры начальника тюрьмы, а также канцелярии.

– Это вы, Топпер? – крикнул Ван-Конет начальнику, слушавшему его. Он был знаком с ним по встречам за игрой у прокурора Херна. – Ван-Конет, бодрствующий по неопределенной

причине. Сегодня у вас большой день?!

– Да, – сдержанно ответил Топпер, не любивший развязного тона в отношении смертных приговоров. – Признаюсь, я очень занят. Что вы хотели?

– Чертовски жаль, что я досаждаю вам. Меня интересует один из шайки – Гравелот. Он тоже назначен на сегодня?

– Едва ли, так как с ним плохо. Он почти без сознания, врач полчаса назад осмотрел его, и, по-видимому, он умрет сам от заражения крови. Его мы оставляем, а прочих увезут в четыре часа.

«Положительно, мне везет», – размышлял Ван-Конет, возвращаясь к жене, с внезапной мыслью, настолько гнусной, что даже его дыхание зашлось, когда он взглянул на дело со стороны. Соблазн пересилил.

– Консуэлита, – сказал Ван-Конет женщине, ставшей его жертвой, – я еду к Фельтону. Ручаюсь, что я выполню ваше желание. Сможете ли вы подарить мне пятнадцать тысяч фунтов?

– Чек будет готов, как только вы известите меня, – ответила Консуэло без колебания, уже не мучаясь этой новой низостью, но так внимательно рассматривая мужа, что он слегка покраснел.

– Боже мой! Я совсем без денег, – сказал Ван-Конет. – Это просьба, не ультиматум. Вы великодушны, а я не хочу, чтобы вы считали меня корыстным. Я вас застаю?

– Нет.

– Куда же вы отправляетесь?

– Это – мое дело. А пока избавьте меня от своего присутствия.

– Болтайте, что хотите, – сказал, уходя, Ван-Конет, – это наш последний разговор.

Генерал Фельтон, с которым должен был говорить Ван-Конет, занимал небольшой одноэтажный дом, стоявший недалеко от гостиницы «Сан-Риоль». Фельтон еще не спал, когда ему доложили о неожиданном посещении Ван-Конета. Фельтону редко удавалось лечь раньше пяти утра, по множеству важных военных дел.

Генерал был человек среднего роста, державшийся очень прямо благодаря неестественно приподнятому правому плечу, раздробленному в сражении при Ингальт-Гаузе. Седые, гладко причесанные назад волосы Фельтона искусно скрывали лысину. В некрасивом, нервном лице генерала светился обширный, несколько капризный ум баловня войны, прозревающий мельчайшие оттенки сложных схем, но могущий ошибаться в простом умножении.

– Нельзя ли отложить свидание с ним до завтра? – сказал Фельтон адъютанту.

Адъютант вышел и скоро вернулся.

– Ван-Конет просит немедленной аудиенции по бесконечно важному делу. Оно секретно.

– Что делать! Пригласите его.

Когда появился Ван-Конет, никого, кроме генерала, в комнате не было. Удивленный расстроенным видом молодого человека, с которым был немного знаком, Фельтон добродушно протянул ему руку, но, отчаянно тряхнув сложенными руками, Ван-Конет бросился перед ним на колени и, рыдая, воскликнул:

– Спасите! Спасите меня, генерал! Моя жизнь и смерть в ваших руках!

– Встаньте, черт возьми! – процедил Фельтон, бросаясь к нему и силой заставляя встать. – Что вы наделали?

– Генерал, пощадите жизнь невинного, погубленного мной, – заговорил Ван-Конет с искренней страстью человека, действующего ввиду опасности очертя голову, под наитием расчета и страха. – Утром будет повешен Джеймс Гравелот, обвиняемый в вооруженном сопротивлении береговой страже. Он не контрабандист. Я приказал подбросить ему, в его гостиницу на Тахенбакском шоссе, мнимую контрабанду ради того, чтобы путем ареста Гравелота избежать поединка и отомстить за удар, который он мне нанес, когда в этой гостинице я гнусно оскорбил какую-то проезжую женщину.

– Недурно! – сказал Фельтон, смешавшись и краснея от такого признания.

Пораженный отчаянием негодяя, он несколько мгновений молча рассматривал Ван-Конета, закрывшего руками лицо.

– Что же... Все это правда?

– Да, позорная правда.

– Как вы могли так низко пасть?

– Не знаю... я пил... пил сильно... я погряз в разврате, в игре... Моя воля исчезла. Я кинулся к вам под влиянием моей жены. Она сумела заставить меня почувствовать ужас моего поведения. Если Гравелот будет повешен, я не снесу этого. Мое завещание готово, и я...

– Да, такой выход был бы неизбежен, – перебил Фельтон. – Ну, расскажите подробно.

Находя неопишное удовольствие в самооплевывании, Ван-Конет, хорошо помнивший проповеди Сногдена о сверхчеловеческой яркости «душевных обнажений», так изумительно точно рассказал неприглядную историю с Гравелотом, что Фельтон стал печален.

– Откровенно скажу вам, – произнес Фельтон, – что мне вас ничуть не жаль. Другое дело – этот Гравелот. Вот что: если ваше раскаяние искренне, если вы измучены своим позором и готовы умереть ради спасения невинного, дадите ли вы мне слово бросить тот образ жизни, какой привел вас к преступлению?

– Да, – сказал Ван-Конет, поднимая голову. – Одна эта ночь переродила меня. Скройте мой грех. О генерал, если бы я мог открыть вам мое сердце, вы содрогнулись бы от сострадания к падшему!

– Попробую верить. Но, должен признаться, вид ваш для меня нестерпим. Извините эту резкость старика, привыкшего объясняться коротко. Успокойте вашу жену. Дело Гравелота, а заодно всех остальных, будет пересмотрено. Я выпущу Гравелота под личное ваше поручительство. Его не будут очень искать.

– Генерал! – вскричал Ван-Конет. – Какими хотите муками я отплачу вам за это великодушие, дающее мне право дышать!

– Ах, – сказал несколько смягченный его ликованием Фельтон. – Все это не то. Жизнь, если хотите, полна мерзостей. Держите руки чистыми, милый мой.

Затем он выпроводил посетителя и, просмотрев дело контрабандистов, отдал адъютанту соответствующие приказания, немедленно протелефонированные в тюрьму, Херну и в канцелярию военного суда. Предлогом пересмотра дела явилось новое обстоятельство, сообщенное Ван-Конетом: участие Вагнера, которого следовало теперь разыскать.

Исполнив все формальности по выдаче поручительства за освобождаемого до нового суда Давенанта, Ван-Конет приехал домой и узнал от слуг, что его жена уже выехала, взяв один саквояж, и не сказала ничего о том, куда едет. Впрочем, на столе в кабинете брошенного мужа лежал запечатанный конверт с цифрой телефона на нем. Вскрыв конверт, Ван-Конет увидел чек.

Утомленно вздохнув, он соединил телефон с квартирой Лауры Мульдвей, Она спала и заявила об этом тоном сурового выговора.

– Что до того? – возразил Ван-Конет. – Изумрудный браслет – ваш, дорогая, и вы завтра его получите. Консуэло больше нет здесь. Она уехала навсегда.

– О! Важные новости. Отчего же вы раньше не разбудили меня?

– Не существенно. Но браслет?!

– Браслет прелестен. Я жду.

– Спокойной ночи, утром я буду у вас. Ван-Конет оставил ее и позвонил Консуэло. Она ждала в гостинице, где жил Галеран, заняв там перед отъездом домой небольшой номер.

– Где вы находитесь? – насмешливо спросил Ван-Конет, услышав ее тревожный голос. – Не есть ли это телефон рая?

– Говорите же, говорите скорей! – воскликнула Консуэло. – Вам удалось?

– Конечно. Генерал был очень любезен.

– Тогда мне больше ничего не нужно от вас.

– Я взял Гравелота под свое поручительство. Необходимые документы, вероятно, уже в тюрьме. Вы можете, Консуэлита, заполучить вашего умирающего.

– Прощай, жестокий человек! – сказала Консуэло. – Пусть ты найдешь сердце, способное изменить тебя.

– Благодарю за чек, – грубо сказал Ван-Конет. – У вас еще остались деньги. Муж будет.

С этим он отошел от телефона, а Консуэло, сев в автомобиль Груббе, ждавшего ее решений, отправилась к Сто-матору. Только один Галеран ждал ее возле лавки. Стома-дор и контрабандисты сидели на пустыре, за двором.

– Спасен! – сказал им Галеран. – Я увезу его. Дело пересмотрится. Гравелот сегодня будет на свободе, под поручительством своего врага, Ван-Конета.

– Так не напрасно работали, – сказал потрясенный Ботредж. – Тергенс, ведь ваш брат тоже спасется. Одно из другого вытекает. Это уж так.

– Понятно, – ответил Тергенс. – Вот всем стало хорошо.

– Вам нечего бежать, – заметил Стоматор, – а я готов, я уже собрался. Никак не выходит мне сидеть на одном месте. Передайте Гравелоту, что я согрел свою старую кровь вокруг его несчастья. А где же та, золотая... чудесная, которую я поймал?

– Вот она, – сказал Галеран, увидев силуэт Консуэло, идущей от автомобиля.

– Благодарим вас, – произнес Тергенс, кланяясь бледной тихой женщине, – узнали мы за одну ночь столько, сколько за всю жизнь не узнаешь!

– Прощайте, мужественные люди, – сказала всем Консуэло, – я не забуду вас.

Она поцеловала их низко опущенные хмельные головы и вернулась сесть в экипаж. Галеран отдал полторы тысячи фунтов Стоматору и по двести – контрабандистам. Они взяли деньги, но хмуро, с стеснением. Для надзирателей Галеран прибавил Ботреджу триста фунтов: двести Факрегеду и сто Лекану.

Затем все попрощались с Галераном и исчезли, растаяли в темноте. Брошенная лавка осталась без присмотра, на произвол судьбы. Галеран и Консуэло уехали ждать наступления дня, чтобы часов около восьми утра вызвать санитарную карету Французской больницы, а с ней – лучшего хирурга Покета, врача Кресса.

Глава XVII

Ввиду тяжелого положения Давенанта, решительно взятого под свою защиту всемогущим генералом Фель-тоном, судебские и тюремные власти так сократили процедуру освобождения заключенного, что, начав хлопоты около девяти часов утра, Галеран уже в половине одиннадцатого с врачом Крессом и санитарным автомобилем был у ворот тюрьмы, въехав на ее территорию с законными основаниями.

Давенант находился в таком беспомощном состоянии, что жили только его глаза, бессмысленные, как блеск чайных ложек. Он говорил несуразные вещи и не понимал, что делают с ним. На счастье Галерана, а также обоих надзирателей, переживших за эту ночь столько волнений, сколько не испытали за всю жизнь, Давенант бредил лишь об утешении («Консуэло» – значит «утешение»). По его словам, оно являлось к нему в черном кружевном платье и плакало.

Свежий воздух подействовал так, что помещенный в больницу Давенант временно очнулся от забытья. Теперь он все помнил. Он спросил, где Галеран, Консуэло, Стоматор.

Начался ветреный, пасмурный день. К ожидающим Консуэло и Галерану вышел Кресс и пригласил идти в помещение Давенанта.

– Какое его положение? – спросил Галеран доктора.

– Скоро начнется агония, – ответил Кресс, – пока он все сознает и хочет вас видеть.

Последние гости приблизились к кровати умирающего – одинокий старик и женщина, едва начавшая жить, со смертью в душе.

– Теперь я скоро поправлюсь, – прошептал Тиррей, полуоткрывая глаза и с нежным страхом смотря на Консуэло, севшую у изголовья. – Я был причиной вашего горя, – продолжал он, – но я не знал, что так выйдет. Но вы не печальтесь. Что-то в этом роде было со мной. Надо пережить горе. Вы молоды, перед вами вся жизнь. Ведь это вы спасли меня из тюрьмы?

– Я исполнила мой долг, – сказала Консуэло, – и я не хочу больше говорить об этом. Ваше дело будет пересмотрено и, конечно, разрешится благополучно.

– Мое. А тех?

– Они спасены, – сказал Галеран. – Отмена приговора указывает, что дело ограничится не-

сколькими годами тюрьмы.

– Я рад, – быстро сказал больной, – потому что бой был прекрасен. Суд должен был понять это. Об одном я жалею, что меня не было с вами, Галеран, когда вы рыли подкоп. А где Стомадор?

– Должно быть, уже бежал. Его положение стало очень опасным.

– Конечно. Так я не в тюрьме... Вы не поверите, – обратился Тиррей к Консуэло, смотревшей на него с глубоким состраданием, – как хорошо спастись! Мне хочется встать, идти, побывать на старых местах.

Давенант беспокойно двинулся и, утомленный, закрыл глаза. Сознание боролось с темной водой. Он шарил руками на груди и у горла, отгоняя незримую тесноту тела, сжигаемого смертельным огнем. Лицо его было в поту, губы непроизвольно вздрагивали, и, нагнувшись, Галеран расслышал последние слова: «Сверкающая.» неясная...»

Видя его положение, Кресс отошел от окна, взял руку Давенанта и, нахмурясь, отпустил ее.

– Избавьте себя от тяжелого впечатления, – тихо сказал Кресс Консуэло, которая, все поняв, вышла, сопровождаемая Галераном. В приемной Консуэло дала волю слезам, рыдая громко и безутешно, как ребенок.

– Это – сразу обо всем, – объяснила она. – Зачем умирает чудесный человек, ваш друг? Я не хочу, чтобы он умирал.

Она встала, утерла слезы и протянула руку Галерану, но тот привлек ее за плечи, как девочку, и поцеловал в лоб.

– Что, милая? – сказал он. – Беззащитно сердце человеческое?! А защищенное – оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки. Укрепитесь, уезжайте в Гертон и ждите. Тишина опять явится к вам.

Консуэло закрыла лицо и вышла. Галеран вернулся в палату. Он подождал, когда тело перестало подергиваться, закрыл глаза Давенанта рукой с обломанными ногтями, пострадавшими на подземной работе, и отправился вручить серебряного оленя по назначению.

Его приняла Розна Лесфильд, молодая женщина в расцвете жизни, жена директора консерватории.

Гостиная, где Тиррей девять лет назад сидел, восхищаясь золотыми кошками, выглядела все так же, но не было в ней тех людей, какие составляли тогда для начинающего жить юноши весь мир.

– Я исполняю поручение, – сказал Галеран вопросительно улыбающейся молодой женщине, – и если вы меня помните, то догадаетесь, о ком идет речь.

– Действительно, ваше имя и лицо как будто знакомы... – сказала Розна. – Позвольте,, помогите вспомнить... Ну, конечно. Кафе «Отвращение»?

– Да. Вот олень. Тиррей просил передать его вам. Галеран протянул ей вещицу, и Розна узнала ее. В это время появилась скукающая, бледная Элеонора, девушка с капризным и легким лицом. Жизнь сердца уже неласково коснулась ее.

– Элли! Какая древняя пыль! – сказала Розна. – Смотри, мальчик, который был у нас лет девять назад, возвращает свой приз оленя. Да ты все помнишь?

– О, как же! – засмеялась девушка. – Вы – друг Тиррея? Я сразу узнала вас. Где этот человек? Тогда он так странно пропал.

– Он умер в далекой стране, – ответил Галеран, поднимаясь, чтобы откланяться, – и я получил от него письмо с просьбой вернуть вам этот шуточный приз.

Настало молчание. Никто не поддержал мрачного разговора, пришедшегося не совсем кстати: у Розны хворал мальчик, а Элли, ставшая очень нервной, инстинктивно сторонилась всего драматического.

– Благодарим вас, – любезно сказала Розна после приличествующего молчания. Так он умер? Как жаль!

Слегка пошутив еще на тему об «Отвращении», Галеран простился и уехал домой.

– Ведь что-то было, Элли? – сказала Розна, когда Галеран ушел. – Что-то было... Ты не помнишь?

– Я помню. Ты права. Но я и без того не в духе, а потому – прости, не сумею сказать.
Феодосия, 28 марта 1929 г.